



Н.Эйдельман

ПУШКИН

история
и
современность
в
художественном
сознании
поэта



Н.Эйдельман

ПУШКИН

история
и
современность
в
художественном
сознании
поэта

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984

Новая книга Н. Эйдельмана посвящена некоторым актуальным проблемам историзма А. С. Пушкина. В центре внимания автора три вопроса. Какова внутренняя необходимость того, что гениальный поэт стал столь основательно изучать историю? Во-вторых, представляют большой интерес «творческие механизмы» работы Пушкина-историка. И наконец, важно выяснить, какие историко-методологические идеи Пушкина созвучны нашему времени. Таким образом, в этой книге, рассчитанной на широкого читателя, происходит сближение истории и пушкинистики.

Художник БОРИС ЖУТОВСКИЙ

Эйдельман И. Я.

Э 30 Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. Монография.— М.: Советский писатель, 1984.— 368.

Новая книга Н. Эйдельмана посвящена некоторым актуальным проблемам историзма Пушкина.

**4603010101—315
Э 083(02)—84 451—84**

ББК 83. ЗР7

«Правды чистый свет»: счастливое выражение Пушкина, которое мы можем отнести и к его вымыслам, и к трудам по истории.

Эта книга — об оригинальном, замечательном русском историке Александре Сергеевиче Пушкине.

На эту тему писали почти все пушкинисты, многие специалисты по российской и всемирной истории, некоторые из этих работ пользуются давней заслуженной известностью. Особое значение для данной книги имели исследования Б. В. Томашевского и И. Л. Фейнберга об исторических занятиях Пушкина. Усилиями ученых выявлен широкий круг исторических интересов Пушкина, источники, которыми пользовался поэт, его методы научного и художественного освоения исторических материалов, оценки различных событий и лиц; наконец, эти разыскания позволяют представить общий взгляд Пушкина на историю своей страны, всего человечества, принципы историзма, присущие его мышлению вообще.

Значение открытых и обобщений, принадлежащих лучшим ученым нескольких поколений, заключается между прочим и в том, что они отнюдь не «закрывают тему», а, наоборот, ставят перед наукой новые вопросы, проблемы, которые прежде были не видны, не могли возникнуть из-за недостатка сведений.

Таким образом, если и сегодня можно попытаться сказать нечто новое о Пушкине-историке, то это прежде всего — дань уважения к труду предшественников...

Автор попытался, как на архивном, так и на опубликованном материале, углубиться в три проблемы.

Первая: зачем гениальному поэту попадобились еще и столь основательные научно-исторические занятия? Если «историками делаются — поэтами рождаются», — зачем тому, кто родился таким поэтом, делать еще историком? Ведь при постоянном интересе русских классиков к прошлому только Карамзин и Пушкин могут быть зачислены в профессиональные ученые, так как наряду с литературными они пользовались также и чисто научными методами работы; не только художественно осмыслили, но и открывали прежде неизвестные факты, целые пласти материялов.

Вторая проблема: как работал Пушкин-историк? Каков был «творческий механизм», наиболее интересные особенности его обращения к прошлому?

Третья: разбирая историко-художественные труды поэта, не находим ли мы там некоторые очень важные, нужные идеи, поучительные для историка конца ХХ столетия? Не предвосхищаются ли здесь некоторые способы обращения к прошлому, которые и полтора века спустя представляются нашим научным будущим?

Если обозначить хронологию, «время действия» десяти глав предлагаемой книги, получится картина весьма пестрая: 1840 год, 1789—1815, 14 год нашей эры, 1825, 1773—1774, 1741, 1801, 1830-е годы, 1737—1741; наконец, с середины XII века до 1806 года.

Важными действующими лицами повествования станут Пугачев и Тацит, Борис Годунов и декабристы, Петр Великий и Павел I, деятели и жертвы нескольких дворцовых переворотов, близкие друзья поэта и его далекие предки...

Как видим, прошлое — иногда очень далекое, но чаще XVIII век — легко сопрягается с пушкинской современностью; порою — даже с тем будущим, которого Пушкин не успел увидеть. Переплетение времен: прошлое как важнейший элемент настоящего и настоящее, которое жадно ищет свое прошлое,— об этом в книге говорится постоянно и, кстати, выясняется, что очень полезно, интересно сопоставлять разные стадии исторического знания о пушкинских любимых сюжетах. Например, взглянуть на Пугачевское восстание сначала глазами современников этого события, то есть людей XVIII века, затем — представить оценки, впечатления, объем фактов, известных Пушкину и его эпохе; наконец, то, чего Пушкин не мог знать, в чем был ограничен временем, где ошибался, путался,— но что знаем мы: результаты ученых исследований народной войны, опубликованных в конце XIX и в XX веке. Оказывается, такой историографический ряд (где, понятно, присутствует и Пушкин) открывает многое больше, чем это может показаться сначала: выsvечивается не только и не столько — что поэт открыл или не заметил, но и важные детали очень интересного, не всегда доступного нам процесса объединения прошлого с настоящим в некую единую категорию сознания; приближение к таким существенным проблемам, как роль разума и чувства, научного и художественного при восприятии истории; как возможность предвидения будущего; как приобретение и в то же время утрата некоторых черт исто-

рического миросозерцания по мере накопления фактов и развития науки.

Автора вдохновляло следующее прекрасное наблюдение, сделанное в прошлом веке: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего...»¹

Главная же задача, цель, лейтмотив книги — еще задуматься, еще хоть немного приблизиться к источнику, откуда струится *правды чистый свет...*

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 5. М., 1954, с. 555.

ГЛАВА I

«В РОДНЮ СВОЮ НЕУКРОТИМ...»

Отче! Не брани меня и не сердись...

Пушкин — Жуковскому¹

I

Пушкина не стало 29 января 1837 года, в 2 часа 45 минут.

Спустя три четверти часа, когда «тело вынесли в ближнюю горницу», Жуковский, по приказу царя, «запечатал кабинет своею печатью»².

7 февраля печати сняли; «бумаги, письма и книги в рукописях были перевезены для посмертного обыска³: Бенкендорф намеревался все сделать в своем кабинете, но Жуковский запротестовал, и шеф жандармов в конце концов согласился, «чтобы все бумаги Пушкина рассмотрены были в покоях Вашего превосходительства» (т. е. Жуковского), но вместе с генерал-майором Дубельтом.

Работа продолжалась до конца февраля, результаты каждого дня фиксировались в специальном «журнале». На 14-й день обыска, 20 февраля 1837 года, были между прочим «просмотрены и прошнурованы» шестнадцать «тетрадей в лист», то есть основных, больших тетрадей погибшего поэта.

Часть листов, связанных общим смыслом написанного, была не переплетена, но жандармы для порядку сложили их и сшили. Так, из 84 листов была образована тетрадь «Прозаических отрывков»: в поисках опасных мыслей и сюжетов генерал Дубельт больше вчитывался в письма, нежели в творческие рукописи,— к стихам был почти совершенно равнодушен, прозу проглядывал кое-как и мало беспокоился

¹ Все эпиграфы к следующим главам — тоже пушкинские.

² Сведения о разборе бумаг погибшего Пушкина — см.: Цяловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 276—356.

³ Здесь и далее слова, выделенные автором, представлены курсивом; в цитируемом тексте — разрядкой.



*Он не мой писатель не является в стране сильных
художников, а только сумасшедший писатель.*

о том, в правильном ли порядке сшиваются просмотренные листы.

Через несколько дней Жуковский обратился с просьбой — оставить просмотренные рукописи у себя. «Приступая к напечатанию полного собрания сочинений Пушкина,— писал он Бенкendorфу,— и взяв на себя обязанность издать на нынешний год в пользу его семейства четыре книги «Современника», я должен иметь пред глазами манускрипты Пушкина и прошу позволения их у себя оставить с обязательством не выпускать их из своих рук и не позволять списывать ничего, кроме единственного того, что будет выбрано мною самим для помещения в «Современнике» и в полном издании сочинений Пушкина с одобрения цензуры».

Разрешение было дано, добрый друг великого поэта, и сам поэт, после ухода жандармов оказался первым читателем многих в недалеком будущем знаменитых сочинений и

отрывков. Скорбя о том, что вынужден разбирать стихи и прозу погибшего (в то время как «ему следовало то делать для меня, что мне довелось делать для него»), Жуковский сообщал И. И. Дмитриеву 12 марта 1837 года: «Разбор бумаг Пушкина мною кончен. Найдены две полные, прекрасные пьесы в стихах: «Медный Всадник» и «Каменный гость» (Д. Жуан). Они будут напечатаны в «Современнике» (который друзьями Пушкина будет издан на 1837 год в пользу его семейства); нашлось несколько начатых стихотворений и мелких отрывков; так же много начато в прозе и собраны материалы для истории Петра Великого: все это будет издано. Теперь приступаем к напечатанию полного собрания изданных в свет сочинений. Неизданное же будет напечатано особо <...> Память Пушкина должна быть и всегда будет дорога отечеству. Как бы много он сделал, если бы судьба ему вынула не такой тяжелый жребий, и если бы она не вздумала, после мучительной жизни (тем более мучительной, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные), вдруг ее разрушить. Наши врали-журналисты, ректоры общего мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прихожан мысль, что Пушкин упал; а Пушкин только что созрел как художник, и все шел в гору как человек, и поэзия мужала с ним вместе. Но мелочи ежедневной обыкновенной жизни: они его убили»¹.

В равнодушно спитой жандармским канцеляристом 84-листной тетради² Жуковский между прочим без труда находит связь между отрывками на листах 50³, а также — 23, 25, 60, 26, 59 и 62⁴ (почти на каждом из них — красный номер, *клеймо* жандармского осмотра).

Первый лист — черновой, остальные — беловые, лишь с некоторыми поправками; впрочем, предшествующего им черновика, пожалуй, и не было: в отличие от стихов, Пушкин писал прозу легко, быстро, порою почти «без помарок».

Жуковский читал неизвестное пушкинское автобиографическое сочинение.

¹ «Русский архив», 1866, стлб. 1641—1642.

² По жандармской нумерации — протокол № 8, тетрадь № 4; по нумерации Румянцевского музея (позже Отдел рукописей ЛБ), куда тетрадь попала в 1880 г.— № 2387 А; ныне тетрадь передана в Пушкинский Дом, распишта и отдельные ее элементы получили новую нумерацию.

³ Ныне ПД ф. 244, оп. 1, № 827.

⁴ Там же, № 828.

«Несколько раз принимался я за ежедневные записки и всегда отступался из лености. В 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я приужден был сжечь сии записки. <...>

Зато буду осмотрительнее в своих показаниях, и если записи будут менее живы, то более достоверны.

Избрав себя лицом, около которого постараюсь собрать другие, более достойные замечания, скажу несколько слов о моем происхождении».

Далее следует рассказ о предках — Пушкиных и Ганибалах: несколько страниц, на которых Александр Невский, Иван Грозный, самозванцы, первые Романовы, Петр Великий и его преемники встречаются с пращурами поэта — и эти встречи иных Пушкиных, Ганибалов возвышают, других — уводят на плаху или в заточение; причудливая хроника «пылкости и жестокости»...

Сочинение сегодня очень известное — и очень загадочное.

Даты его создания точно не определены.

Споры идут даже о заглавии. Пушкин никак не назвал свой труд.

В ранних собраниях его сочинений было принято условное наименование «Отрывки из записок А. С. Пушкина» или «Родословная Пушкиных и Ганибалов». Теперь принято другое столь же условное заглавие: «Начало автобиографии» (в большом академическом собрании; см. XII, 310—314) или «Начало новой автобиографии»¹.

Все это, однако, относится к поздним временам. Перед Жуковским же возник вопрос: можно ли включить этот текст, или хотя бы часть его, в последние тома посмертного 11-томного собрания сочинений?

Бросалось в глаза, что сочинялись Записки, по-видимому, для будущей публикации: разве стал бы писать Пушкин только для себя фразы вроде — «буду осмотрительнее в своих показаниях» или «избрав себя лицом, около которого постараюсь собрать другие, более достойные...»? Разве давал бы разные пояснения, вроде того, что о деде своем знает «довольно темно» и проч.? Это уж беседа с читателем — может быть, не с нынешним, но — завтрашним, послезавтра-

¹ См.: Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти т., т. 7. М., 1976, с. 245—249.— Список условных сокращений см. в конце книги.

шим; беседа, начавшаяся уже на черновой, рукописной странице воспоминаний!

Размышляя подобным образом, Жуковский, как видно, не возражал против обнародования замечательной пушкинской мемуарной прозы, хотя мог предвидеть возможное недовольство родственников поэта, и особенно — еще здравствующего отца Сергея Львовича Пушкина. Так или иначе, но 26 февраля 1840 года литератор и цензор Александр Васильевич Никитенко записывает в дневнике:

«Ездил к Жуковскому, который на будущей неделе отправляется с наследником за границу и просил меня побывать у него поскорее. Он отдал мне на цензуру сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже семи томам»¹.

Среди этих сочинений, мы точно знаем, были и новые *Записки Пушкина* (без двух особенно «щекотливых» мест. См. XII, 472, comment.).

Жуковский уезжает, Никитенко же находит, что *Записки* не только можно, но и должно печатать. Мало того: прежде чем они попадут в одну из книг 11-томника, Никитенко забирает их (как и несколько других отрывков) для известного журнала «Сын отечества». Прежде его издавали литературные «братья-разбойники» Греч и Булгарин, однако с 1838 года журнал перешел к славному издателю пушкинской поры А. Ф. Смирдину. Надеясь поправить свои сильно пошатнувшиеся дела, Смирдин приглашает редактировать журнал опытных литераторов — сначала Николая Полевого, затем Никитенко (позже — Сенковского).

Никитенко с радостью отдает в печать «посмертные записки» Пушкина, так как, во-первых, они должны были привлечь читателей, обеспечить прибыль. Во-вторых, выходец из крепостных, Никитенко, кажется, болезненно преувеличивал пушкинский «аристократизм». «Бедный Пушкин,— записал он в день смерти поэта,— вот чем заплатил он за право гражданства в этих аристократических салонах, где расточал свое время и дарование! Тебе следовало идти путем человечества, а не касты. Сделавшись членом последней, ты уже не мог не повиноваться законам ее. А ты был призван к высшему служению»².

Легко понять, что в *Записках* поэта о своих предках редактор «Сына отечества» нашел как раз «опровержение»

¹ Никитенко А. В. Дневник, т. I. М., 1955, с. 219.

² Там же, с. 194.

собственных теорий и немало порадовался широте, откroвенности пушкинских суждений.

Записки (вместе с другими пушкинскими сочинениями) появляются в апрельском номере «Сына отечества» за 1840 год¹, вскоре их прочитывает 73-летний Сергей Львович Пушкин и приходит в необыкновенную ярость. Более всего его внимание привлекает отрывок, посвященный собственному отцу (т. е. деду Александра Сергеевича):

«Лев Александрович служил в артиллерии и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III². Он был посанжен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях.

Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась — чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постелью всю разряженную и в бриллиантах. Все это знаю я довольно темно. Отец мой никогда не говорил о странностях деда, а старые слуги давно перемерли».

Прочитав все это, отец поэта берется за перо и пишет протестующее письмо, которое вскоре напечатает «Современник» — журнал, основанный Александром Сергеевичем в 1836 году³. Впрочем, новый редактор журнала, друг и издатель поэта П. А. Плетнев, был человеком очень осторожным и поэтому немало *охладил* полученный протест, а некоторые наиболее грубые выражения в печать не допустил.

¹ «Сын отечества», 1840, т. II, кн. 3, апрель, с. 463—469, в составе текстов, объединенных заглавием «Отрывки из записок А. С. Пушкина». Кроме разбираемого нами текста, в эту публикацию вошли еще 2 фрагмента из дневниковых и автобиографических записей Пушкина, а также 15 «отрывков из писем, мыслей и замечаний».

² При публикации в «Сыне отечества» это место было смягчено. Вместо фразы о верности Петру III напечатано — «при вступлении на престол Екатерины II».

³ Пушкин Сергей. Об отрывке из дневника А. С. Пушкина.— «Современник», 1840, т. XIX, с. 102—106.

Между тем Сергей Львович поделился своим возмущением с друзьями — соседями по Михайловскому: речь идет о семье Вревских, бароне Борисе Александровиче и его жене, Евпраксии Николаевне (в недавнем прошлом тригорская барышня Евпраксия Вульф, она же *Зизи*). В их имении, селе Голубове, был свой культ Пушкина, собирали многое, что относилось к его памяти, — в 1915 же году потомки пожертвовали собранное в Пушкинский Дом¹. К величайшему сожалению, Евпраксия Вульф-Вревская успела распорядиться, чтобы сожгли письма Пушкина, некогда ей написанные... Другие же документы сохранились.

Прочитав гневную отповедь Сергея Львовича Пушкина на страницах «Современника», Е. Н. Вревская писала мужу (15 июня 1840 г.):

«Что касается журнальной статьи, о которой ты говоришь, я удивляюсь, как все это попало в руки Булгарина и что за гнусность с его стороны — печатать это при жизни Сергея Львовича для того, чтобы мстить врагу даже после смерти»².

Однако отец поэта, не удовлетворенный печатным, *охлажденным* текстом своего письма, сверх того передал Вревским еще и полную беловую автографию своего ответа.

Ныне она хранится в Отделе рукописей Пушкинского Дома и впервые публикуется полностью³.

Сергей Пушкин — журналу «Сын отечества», 1840 год.

«В «Сыне отечества», апрель 1840 года, к крайнему моему прискорбию я прочел отрывок из Записок покойного сына моего, писанный им, конечно, не для публики, в чем я смело отдаю памяти его должную справедливость. В этом отрывке, не знаю, каким образом попавшемся издателям «Сына отечества», верно переданный им не друзьями его, я, к негодованию моему, прочел несколько строк о отце моем, память которого мне священна: издатели «Сына отечества»

¹ См.: Пушкин и его современники, вып. 21—22. Пг., 1915, с. 355—413.

² Там же, с. 405. Ориг. на франц. яз. Вревская (возможно, со слов Сергея Львовича) сохраняла ошибочное представление, будто Греч и Булгарин в это время продолжали, как прежде, издавать «Сын отечества».

³ ПД. ф. 244, оп. 20, № 13. Строки, отсутствующие или измененные в печатном тексте письма, выделены. М. Л. Гофман, публикую материалы Вревского архива, обещал, что автограф ответа С. Л. Пушкина будет воспроизведен во «Временике Пушкинского Дома» 1915 года; однако это издание не осуществилось.

не пощадили праха благочестивого моего родителя. Как сын и как отец, я не могу и не должен молчать.— Покойный сын мой сам сознается, что он все знает темно, и что я никогда не говорил ему об этом, а господа Греч и Булгарин не поколебались нарушить спокойствие тени умершего около уже пятидесяти лет тому назад отца моего и оскорбить чувствительность оставшихся еще в живых детей его, сестру мою и меня.

Отец мой никогда не был жесток; он был любим,уважаем, почтаем даже теми, которые знали его по одному слуху. Он был примерный господин своих людей (зачеркнуто — «вассалов»), оплакиваем ими как детьми, многие из вольных пожелали быть его крепостными. Взаимная любовь его и покойной матери моей была образцовой; ни малейшее отступление от верности, от должного друг к другу уважения не означало их нежного, 30-ти летнего союза.— Как! Отец мой мог принудить насильственным образом мать мою схать с ним на обед в последние часы ее беременности! Он, который, отъехав из Москвы в свою подмосковную на несколько дней, воротился с дороги, чувствуя себя не в состоянии перенести краткую разлуку... Кто мог сыну моему дать столь лживое понятие о благородном характере отца моего! — Я подозреваю виновного, по да простит ему Все-вышний, и он уже давно предстал перед судом Божиим.

История о французе и первой жене его чрезвычайно увеличена. Отец мой никогда не вешал никого, не содержался в крепости двух лет.— Он находился под домашним арестом — это правда, но пользовался свободой. В поступке его с французом содействовал ему брат родной жены его Александр Матвеевич Войков. Сколько я знаю, это ограничилось телесным наказанием, и то я не выдаю за точную истину.— Знаю, что отец мой и в счастливом супружестве с моей матерью вспоминал о первой жене своей, на которой он женился 16-ти лет, с нежностью. Дети ее, большие мои братья, любили и почитали мать мою как свою родную, и после кончины отца моего не переставали сохранять к ней любовь и почтение, не предпринимая ничего без ее согласия.— Отец мой никогда не жил в деревнях своих, отъезжая летом месяца на два, а иногда и менее в подмосковную; в прочее время года жил всегда в Москве, открытым домом. Я помню, что не было дня, в котором не съезжались бы к нам родные и знакомые, все уважающие моего родителя.— Слово его был закон, и честность в сохранении и исполнении своих обязанностей — главной чертой его характера.

Часто ссыпал он бедных на сытный обед, после которого оделял их деньгами. Я и теперь с умилением вспоминаю, как толпа нищих тянулась к обширному двору нашего дома с молитвою о его долголетии. Благочестие его, покорность к воле Всевышнего, набожность без суеверия и предрассудков, привлекли к нему почетное духовенство того времени. Преосвященный Платон, митрополит Московский, пожелал служить при похоронах его обедню и положил прах его в самой церкви Донского монастыря под алтарем. Вот что я могу сказать о моем родителе.

Много и других ошибок в отрывках сына моего, по повторяю, он не писал и не мог писать с намерением напечатать это когда-либо.— Грустно, тяжело мне бороться с чувствами горести моей о потерянном мною сыне с обязанностью моей — защитить память отца моего; но я оставляю сие на суд отцов и детей.— Я думаю, что молчание мое было как согласие и одобрение нескромного и лучше сказать преступного поступка издателей «Сына отечества». Я верю, что тени, мною всегда любимые, давно примирились там, где нет ни вражды, ни ложных понятий; где все ясно и не подвергается корыстолюбивым видам господ журналистов, не щадивших ни живых, ни мертвых для того только, чтобы заставить читать свой журнал.

Примечание. Смерть на соломе, в домашней тюрьме, первой жены отца моего не заслуживала бы даже возражения. Кто не знает, что в 18-м столетии таковые тюрьмы не могли существовать в России и в Москве.— Правительство могло ли не обратить внимания на такое ужасное злоупотребление силой и властью? Родные ее не прибегнули бы под защиту закона? Сохранили ли бы они с отцом моим родственную, дружескую связь? Я в самом младенчестве помню брата ее, Александра Матвеевича Войкова, родного зятя ее Сергея Ивановича Грушецкого, племянников ее Жеребцовых, Лачиновых etc. Все они так часто были у отца моего, не пропускали ни одного праздника, чтобы не приехать к нему по тогдашнему обычаю, с поздравлением как к старшему в семействе.— Сообразно ли это с сказанным в отрывке? — Я помню, что Владимир Сергеевич Грушецкой, сын Сергея Ивановича, скончавшийся только прошлого года сенатором в С. Петербурге, всякое воскресенье с 9 часов

утра уже был у отца моего в гвардейском ундер-офицерском мундире, которым я любовался.— Владимир Сергеевич напоминал мне пред самой почти кончиной, как часто он меня носил на руках.

— Оставляю все эти обстоятельства на суд и размышления моих читателей».

II

Письмо Сергея Львовича — документ прелюбопытный и в своем роде единственный. В истории этой (постараемся доказать) «спрятаны» не только интересные биографические частности, но и довольно важные общие сюжеты.

Однако сначала скажем несколько слов о стиле: сильный, почти несдерживаемый гнев С. Л. Пушкина очевиден, в ход идут слова — «некромный», «ложивый», «ложный», «преступный»: огорчение человека, горячо выступающего в защиту покойного отца от несправедливых, по его мнению, нареканий, хорошо понятно и, конечно, вызывает сочувствие... Даже если бы представления отца и сына об истории рода совпадали, Сергей Львович все равно был бы возмущен самим фактом огласки, публикации...

Все так,— по при том очень жаль, что Александр Сергеевич никогда этого не прочитал. Некоторые отцовские обороты его бы восхитили неожиданной художественной силой: например, «как сын и как отец я не могу и не должен молчать».

Громя Булгарина и Гречу, Сергей Львович, несомненно, вступил бы в боевой союз с покойным сыном: ведь еще в 1821 году Александр Сергеевич сам был взбешен тем, что «Сын отечества», не спросясь, напечатал стихотворное письмо племянника к дяде Василию Львовичу, и — «тотчас написал Гречу официальное письмо» (XII, 303). Позже Сергей Львович был, по-видимому, доволен тем, как его старший сын защищает предков от булгаринских насмешек, и переписал собственной рукою (впрочем, с немалыми ошибками) «Мою родословную»¹. Теперь же — он уверен — Булгарин и Греч могут злорадствовать: ведь публика более всего заметит и запомнит не героическую жизнь Арапа Петра Великого и его старшего сына, по откровенные портреты сумасшедшего прадеда, «пылких и жестоких дедов»; кому-то, верно, покажется, будто Пушкин сам себя опро-

¹ Пушкин и его современники, вып. 21—22, с. 366—369.

верг: недавно гневно защищал свою фамилию от дурного слова, гордился славой предков и вдруг сам выдал их «на поругание».

Однако в этом случае Пушкин-отец старался напрасно. Он и не знал, что «братья-разбойники» уж два года как не владеют «Сыном отечества» и могут быть осмеяны в лучшем случае как злобные читатели: а ведь, грозя кулаком «корыстолюбивым журналистам», Сергей Львович невольно подтверждает их возможные гипотезы — и, вдруг, уж не с ними спорит, но дорогивается с погившим сыном. Крепкие обороты письма явно адресованы не только «Сыну отечества»¹...

Ах, сколь это ново!

В 1824-м: «Отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь» (Пушкин — Жуковскому, XIII, 116).

«Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить» (там же).

В 1826-м Сергей Львович — брату Василию:

«Нет, добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мной. <...> Не забудь, что в течение двух лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его изгнания, не могли уменьшить. <...> Как повелевает теперешнее Евангелие, я люблю в нем моего врага»².

III

Сергей Львович, без сомнения, горевал о погившем сыне: искренняя печаль — в его восклицании (запомнившемся современникам), что он боится забыть живые черты покойного... Но уже было слишком поздно для серьезной перемены взглядов, и письмо 1840 года — как бы постскриптум ко всем прижизненным спорам отца и сына; оно, кстати, и на-

¹ Год спустя, в последнем, XI томе посмертного пушкинского собрания сочинений, Жуковский напечатал «Записки», вызвавшие гнев Сергея Львовича, с купюрами куда более значительными, чем в «Сыне отечества». Письмо Пушкина-отца, конечно, сыграло тут свою роль — и только в 1884 году текст возмущившего его сочинения смог увидеть свет без всяких сокращений.

² Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Пг., 1922, с. 31. Ориг. по-франц.

полнено несообразностями, вполне в духе 1824 года («был, хотел быть, мог прибить...»): Сергей Львович, как видим, объявляет, что Записки его сына писаны «конечно не для публикации», без намерения «напечатать когда-либо», хотя не имеет никаких доказательств для подтверждения сказанного; поэт же, конечно, думал о публикации — если не теперь, то *когда-нибудь*.

С той же энергией *Пушкин-отец* доказывает, что *Пушкин-дед* «никогда не был жесток», но через несколько строк смешит читателя важным уточнением, что Лев Александрович «не вешал француза», но, по-видимому, «это ограничились телесным наказанием». В формуляре Л. А. Пушкина значилось, что он был под следствием «за непорядочные побои находящегося у него на службе венецианца Харлампия Меркадия», но был прощен «из монаршей милости»: возможно, что «француз» и «венецианец» — одно лицо, но кто знает — не угощал ли Пушкин-дед «непорядочными побоями» разных иностранцев?

Еще одно утверждение Сергея Львовича — будто о первой жене, разведенной и умершой, Лев Александрович вспоминал с «нежностью» и не мог бросить ее в «домашнюю тюрьму», так как «родные ее не прибегли ли бы под защиту закона?»... Однако тут же сообщается подробность, отсутствующая даже у «дерзкого Александра Сергеевича»: оказывается, родной брат первой жены, Александр Матвеевич Войков, «содействовал» расправе над французом, то есть был в союзе с шурином против родной сестры!

Ну и, разумеется, «кто не знает», что домашние тюрьмы в XVIII столетии «не могли существовать»?

Не знает, кажется, только Александр Сергеевич: он слишком хорошо представляет ушедший век, читая радищевское «Путешествие», изучая секретные документы, и, как назло, помнит, что именно в подмосковной домашней тюрьме Салтычиха замучила более 100 человек. Сколь характерно, что Сергей Львович не знает или не может сказать — как, когда, при каких обстоятельствах на самом деле умерла первая жена его отца?

Вместо этого он намекает на того, кто ввел его сына в соблазн, сообщив «ложные понятия»: «Я подозреваю виновного, но да простит ему Всевышний...» Судя по торжественности тона, речь идет не о каких-нибудь старых слугах или свидетелях «низкого звания», но о равном, о родственнике.

Догадка буквально напрашивается — *Василий Львович*, знаменитый пушкинский дядя (которого племянник, случа-

лось, величал «парнасский мой отец»): он, во-первых, на год старше брата Сергея и, как первенец во второй семье Льва Александровича, мог лучше других знать семейные секреты. Во-вторых, Василий Львович достаточно прославился своей «легкостью» — и вполне вероятно, что вздох Сергея Львовича («да простит ему Всевышний») заключает в себе примерно ту мысль, что автор «Опасного соседа» (да еще разошедшийся с первой женой и вступивший в гражданский брак со второй!) — такой человек, что «ради красивого словца не пожалеет родного отца»...

Разумеется, мы не стали бы столь подробно толковать об этом эпизоде только для разбора семейных несогласий: постараемся показать, что здесь — неожиданное по действующим лицам, но интересное, притом довольно типичное противоборство двух эпох: столкновение старого и нового взгляда на историю и мораль, на соотношение исторического и личного.

То обстоятельство, что один участник спора — гений, а другой — человек вполне обыкновенный, не уменьшает значения происходящего. Сергей Львович ценен именно своей типичностью, «массовидностью»; к тому же его взгляд на историю разделяли не только многие сверстники, но — в свое время — и младшие, и сам Александр Сергеевич.

Легко заметить, что самая горячая точка разногласий — минувшее XVIII столетие. Известное восклицание поэта: «Два века ссорить не хочу» — это шутливое снижение действительно серьезных споров.

Мы еще вернемся к последней автобиографии Александра Сергеевича и протесту Сергея Львовича. Вернемся в конце книги, пройдя еще раз от начала до конца, с 1799-го по 1837 год.

Пока же обратимся к первым пушкинским годам, впечатлениям, мыслям. Именно туда отправляет нас вскользьброшенное в Записках (о семейных делах XVIII века): «Все это я знаю довольно темно. Отец мой никогда не говорил о странностях деда, а старые слуги давно перемерли».

Отчего же отец «никогда не говорил»? Отчего же сын так тянетесь к запретному плоду? Откуда же он узнал то, что желал? Кто были его проводники по XVIII столетию, историческому и «семейственному»?

ГЛАВА II

«ЧЕМУ, ЧЕМУ СВИДЕТЕЛИ...»

...Самое интересное времяя пашего века.

В последнем, неоконченном лицейском послании Пушкина (19 октября 1836 г.— «Была пора...») четыре строфы начинаются — «Припомните...», «Вы помните...»; первая из них (и четвертая по счету) о французской революции и судьбах Европы:

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высился и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

Другая строфа — открытие Лицея, Наполеон «еще грозил и колебался...»; третья — «племена сразились», московское зарево, снега 12-го; четвертая — победа, возвращение, апофеоз Александра I; затем — последние строки:

И нет его — и Русь оставил он,
Взнесенну им над миром изумленным,
И на скале изгнаником забвенным,
Всему чужой, угас Наполеон.
И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлися новы тучи,
И ураган их...

Пред нами пушкинские стихотворные мемуары о нескольких главах всемирной истории, которым он — свидетель. За три месяца до смерти поэт глубже, мудрео оценивает прошедшее, нежели тогда, когда оно еще было настоящим или совсем недавним.

Однако мы верим, что и прежде Пушкину, его современникам было свойственно удивляться: «Чему, чему свидетели мы были!»

*Первый же спортивный портфель
Советов, начинавший академик
привлекший*



Мы имеем тому много подтверждений. Ведь пятью годами раньше, в рукописи «лицейской годовщины» 1831 года, появляется и зачеркивается строфа, показавшаяся «не к месту» на том юбилее, но ожившая и развернутая пять лет спустя:

Давно ль друзья... Но двадцать лет
Тому прошло; и что же вижу?
Мы жгли Москву; был плен Парижу;
Угас в тюрьме Наполеон;
Воскресла греков древних слава,
С престола пал другой Бурбон,
Отбунтовалась вновь Варшава...

Перемещаясь вверх по течению пушкинской жизни, мы постоянно отмечаем интерес, удивление, «художественное наслаждение», с какими поэт наблюдает сегодняшний и вчерашний мир, конец XVIII и начало XIX века.

В 1824 году родился гениальный фрагмент «Вещали книжники, тревожились цари», где в нескольких строках оцениваются неслыханные по драматизму перемены, случившиеся всего за какую-нибудь треть века после 1789 года.

Еще двумя годами ранее, в стихотворении «Наполеон», представлена та же роковая цепь событий, начинаяющихся с момента —

Когда надеждой озаренный,
От рабства пробудился мир...

Затем — новое рабство и крах нового деспота, который, погибая,

...русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Много написано о влиянии тогдашнего времени на духовное формирование Пушкина, декабристов — но следовало бы еще задуматься над «художественностью», гениальной типической выразительностью мировой истории в 1789—1825 годах. Ведь на глазах одного-двух поколений разрушался тысячелетний европейский уклад, менялась история, экономика, география; раздвигались границы отцовского и дедовского мира — Египет, Святая Елена, республики Боливара; Пушкина с детства окружают сотни «сюжетов», «клизий», принадлежащих действительности и превосходящих любой романтический образец: «что почта — то революция»¹, — восклицает Н. И. Тургенев.

К тому же во всех событиях огромную роль играют молодые революционеры, полководцы, дипломаты, трибуны, литераторы (Наполеону 30 лет, когда он берет власть, и 46 — когда утрачивает); и сколько острых, предельных ситуаций, на грани жизни и чести, — когда истинная сущность человека выявлялась при штурме Бастилии или на гильотине, у Чертова моста или на Бородинском поле, в мадридских кортесах или на Сенатской площади...

Разумеется, история былых веков, тысячелетий в эту пору, как и прежде, *magistra vitae*, «учительница жизни», и Пушкин-дитя знакомится в родительской библиотеке с

¹ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, т. III. Pg., 1924, с. 241.

Плутархом и Тацитом много раньше того, как близко сойдется с героями своего времени...

Однако величие и крах Наполеона впечатляют не меньше, чем древние цезари, а 12-й год, московский пожар отодвигает Ганибала и Александра.

Ощущение того, что мир на переломе, что происходит нечто, разделяющее историю на *до* и *после*, — это стало в начале XIX века чуть ли не общим местом для образованного ума (независимо от оценки, приятия или неприятия самих событий).

В 1792 году, после поражения королевских армий в битве с французским республиканским войском при Вальми, Гёте, как известно, заметил: «Здесь сегодня началась новая эпоха всемирной истории, и вы можете сказать, что вы были при этом»¹.

А через треть века, объясняя свое дело, Пестель напишет: «Происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями оные производить. К тому же имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположностей. То же самое зрелище представляет и вся Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать»².

Аналог пушкинскому «Чему, чему свидетели мы были...» находим и в других декабристских свидетельствах, полученных во время допросов в Следственной комиссии 1825/26 года. Любопытно, что в то время как самые юные заговорщики (Бестужев-Рюмин, Дивов, Бечаснов и др.) источником своего вольнодумства называли опасные книги или рукописи (Пушкина, Рылеева, Вяземского, Вольтера)³, — более зрелые лидеры движения рассуждали иначе.

М. А. Фонвизин многое объяснял «прилежным чтением

¹ Блосс В. История французской революции. Пг., 1919, с. 173.

² Восстание декабристов, т. 4. М.—Л., 1927, с. 105.

³ Там же, т. 9, с. 49; т. 14, с. 307; т. 5, с. 277.

древней и новейшей истории»¹; В. И. Штейнгель: «Ничто так не дерзalo ума моего, как прилежное чтение истории с размышлением и соображением. Одни сто лет от Петра Великого до Александра I сколько содержат в себе поучительных событий к утверждению о том, что называется свободомыслием!!»²

Итак, современность, волнующая современность; но чем сильнее был интерес к сегодняшнему, недавнему — чему «свидетели мы были», тем больше притягивало давнее, старое, древнее — чему свидетели были *они*, предки...

ИСТОРИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Знаменитые слова Пушкина, что «древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Коломбом», — это, между прочим, важное мемуарное свидетельство, относящееся к целому слою культурной России: до 1818 года (когда вышли первые 8 томов «Истории государства Российского») в стране много хуже знали свое прошлое, чем после того (отдельные яркие исключения не меняют общей картины). Великий успех Карамзина — это, конечно, плод его таланта, знания, добросовестности; но успех, разумеется, обусловлен тем, что просвещенная Россия испытывала острую *общественную потребность* в подобном труде. Прежде (точная дата невозможна, но до 1789—1812 годов) *недободимость истории* была меньшей.

Один из показателей — сравнительно слабое развитие мемуарного жанра в XVIII — начале XIX века: хотя и мемуаристика, в сущности, зарождается с петровского времени, но до начала XIX века растет довольно медленно; авторитетное современное справочное издание фиксирует 867 дневников и мемуаров, относящихся к периоду до 1801 года, и 3619 изданий о времени с 1801 по 1856 год³. При этом лишь очень малая часть этих документов была опубликована в сравнительной близости от описываемых событий: характерно, что по истории XVIII века в 1800—1809 годах появилась всего одна мемуарная публикация, с 1810-го по

¹ Восстание декабристов, т. 3, с. 66.

² Там же, т. 14, с. 177.

³ История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах под ред. П. А. Зайончковского, т. 1, т. 2, ч. 1 и 2. М., 1976—1978.

1819 год — 14 публикаций (в том числе девять после Отечественной войны); в 1820-х годах число публикаций увеличивается до 21 названия, в 1830-х — 14 мемуаров; в 1840-х годах — 48, в 1850-х — 25 публикаций. «В XIX веке,— пишет современный исследователь проблемы,— развитие русской мемуарной литературы <...> начинается фактически только после наполеоновских войн»¹.

Кроме сравнительно малого числа мемуаров, заметим также, что за два-три поколения до Пушкина дворянский читатель довольно вяло реагировал на появление капитальных исторических трудов, созданных предшественниками Карамзина. Позднейшая наука весьма высоко оценит книги Татищева, однако его «История Российская с самых древних времен» (доведенная до конца XVI века) «не стала достоянием сколько-нибудь широкого круга читателей... Ее не читали...»². Также не имела общественного успеха «История Российская от древнейших времен» М. М. Щербатова (остановившаяся на 1610 году). Русское общество еще не было готово к такому отклику, резонансу, как это случилось в 1818-м и после.

Если воспользоваться сравнением Пушкина — «Карамзин — Коломб», тогда читатели Карамзина подобны людям Возрождения, которым остро необходимы великие открытия, Америка, Индия; предки же тех, кто «бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную», — это как бы люди «предвозрождения», уже начинаяющие мечтать о новых мирах, но еще не столь захваченные, чтобы поднимать паруса.

Время воспитало «читателя-историка» — и тогда является «историк-писатель».

Снова и снова повторим: русские и европейские бури конца XVIII — начала XIX века, то, «чему, чему свидетели мы были...», — вот что более всего способствовало сильным переменам в умах и чувствах «лучших дворян»; важнейшей датой этих перемен был, конечно, 1812 год.

Главной причиной, по которой россияне «принялись» именно после 1812 года писать мемуары, было чувство приобщения к истории сравнительно широкого слоя (включающего и многих дворян, и грамотных разночинцев); осозна-

¹ Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика XIX века.— «История СССР», 1979, № 6, с. 84.

² Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941, с. 85.

ние самих себя деятелями, даже делателями истории — после того, как прошли от Москвы до Парижа¹.

На том же социально-психологическом фоне, по этим же причинам через четыре года после победы над Наполеоном появление карамзинского труда «наделало много шума и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. <...> Несколько времени ни о чем ином не говорили» (XII, 305).

О Карамзине толковали и юный Александр Сергеевич, и его отец: «Люблю для сердца утешенья Хвалу я петь Карамзину» — это строки из стихотворения Василия Львовича Пушкина². Активные читатели первой четверти XIX века, те, кому *вдруг* стала очень нужна История, как видим, принадлежали к двум, даже трем поколениям. При этом молодые лицейские, завтрашие декабристы тут скорее заодно с просвещенными отцами (недаром в «Арзамасе» рядом заседали и шутили 17-летний Пушкин-племянник и его 50-летний дядя, посреди 30—35-летних: Жуковский, Батюшков, Денис Давыдов, братья Тургеневы...).

При такой обжигающей современности, которая окружала этих людей, казалось бы, больше всего потребна история недавняя, XVIII век: «...где-то в середине [XVIII] века проходила граница, отделяющая историю от настоящего времени»³.

Однако молодой Пушкин сравнил со *свежей газетой* посвященные Борису Годунову главы карамзинской истории. «В Петербурге,— вспомнит декабрист,— оттого такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного»⁴.

В начале XIX века усилиями «румянцевского кружка» ведется большой розыск материалов по русской истории в отечественных и заграничных хранилищах. Открыты замечательные летописи, хронографы, отчеты послов, путешественников — но, за редчайшими исключениями, это документы допетровской эпохи⁵.

¹ См.: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.

² «Российский музей», 1815, № 5, с. 133.

³ Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2. М.—Л., 1961, с. 168.

⁴ Записки декабриста Н. И. Лорера. М., 1931, с. 67.

⁵ Согласно расчетам В. П. Козлова в 1816—1825 гг. были, между прочим, произведены розыски книг и рукописей, относящихся к России, примерно в 40 хранилищах Швеции, Дании, Голландии, Пруссии,

В поисках положительных образцов российская освободительная мысль обращается либо к Периклу, Фемистоклу, Бруту, Тациту, либо к собственной идеализированной старине.

Для Грибоедова «Летопись Нестора была пастольной книгой»¹.

Пестель в своих показаниях признает, что «вспоминал блаженные времена Греции, когда она состояла из республик, и жалостное ее положение потом. Я сравнивал величественную славу Рима во дни Республики с плачевным ее уделом под правлением императоров. История Великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей»².

Тогда-то рождаются драмы, поэмы, стихи, посвященные Вадиму Новгородскому; если из римской истории часто заимствуются отрицательные образы тиранов — Тиберий, Калигула, Нерон, то их отечественный аналог — Иоанн Грозный по Карамзину.

Античность и российская древность были для просвещенного россиянина 1800-х годов, пожалуй, ближе, понятнее, чем сравнительно недавние лица и события родной истории.

Некоторые корни этого явления лежат на поверхности, другие запрятаны глубже.

«ДВА ВЕКА ССОРИТЬ НЕ ХОЧУ»

XVIII век довольно широко был представлен в отечественных журналах первой трети XIX века (80% опубликованных документов и 67% публикаций)³; однако при том многие события, факты оставались под строгим запретом: даже в 1862 году цензурное ведомство дает разъяснение, что разрешенным пределом исторической критики является царствование Петра Великого. Карамзин, государственный историограф, личный друг Александра I, только незадолго до

Австрии, Франции, Англии, Италии, Польши и других славянских стран. В поисках участвовало более 30 ученых. См.: Козлов В. П. Колумбы российских древностей. М., 1980.

¹ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. III. Иг., 1917, с. 320.

² Восстание декабристов, т. 4, с. 91.

³ См.: Афани В. Ю. Публикация исторических документов в отечественных журналах первой трети XIX века (опыт историографического изучения). Автореферат диссертации на соискание степени кандидата исторических наук. М., 1982, с. 22—23.

смерти получил возможность ознакомиться с записками кн. Дашковой, мемуарами Екатерины II, материалами секретных политических процессов 1730—1740-х годов. «История этих времен,— заметил Карамзин,— известна нам более древних по главным своим событиям, но истинные причины разных событий, жизнь и характер многих лиц доходили до нас нередко в превратном смысле <...>. Политика того времени, по необходимости, закрыла от нас истину»¹.

Государственные архивы XVIII столетия были местом весьма секретным. Особенно запретными были три большие группы документов. Во-первых, о народных движениях. «Вечному забвению» велено было в 1775 году предать материалы о великой пугачевской войне; глубоко под спудом были запрятаны сведения о десятках мятежей и кровавых подавлений².

Другая линия запрета касалась истории общественной, освободительной мысли — например, Радищев, Новиков..

Третьей недозволенной темой был двор, реальный механизм управления, дворцовые перевороты.

Запреты и преследования крамольных слов и бумаг лишь отчасти компенсировались заграничными изданиями³, а также сохранением важных материалов в частных собраниях.

Так, в 1770—1780-х годах князь М. М. Щербатов, историк-аристократ, критически настроенный к «развратному двору» Екатерины II, составляет целый комплекс мемуарно-памфлетных работ, где с позиций дворянской, консервативной оппозиционности жестоко обличает правительство и правящих лиц; приводит любопытнейшие факты, замеченные и собранные во время службы историка на высоких правительственные должностях. Достаточно сказать, что в известном впоследствии сочинении «О повреждении нравов в России» (1786—1787) Щербатов «позволил» себе откровенные, немыслимые для публичности оценки восьми россий-

¹ Дневник К. С. Сербновича.— «Русская старина», 1874, X, с. 238.

² Так, в течение четверти тысячелетия осталась почти полностью скрытой от историков огромная вспышка народного протesta — «Тарский бунт» 1722 года: «Жесточайшие пытки, более тысячи допрошенных с пристрастием, колесования, четвертования, сотни наказанных кнутом. Спустя многие годы путешественники с удивлением отмечали запустение целой округи от страшного тарского розыска» (Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974, с. 34).

³ См.: Блок Г. Пушкин в работе над историческими источниками. М.— Л., 1949.

ских правителей, от Петра I до Екатерины II включительно. Когда Щербатов скончался (12 декабря 1790 года, через полгода после расправы над Радищевым), Екатерина II тут же пожелала получить его бумаги, но наследники отдали только 236 манускриптов из 423¹. Остальные же сочинения, в том числе все секретные материалы, были по желанию историка «сокрыты в недрах семейства», причем настолько надежно, что были обнаружены и преданы гласности только в «другую эру», в конце 1850-х годов². Ни декабристы, ни Пушкин, ни «люди 40-х годов», по всей видимости, ничего не знали о существовании щербатовских бумаг — иначе, во всяком случае, не объясниТЬ абсолютного молчания о них такого числа замечательных, высокоэрудированных деятелей. Впрочем, судьба потаенных трудов Щербатова определяется не только инстинктом самосохранения детей и внука, но и некоторыми другими причинами, любопытными для объяснения «сложных чувств» XIX столетия к XVIII-му.

«ВСЕХ НАРОДОВ, ВСЕХ ВРЕМЕН...»

Одна из основных идей «Истории государства Российского» — так же как и многих образцов европейской историографии XVII—XVIII веков — состоит в том, что существуют некоторые незыблемые природно-нравственные постулаты, которые реализуются или не реализуются в ходе исторического развития каждой страны; при громадных различиях цивилизаций главные законы, моральные, политические, человеческие, — всюду одни и те же. Если же человек всегда в общем *один и тот же*, то XIX столетие вполне может вооружаться древнерусской или древнеримской добродетелью; и, наоборот, бесчинства Ивана Грозного — это «свежая газета», ибо близко и *естественно* сопоставляются с деспотизмом сегодняшним. Когда, к примеру, Карамзин восклицает: «Вероятно ли, чтобы государь любимый, обожаемый мог с такой высоты блага, счастья, славы низвергнуться в бездну ужасов тиранства? Но свидетельства добра и зла равно убедительны»³, — когда Карамзин это пишет, то для него, для читателей нет сомнений, что речь идет и

¹ См.: ПД, ф. 334 (Д. И. Шаховского), № 518, 586, 588.

² Об открытии новых бумаг Щербатова сообщали в 1857—1860 годах многие газеты и журналы (работы М. П. Заблоцкого-Десятovского, Н. М. Щепкина, С. В. Ешевского, О. М. Бодянского и др.).

³ К а р а м з и н Н. М. История государства Российского, т. 9. СПб., 1821, с. 7.

об Иване IV, и о любом времени вообще. Тут даже не намек, не аллюзия, но правило, «аксиома».

Эти общие формулы в «Истории государства Российского» все время, однако, осложняются в ходе живого рассказа, при изображении исторических характеров. Карамзин, как «доходит до дела», часто приводит конкретные исторические резоны, а не только морально-абстрактные¹.

Теперь обратимся к некоторым читателям Карамзина, его сверстникам.

Сергей Львович Пушкин для нас не только отец поэта, но и довольно определенный исторический тип. Как же смотрит на мир своих отцов и дедов этот человек, читатель и почитатель Карамзина?

Сознавая себя европейцем, ценителем французской тонкости, он, конечно, старается отделить себя от невежественных, диких времен. Поэтому, к примеру, XVI век рассматривается как «невежество», естественное по своему удалению на два-три века от сегодняшнего просвещения; а вот с XVIII веком, «недавним невежеством», дело обстоит сложнее: он слишком близок; родители, деды Пушкина — они сами *оттуда*; там предавались (как замечено в XIX веке) «ребяческому разврату», «пылкой жестокости».

Сергей Львович и его круг побаиваются вчерашнего, стесняются, но сами еще недостаточно созрели, чтобы объективно и откровенно обсуждать те времена.

С другой стороны, если добродетель и порок во все века в общем одинаковы, то не лучше ли, не легче ли оперировать отрицательными образцами давнего, «темного» времени, нежели — ближнего, чересчур уж личного?

Злой и острый наблюдатель Ф. Ф. Вигель писал про «своих Петра презираемых нами предков»².

Одна из пушкинских героинь восклицает: «Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек. Что есть общего между Ловласом и Адольфом?» (VIII, 47—48).

Вот отчего Пушкин-отец «никогда не говорит» о своем отце... Вот почему не в моде толки о павловском жестоком самодурстве и — о еще более жестоком ответе на это самодурство, в ночь на 12 марта 1801 года; вот почему Фаму-

¹ «История,— замечает Карамзин,— не решит вопроса о нравственной свободе человека; но предполагая оную в суждении своем о делах и характерах, изъясняет те и другие, во-первых, природными свойствами людей, во-вторых, обстоятельствами и впечатлениями предметов, действующих на душу» (там же, с. 7—8).

² «Русский архив», 1893, № 8, с. 571.

сов, восхищенный тем, что было «при государыне Екатерине», как будто не помнит о «повреждении правов», о фаворитах, когда «от канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продаожно» (XI, 16).

Величие Петра — просвещенного преобразователя — Сергей Львович, конечно, признает, хотя избегает слишком мрачных и «характеристических» подробностей той эпохи. Время же от Петра Великого до Екатерины ему представляется промежуточным; то, что прежде было обычным, теперь, пожалуй, «стыдно» — и посему стоит ли о тех стыдных годах толковать? Интересно ли?

Замечание Пушкина по поводу одной колоритной истории (Петр, выдернувший глиству у маленького арапа): «Аnekdot довольно не чист, но рисует обычаи Петра» (XII, 157) — это подход позднейший, 1830-е годы: для Сергея Львовича, для «людей 1800-х годов» *нечист* анекдот, и разговор о нем.

Итак, Пушкин-отец и многие другие отцы пушкинских современников несколько *стесняются* XVIII века; хотя весьма им интересуются, но многого не знают, а кое-чего и знать не хотят...¹

Как же взглянут дети?

ДЕКАБРИСТЫ

Рылеев вслед за французскими мыслителями повторит историческую формулу: сначала «человек от дикой свободы стремится к деспотизму; невежество причиною тому»; позже — «человек от деспотизма стремится к свободе; причиною тому просвещение»².

Как видим, идеи высказаны здесь значительно вольнее, чем у Карамзина, но общее представление о законах истории примерно то же: декабрист не уточняет, где, когда (в России, Франции, в древности, теперь?) человек движется от свободы к свободе через деспотизм; человек стремится *вообщe...* Никита Муравьев объявляет в своем конституционном проекте: «Опыт всех народов и всех времен доказывал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для общества»³.

¹ В. Ю. Афиани, исследуя отечественные журналы первой трети XIX века, находит, что «интерес к Петру I, отмечаемый с первых лет XIX века <...> уменьшившийся в 10-е гг., вновь возрос в 20-е — 30-е гг. Афиани В. Ю. Указ. соч., с. 23.

² Рылеев К. Ф. Полн. собр. соч. М.—Л., 1934, с. 412.

³ Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, с. 303.

Здесь очень примечательно это уверенное — «всех народов и всех времен». Но как же XVIII столетие? Оно пока не дает декабристу достаточно резких, полярных примеров — таких, как римская свобода или империя, как новгородское вече или опричнина.

Но разве декабристы не ищут, не находят предшественников среди отцов и дедов?

Да, ищут. Серьезно изучает прошлый век революционер-историк А. О. Корнилович; Рылеев, создавая «Думы», восхваляет «родственные патуры» в прошлых веках и находит: из 25 его героев восемь жили в IX—XIII веках, десять — от начала XIV до конца XVII и семь — в XVIII столетии¹.

В союзники декабристов приглашен также и Денис Фонвизин, чьи политические идеи (через племянника, Михаила Фонвизина) попадут на страницы трудов Никиты Муравьева²; в отдельных декабристских сочинениях, рассуждениях появляются «славные имена» — Паниных, Якова Долгорукова и других друзей свободы.

Не углубляясь в подробности, заметим, что историческое сознание юного Пушкина и его современников находилось как бы на пересечении двух отчасти противоположных волн.

Во-первых, интерес, все более захватывающий, к современности, к ее скоростям, логике, внутреннему смыслу, неповторимости.

Во-вторых, стремление отыскать в прошлом *повторение*, общие законы, образцы, пригодные для объяснения, осмыслиения этой современности.

С одной стороны, казалось достаточным понять несколько новых идей (для своей страны — хотя бы логику, дух истории, обрисованные Карамзиным!), чтобы найти тропу из прошлого к современности, из любого века — не так уж важно какого — в свой, девятнадцатый. С другой стороны, эта тропа выходила на свет к Пушкину и его ровесникам прямо из «нехоженных зарослей» темного XVIII века; и неизбежно, постоянно возникал вопрос — что и как было там?

¹ См. об этом: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2, с. 168.

² См. публикацию К. В. Пигарева в ЛН, т. 60, кн. 1. М., 1956, с. 339—361.

ОТЦЫ И ДЕДЫ

«Отец мой никогда не говорит о странностях деда»; предки матери запечатлены разве что в прозвище «прекрасной креолки»¹. Тетки Пушкина, дядюшка Василий Львович тоже не похожи на людей, охотно толкующих о темных девовских нравах (хотя думаем, что все же Василий Львович успел поведать племяннику ряд подробностей, смущивших Сергея Львовича).

Любопытство юного Александра Сергеевича насчет того, о чем родители «никогда не говорят», могло быть удовлетворено только с помощью дедов и бабок, поколения позапрошлого. Деды еще не были столь *окультурены*, как родители; их детство и юность прошли при грубых, более откровенных во всех отношениях временах Апны Иоанновны, Елизаветы Петровны, тогда как следующее поколение — «екатерининский продукт». *Невежество* дедов порою, однако, естественное, природнее, нежели куртуазность родителей; и мы не удивимся, узнав, что бабушка, Мария Алексеевна Ганибал (1745—1818) учила будущего поэта русскому языку; она же была единственной представительницей позапрошлого поколения, с которой Пушкин первые 12 лет жизни общался постоянно²; среди героев ее рассказов, без всякого сомнения, выделялся не беглый дед Осип Абрамович Ганибал, по двоюродный дед и благодетель семейства Иван Абрамович — знаменитый военачальник. От бабки же шли первые рассказы об «Арапе», Абраме Ганибale (которого Мария Алексеевна хорошо помнила), а также о многих других старинных делах.

Пушкинский образ, созданный позже, в 1830-х годах, обращен и к прежним домашним воспоминаниям поэта:

...новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине:

(III, 427)

¹ Тема Ганибалов была щекотливой также и вследствие семейных неурядиц деда и бабки по материцкой линии,— может быть, также из-за высокомерного взгляда на «черную родню» бабки по отцовской линии Ольги Васильевны Пушкиной.

² Мы имеем сведения о взаимных неудовольствиях двух старших поколений: 2 августа 1818 года Василий Львович Пушкин извещал Вяземского, что «у Сергея Львовича умерла теща; Надежда Осиповна и Оленины в большом горчепии. Покойница была со всячинкой, и мне ее вовсе не жаль...» (ЛН, т. 58. М., 1952, с. 34).

Недавно среди пушкинских помет на полях рукописи Вяземского о Фонвизине была обнаружена между прочим следующая запись: «Бабушка моя сказывала мне, что в представлениях Недоросля в театре бывала давка — сыновья Простаковых и Скотининых, приехавшие на службу из степных деревень, присутствовали тут и следственно видели пред собою своих знакомых, свою семью»¹.

«Бабушка сказывала» — «отец никогда не говорил...»: тут едва ли не образ двух старших поколений!

К сожалению, другие потенциальные рассказчики о минувшем веке поумирали, едва дождавшись появления Александра Сергеевича на свет. Иван Абрамович — в 1801 году; бабка Ольга Васильевна Пушкина — в 1802-м; дед Осип Абрамович — в 1806-м.

Позже, когда уже созреет глубокий историко-литературный интерес поэта к прошедшему, он будет сожалеть, что о многом не расспросил стариков — тех, кто охотно разговаривал с молодежью через головы бонтонных родителей².

При этих-то обстоятельствах произошла встреча Пушкина с последним из дедов.

ПЕТР АБРАМОВИЧ

«Попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз 5 или 6 до обеда. Принесли... кушанья поставили...» (XII, 305).

Всего несколько чудом уцелевших строк — о встрече со вторым по старшинству сыном Арапа Петра Великого, двоюродным дедом Петром Абрамовичем Ганнибалом (1742—1826). Встреча, считается, происходила в 1819 году, во время первого посещения Пушкиным Михайловского и других мест Исковской округи (не считая приезда с родителями в грудном возрасте); смысл же колоритной записи, скорее всего, в том, что деревенский старожил, приверженный к грубой патриархальности, экзаменует юного, городского «щеголя»: в столицах ведь водка — питье нечастое (ее обычно потребляют в деревне или на походе), — однако внук,

¹ Новопайденный автограф Пушкина. Подготовка текста, статья, коммент. В. Э. Вапуро, М. И. Гиллельсона. Л., 1968, с. 16—17.

² Письмами Марии Алексеевны Ганнибал внуку в Лицей, как известно, восхищался Дельвиг, но эти послания были беспечно утрачены (чего позже Пушкин конечно бы не допустил!).

как видно, не уронил мужского достоинства, «не поморщился», и, как знать, не тем ли было завоевано расположение престарелого «арата», принесшее Пушкину немалую пользу: во-первых, Петр Абрамович наверняка много порассказал заинтересованному потомку (об этом см. в последней главе); во-вторых, оставил важные бумаги: с 1801 года, после смерти холостого Ивана Ганибала, Петр Абрамович был старшим в фамилии и по праву обладал некоторыми родовыми реликвиями¹.

11 августа 1825 года, во время михайловской ссылки, Пушкин сообщает П. А. Осиповой: «Я рассчитываю еще повидать моего двоюродного дедушку — старого арата, который, как я полагаю, не сегодня-завтра умрет, а между тем мне необходимо раздобыть от него записки, касающиеся моего прадеда» (XII, 543, ориг. по-франц.).

До последнего времени предполагалось, что поэт ездил к двоюродному деду по соседству — из Михайловского в Петровское. Единственное сомнение — что в обширной переписке за время ссылки о дедушке больше ничего; тригорские Осиповы, Вульфы тоже молчат о нем, а Прасковье Александровне Осиповой, как видим, нужно объяснить, что за «дедушка-арат», — если он находится рядом, в Петровском, подобная ситуация совершенно непонятна. Однако совсем недавно усилиями сотрудников Пушкинского заповедника открылось, что поэт ездил к деду далеко — в другую деревню, Сафоньево близ Новоржева, где Петр Абрамович прожил с 1823 по 1826 год². Эта, казалось бы, мелкая подробность подчеркивает достаточно сильный интерес поэта, заставивший трястись 60 верст по нелегким псковским дорогам: видеть, понятно, не только родственное чувство, но — инстинкт писателя-историка, к этому времени уже заканчивающего «Бориса Годунова» и вырабатывающего новый взгляд на историю.

От Петра Абрамовича был, как известно, унаследован уникальный документ — биография Абрама Ганибала, «Арата Петра Великого», на немецком языке, и, вероятно, еще кое-какие старые бумаги.

¹ Важно вспомнить, что после кончины Ивана Ганибала к Петру Абрамовичу перешел надзор за справедливым имущественным разделом между дедом поэта, Осипом Абрамовичем, и его первой семьей (что, впрочем, не помешало позднейшей тяжбе С. Л. Пушкина и П. А. Ганибала. См.: «Русская старина», 1879, № 6, с. 375).

² Установлено научной сотрудницей Пушкинского заповедника Г. Ф. Симакиной.

Последний дед ушел из жизни. Однако Пушкин с годами все настойчивее разыскивает собеседников, способных компенсировать отцовское молчание.

Припоминая пушкинских добрых знакомцев, мы находим в их числе примечательных людей «дедовского возраста». Среди них почти не найти родившихся в 1740-х годах; ярчайшее исключение — Наталья Кирилловна Загряжская (1747—1837); однако многие «люди 1750—60-х годов» поведали поэту-историку бесценные подробности: кроме острой старческой тяги к воспоминаниям, вероятно, сказывалась та естественная живость дедов, которая поубавилась у их детей, но снова открылась и проявилась у внуков.

Среди старинных рассказчиков находим «Вельможу», Николая Борисовича Юсупова (род. в 1750 г.); с ранних лет Пушкин был знаком с поэтом и государственным деятелем И. И. Дмитриевым (род. в 1760 г.): «Каждые два часа беседы с ним,— заметил Вяземский,— могут дать материалов на несколько часов записок». Среди важных *пушкинских* свидетелей минувшего века заметим еще А. Ф. Ланжерона (род. в 1763 г.), очевидца необыкновенного числа исторических событий (о нем еще речь впереди); наконец, не забудем самого Карамзина (род. в 1766 г.).

Сложное противоборство, в мыслях Пушкина, идей Карамзина (и декабристов!), выводящих формулы для «всех народов, всех времен», и все усиливающегося историзма (требующего, между прочим, особенно тщательно изучить минувший век как естественную предысторию сегодняшнего) — все это отразилось в удивительном труде 22—23-летнего Пушкина: в первой исторической работе поэта — одной из первых в России попыток дать разбор истинной, не пародийной отечественной истории с 1700-х до 1800-х годов.

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Под этим наиболее вероятным названием в 1821—1822 годах Пушкин сочинил и довел до окончательного белового варианта историко-политическое сочинение столь же любопытное, сколь загадочное (см. XI, 14—17)¹.

В первой части книги «Пушкин и декабристы» (1979) я пытался представить историю пушкинского замысла, главные идеи поэта-историка.

¹ Мы используем заглавие, сохранившееся в авторитетной копии Н. С. Алексеева. ПД, ф. 244, оп. 6, № 24.

По ходу разбора были сделаны следующие выводы.

1. «Замечания», окончательно завершенные 2 августа 1822 года, были начаты летом или осенью 1821-го под непосредственным впечатлением от смерти Наполеона, от первых европейских революций, при оптимистическом взгляде поэта и его друзей на ближайший ход русских событий.

2. «Замечания» — первый серьезный опыт поэта в историко-публицистической прозе. В атмосфере тех лет это весьма знаменательный знак декабризма¹.

3. В рукописном сборнике Алексеева, близкого приятеля поэта по Кишиневу, вслед за единственной сохранившейся прижизненной копией пушкинского сочинения помещены пять документов, относящихся к важным историко-политическим проблемам 1812—1822 годов². Весь сборник посвящен истории царствования Александра I, и — случайно или нет? — пушкинские «Замечания» составляют род исторического введения, пролога к остальным документам. Кроме речи Александра I и «Декларации» Священного союза, ни один из документов не мог быть взят Алексеевым из печати.

Поселившись вместе с Пушкиным, Алексеев, очевидно, решил пополнить свое политическое образование и переписал у поэта «Исторические замечания». Что касается следующих пяти документов, то, видимо, и они были заимствованы из бумаг Пушкина: «Исторические замечания» во многом отталкиваются от текстов, следующих за ними.

Продолжая и развивая эту гипотезу, можно предположить, что в 1821—1822 годах Пушкин хотел составить собрание документов для историко-публицистической работы о России, либо с 1801-го, либо с 1812—1815 годов. К этим же материалам для «современной летописи» могут быть отнесены и некоторые другие документы, сохранившиеся в бумагах самого поэта: «Замечания о революции Ипсиланти», «Заметки о Пенда-деке», которые Анненков охарактеризовал как «журнал греческого восстания»³. Таково же письмо к В. Давыдову о греческих делах (XIII, 22—24).

Б. В. Томашевский и И. Л. Фейнберг стремились опре-

¹ См.: Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Тарту, 1975, с. 18—19.

² Реакционнейшее «Мнение господина Магницкого» (1821), два письма Александра I П. В. Чичагову о восточных делах (1812), Лайбахская декларация Священного союза (1821), конституционная речь Александра I на открытии польского сейма (1818).

³ Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александро-скую эпоху. СПб., 1874, с. 202.

делить, какое место могло занимать пушкинское сочинение о 1725—1801 годах в Автобиографических записках, о которых точно известно, что Пушкин вел их на юге и в Михайловском с 1821 по 1825 год.

И. Л. Фейнберг полагал, что еще в 1859 году Е. И. Якушин в журнале «Библиографические записки» правильно оценил характер пушкинской рукописи, рассматривая ее как отрывки из Автобиографических записок¹.

Однако Якушин (а позже П. А. Ефремов²) высказал больше чем простую догадку: он пользовался сведениями Аппенкова, полученными от самого Алексеева. По мнению Н. С. Алексеева,— впрочем, не слишком разбирающегося в тонкостях жанра,— Пушкин готовил записки, а «Некоторые исторические замечания» — это вступление к ним.

Чрезвычайно соблазнительно было бы видеть в прекрасной, зрелой исторической прозе «Замечаний» начало автобиографии поэта, нечто вроде исторической экспозиции к ней. Соблазнительно, но не обязательно...

Б. В. Томашевский, стремясь примирить широкий исторический фон Замечаний с необходимым его «сужением» в автобиографии, находил, что Записки, уничтоженные Пушкиным, представляли собою не просто автобиографию, но — историю того времени³; что «Исторические замечания» Пушкина — это, скорее всего, вступление, «быстрое введение» в историко-биографический труд поэта⁴. Между тем не исключается и представляется более вероятным, что, независимо от Автобиографических записок, Пушкин замышлял большую работу о России начала XIX столетия со вступлением — о России XVIII века.

Рассматривая пушкинский исторический труд в связи с общественно-политической борьбой начала 1820-х годов, я почти не касался в книге «Пушкин и декабристы» источниковедческой стороны дела: откуда Пушкин черпал свои сведения, как они согласовывались с научными знаниями, распространенными историческими представлениями эпохи? Между тем история XVIII века, писанная Пушкиным в

¹ См.: Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 5-е. М., 1969, с. 304. Левкович Я. Л. Пушкин в работе над «Записками». — «Русская литература», 1982, № 2, с. 141—148.

² «Русская старина», 1880, № 12, с. 1043.

³ См.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1 (1813—1824). М.—Л., 1956, с. 569.

⁴ См. там же. «Быстрое введение» — пушкинские слова, относящиеся к первой главе «Евгения Онегина».

1821—1822 годах, очень интересна еще и потому, что ее можно постоянно сравнивать с позднейшими сочинениями поэта о том же периоде. Разница в подходе, иногда очень большая, позволяет особенно ясно понять, как менялся Пушкин-историк.

Сейчас мы ограничимся лишь несколькими соображениями и наблюдениями, но не раз обратимся к пушкинским «Замечаниям» в следующих главах.

«ПЕТР И НЕ СТРАШИЛСЯ...»

В пебольших по объему «Некоторых исторических замечаниях» как бы четыре главки: Петр I; от Петра до Екатерины II; Екатерина II; Павел I.

О Петре сказано немного: его реформы — это «движение, переданное сильным человеком», разрушение «связей древнего порядка вещей».

То, что современный период начинается с Петра, отрицать невозможно; однако поэт находит немного «добрых слов» в адрес преобразователя, столь частых в более поздних пушкинских обращениях: наиболее резкие формулы «Замечаний» — «История представляет около его всеобщее рабство...», «все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось».

Согласно Пушкину, «Петр не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон»: выходит, царь был уверен, что не скоро *его* просвещение обратится против *его* самовластия. Однако Пушкину уже кажется, что время, отпущенное потомкам Петра для «просвещенного рабства», кончается; что через сто лет после Петра настал час свободы, «неминуемого следствия» того, что Петром заложено.

Сходная мысль у Герцена в «Былом и думах»: «Четырнадцатого декабря <...> пушки Николая были равно обращены против возмущения и против статуи: жаль, что картечь не расстреляла медного Петра»¹.

Пушкин, конечно, видит историческую связь времен, прогрессивность петровского просвещения. Некоторые мысли 1822 года будут развиты в следующих сочинениях о Петре; но все же, можно сказать, автор «Исторических замечаний»

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. IX. М., 1956, с. 48.

свободолюбиво-односторонен; он еще не хочет, не может подойти к истории — исторически...

Это свойственно и многим декабристам, говорившим или писавшим о Петре. Первый император плохо помещался в «двуцветную историю», делящуюся на свободолюбцев и тиранов.

Положительные черты его правления, конечно, очевидны для многих, и Николай Бестужев славит Петра, составляя историю русского флота; позже, на каторге, говорит (как будто несколько извиняясь перед товарищами): «Я люблю без памяти этого тирана»¹. Сумеет пробить в печать некоторые новые исторические документы о петровском царствовании глубокий профессиональный историк-декабрист А. О. Корнилович: его подход довольно широк, выделяется среди суждений других единомышленников и требует, конечно, особого разбора.

Если же говорить о большинстве декабристов, то их похвалы в адрес преобразователя еще не означали, будто достигнут подлинно исторический подход; что перемены начали XVIII века уже объяснены тогдашней, а не «сегодняшней» силою вещей.

Не надо забывать, что часто декабристские панегирики Петру были упреком его преемникам или призывом заговорщиков к активности. Так, Н. И. Тургенев, вообще находивший Петра Великого «тираном», писал (12 сентября 1816 г.): «Тогда только делается хорошее, когда люди ускоряют ход времени. А теперь даже с временем идти не хотят и удерживают ход его железными цепями! Петр, истинно великий и единственный...»² В то же время Рылеев в разговоре с Батеньковым сетует на Петра, пресекшего древние свободы: «...и сказал наконец, что стоит повесить вечевой колокол, ибо народ в массе не изменился»³.

Противники Петра, в том числе Мазепа, Войнаровский, для Рылеева прежде всего борцы за свободу. В знаменитом монологе, обращенном к Андрею Войнаровскому, Мазепа, конечно, излагает потаенные идеи Рылеева:

Я чту великого Петра;
Но — покоряяся судьбине,
Узнай: я враг ему отныне!..
Шаг этот дерзок: знаю я;

¹ Бестужев Н. А. Статьи и письма, М., 1933, с. 267.

² Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936, с. 199—200.

³ Восстание декабристов, т. 14. М., 1976, с. 96.

От случая всему решенье,
Успех не верен,— и меня
Иль слава ждет, иль поношенье!
Но я решился: пусть судьба
Грозит родной стране злосчастьем;
Уж близок час, близка борьба,
Борьба свободы с самовластием! ¹

Для Каховского Петр I — «губитель свободы» ²; Н. Муравьев и другие декабристы не раз упрекнут царя, что он упразднил земские соборы.

Совершенно особой темой, требующей специального изучения, является довольно сильная перемена в пушкинском подходе к Петру между 1822 и 1826 годами. Петр Великий в последекабрьские времена — важнейший исторический образ для Пушкина, связанный с главнейшими его мыслями о прошлом, настоящем и будущем. Царь является в сочинениях поэта и как благой пример нынешним правителям («Во всем будь пращуру подобен»), и как деятель с явным преобладанием великих, прогрессивных черт («Арап Петра Великого», «Полтава»).

Затем — сложнейшая концепция «Медного Всадника»...

Между «Полтавой» и «Медным Всадником» дистанция, конечно, немалая, но все же принципиально меньшая, если сравнивать «Полтаву» с «Некоторыми историческими замечаниями».

В 1822 году видны только начатки будущих идей: поэт, как бы отделяясь от «карамзинских времен», именно с Петром ведет историческую линию к своим дням, уже ясно ощущая связь эпох, но еще не так, как несколько лет спустя.

Любопытно, что в «Замечаниях» почти отсутствует народ. Наиболее известные строки — «народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр». Эту фразу, заметим, начинает историк, просвещенno иронизирующий, но заканчивает как бы сам народ, насмехающийся над историком и ему подобными «обритыми боярами» (в 1831 году Пушкин напишет в «Рославлеве»: «Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову»; VIII, 152). Тут уже видно столь раскрывшееся в поздние

¹ См. также план драматического произведения Рылеева о Мазепе: Летописи Гос. лит. музея, т. 3. М., 1938, с. 282—283.

² Бороздин А. К. Из писем и показаний декабристов, СПб., 1906. См. также: Волк С. С. Исторические взгляды декабристов. М.—Л., 1958, с. 395—413.

годы особенное умение поэта смотреть на предмет то со своей стороны, то с чужой колокольни; то на Пугачева, то — «Пугачевым»...

Здесь, однако, должно оговориться: в первой пушкинской исторической работе ни Пугачев, ни Булавин, ни другие народные вожди и движения не названы.

Народ, так сказать, *безмолвствует*.

Поэт, во-первых, почти ничего не знает, как и большинство людей его круга, о великих бунтах; во-вторых, даже зная — недооценивает, отбрасывает, как не слишком существенный факт.

Через три-четыре года, в Михайловском, Пушкин «откроет» народ, народность — и представит первые свои открытия в «Борисе Годунове».

Еще через десять лет Пугачев будет сочтен важнейшим лицом XVIII века. В народной войне будет услышан голос большинства населения, угаданы будущие катаклизмы...

Ничего этого нет в работе 1822 года. Декабристские взгляды на народ как на пассивную спящую массу, которую должно освободить, «не разбудив», — в пушкинских «Замечаниях» особенно отчетливы: ведь автор не стеснен цензурой, касается опаснейших, крамольных предметов, между прочим замечает, что Екатерина II «уничижила звание (справедливее название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции»; здесь, казалось бы, самое время упомянуть о самозванцах, великих бунтах, но поэт-историк проходит мимо...

ОТ ПЕТРА ДО ЕКАТЕРИНЫ II

О Петре Великом молодой Пушкин все-таки мог прочесть несколько сочинений, в основном апологетических. Однако еще слышны были прадедовские рассказы, разнообразные легенды, апокрифы. Достаточно вспомнить семейные предания Ганнибалов или встречу поэта со 135-летним Николаем Искрой, хорошо помнившим Карла XII...

Шесть царствований между Петром I и Екатериной II — период еще более темный и недоступный. Книг почти нет. Кроме основной канвы событий, изученной еще в Лицее, главными источниками информации для Пушкина были рассказы осведомленных людей — таких, как Карамзин, Николай Тургенев, Никита Муравьев в Петербурге, В. Ф. Раевский, Пестель на юге...

Тем более интересно, как Пушкин создает многомерную картину 1725—1762 годов из тех фактов, которыми располагает. «Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждены. Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе» (к этому месту примечание Пушкина: «Доказательство тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елизаветы»).

Снова Пушкин тонко меняет углы наблюдения: то с высоты XIX века на XVIII, то с «низин» XVIII на себя: «чиновники», «иностранцы», «схоластический педантизм» — слова, произносившиеся в 1820-х годах с оттенком отрицания, здесь, наоборот, звучат одобрительно. Эта многогранность, точно так же как замечательная формула о добре, которое «производилось ненарочно», обнаруживает важные истоки будущего высокого пушкинского историзма. Пушкин-художник и в ранние времена, а чем позже, тем больше, рассматривает человека, героя, время с нескольких сторон; ищет доводы «за» для фигур темных, находит доводы «против» в лицах идеальных. Художественный инстинкт великого таланта легко и естественно приводит к историзму; и тогда удается на исторические события взглянуть как отсюда, так и оттуда, «снизить» идиллию, отдать должное «низкому».

Поэтому слишком определенные, однозначные эпитеты — «безграмотная Екатерина, кровавый злодей Бирон, сладострастная Елизавета» (эпитеты, которых Пушкин позже станет избегать) — все же уравновешиваются диалектическими формулами вроде *ненарочного добра*.

Единственным событием между 1725 и 1762 годами, на котором Пушкин задерживается, является попытка ограничить самодержавие в 1730 году («гордые замыслы Долгоруких»). Он убежден, что если б аристократы взяли верх, то освободить крестьян в будущем было бы много труднее:

крепостничество именем государства, сверхвластие царя даже над дворянами представляются поэту наименьшим злом. Рабство в этом случае можно отменить законом, а укоренившуюся феодальную собственность — нельзя! Поэтому закон о вольности дворянской без сопутствующего ему закона «о вольности крестьянской» — по Пушкину — вреден, и его «следует стыдиться».

Как известно, подобный взгляд был близок к позиции Н. И. Тургенева. Пушкин и в другие, поздние времена будетдержано относиться к дворянским конституционным идеям. Между тем в декабристской среде (Никита Муравьев, Лунин, Фонвизин, Орлов) было распространено и другое воззрение на политическую борьбу XVIII века, более одобрительное к «аристократическим замыслам» — ограничить самодержавие¹. Среди прогрессивных кругов было популярно мнение, что «Указ о вольности дворянской» способствовал освобождению личности, ограждению хотя бы части населения, дворян, от всеобщей дубинки. Понятно, без частичного освобождения не могли бы явиться такие свободные люди, как декабристы, как сам Пушкин.

После 1825 года Пушкин, много размышляя о нравственных, внутренних переменах в людях и «состояниях», постепенно меняет отношение к дворянской вольности. В одном из отрывков, условно называемых «О дворянстве» (30-е годы), он пишет: «Чем кончится дворянство в республиках? Аристократическим правлением. А в государствах? Рабством народа. а = b» (XII, 206). Под «республиками» Пушкин здесь подразумевает разные типы представительных правлений; «государство» — абсолютная монархия. В 1822-м Пушкин еще полагал, что «b» (то есть рабство) лучше, чем «a» (власть аристократии), так как оставляет перспективу, «выход в будущем». В 1830-х годах, продолжая порицать «гордые замыслы Долгоруких», он не без сожаления рассматривает «уничтожение дворянства чинами», «падение постепенное дворянства» в связи с правлением Петра и Анны (XII, 206).

В 1822 году почти вся вина возлагается на Екатерину II.

ЕКАТЕРИНА II

Около половины работы посвящено этому царствованию. События все ближе, все запретнее в цензурном смысле, но

¹ См.: Ланда С. С. Дух революционных преобразований... М., 1975, с. 186.

зато — несть числа рассказам и преданиям, и до поры до времени существование компетентных очевидцев вполне компенсирует для Пушкина недостаток печатных сведений (речь идет, понятно, о «секретной» политической истории; вообще же число материалов о «веке Екатерины» составляло 40—60% всех журнальных исторических публикаций 1800—1815 годов)¹.

По ходу своих «Замечаний» Пушкин приводит анекдоты, факты, о которых «все знали», но никто — не читал; о двуличии императрицы, о презренных фаворитах, «странным Потемкине», «обезьяне графа Зубова», расправе с Новиковым, Радищевым, Княжининым, о «фарсе депутатов» и пр. Как установил И. Фейнберг, поэт по ходу работы над «Историческими замечаниями» уточнил число государственных крестьян, раздаренных Екатериной II, и в конце концов указал цифру, близкую к реальной,— «около миллиона»².

Обратимся к одному из важных, любопытных источников пушкинской информации о Екатерине II.

В 1820-х годах поэт, как известно, дружески общался на юге с генерал-губернатором Новороссийского края графом Александром Федоровичем Ланжероном, и как раз на глазах поэта происходит замена его в 1823 году новым наместником — М. С. Воронцовым³.

Граф Ланжерон (1763—1831) — французский военный, аристократ, впрочем, придерживавшийся в молодости весьма левых, даже республиканских взглядов (о чем свидетельствуют некоторые его литературные сочинения). В конце 1770-х годов он сражался за свободу Соединенных Штатов против Англии, затем, по его собственному признанию, «стремился попрактиковаться в военном деле», а для того — «отправиться в любую страну, где начнется война». Такой страной оказалась Россия, воевавшая с Турцией в 1787—1791 годах.

В 1790 году Ланжерон отправляется на Восток, между тем французская революция делает его эмигрантом, и он задерживается в России на 30 с лишним лет, участвуя в нескольких кампаниях. За поход против Наполеона удостаи-

¹ А Фиани В. Ю. Указ. соч., с. 22—23.

² Фейнберг И. Читая тетради Пушкина, с. 52—54.

³ См.: А. де-Рибас. Пушкин и Ланжерон-драматург.— В сб.: Пушкин. Статьи и материалы, 2. Одесса, 1926; Фейнберг И. Указ. соч., с. 319—322. Самое раннее известное общение Пушкина и Ланжерона — на обеде у губернатора в Симферополе 9 сентября 1820 г. См.: Іявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951, с. 242.

вается чина полного генерала и ряда высоких орденов, в 1815—1823 годах управляет Новороссийским генерал-губернаторством.

Ланжерон принес из Франции, страны старины мемуарной культуры, привычку к регулярному ведению записок. В основе мемуарной работы генерала лежали, несомненно, его дневники, которые, однако, неизвестны и, возможно, хранятся вместе с другими бумагами Ланжерона во Франции. Из дневников он черпал первый слой воспоминаний и делал это, очевидно, через сравнительно короткий срок, под свежим впечатлением событий. В 1824—1827 годах. Ланжерон внимательно перечитал свои мемуары, составившие к тому времени уже несколько основательных томов. Стимулом послужили, вероятно, житейские обстоятельства, заставившие графа подвести некоторые итоги биографии и карьеры: это была обида Ланжерона на несправедливую, по его мнению, отставку, данную ему Александром I, временный отъезд во Францию, наконец, возвращение обратно после восшествия на престол Николая I (включившего, между прочим, Ланжерона в состав Верховного уголовного суда над декабристами).

Итак, манеру Ланжерона-мемуариста отличают любопытные автокомментарии 1820-х годов к местам, сочиненным на 20—30 лет раньше. К томам о войнах 1806—1812 годов он делает пояснение: «Это сочинение писалось в 1812 г. Я добавил несколько заметок в 1827».

В 1831 году Ланжерон умер от холеры. Согласно свидетельству А. И. Тургенева, обнаруженному И. Л. Фейнбергом, «рукопись своих обширных мемуаров Ланжерон оставил французскому консулу в Одессе, который предложил вдове графа издать их. И так как <...> согласиться на это она не решилась, мемуары были пересланы консулом в парижский архив: они стали сначала достоянием французских историков»¹.

Более чем через полвека по инициативе В. А. Бильбасова и других русских специалистов была снята и доставлена в Россию копия с шести рукописных томов записок Ланжерона общим объемом в несколько тысяч листов. Реальный же размер ланжероновских бумаг, конечно, намного больше. Не говоря о дневниках и переписке, отметим отсутствие среди бильбасовских копий как раз пласта, связанного с заговором 1800—1801 годов. Вероятно, кописты не стали пере-

¹ Фейнберг И. Читая тетради Пушкина, с. 319.

писывать то, что было напечатано в парижском издании «*Recuei britannique*» (июль 1895 г.).

Неплохой слог, высокая культура, вкус к мемуарной работе — все это с самого начала придавало запискам Ланжерона немалую ценность.

Пушкину была крайне интересна сама фигура генерала, живого свидетеля и участника стольких войн, революций и царствований. К тому же весьма разговорчивый Ланжерон охотно делится с заинтересованным собеседником. О том, что беседы легко выходили за дозволенные рамки, говорят сохранившиеся отдельные их отголоски: Ланжерон навязал поэту чтение своей трагедии «Мазаниелло, или Неаполитанская революция», сочинения, судя по всему, очень слабого художественно, но исполненного вольным, едва ли не революционным духом¹.

Получив отставку с поста генерал-губернатора, Ланжерон, обожженный на Александра I, разговаривает с Пушкиным как республиканец и признается (по свидетельству поэта), что «готов развязать свой шарф», то есть, попросту говоря, задушить царя (XII, 330)².

Хотя поэт встречался с генералом и позже, однако разговор о шарфе был, скорее всего, именно в 1821—1822 годах: позже граф уедет во Францию, в 1826-м вернется и получит компенсацию за свои обиды от Николая I; старинная отставка перестанет быть злободневной.

Итак, вольные разговоры были как раз в период работы Пушкина над «Замечаниями». Разговоры откровенные, прямолинейные, позволяющие предположить, что вообще «говорили обо всем».

Некоторые рассказы Ланжерона угадываются по откликам Пушкина в «Исторических замечаниях». Вот примеры.

Ланжерон — свидетель последних лет екатерининского правления — записал в своем дневнике множество данных о различных бедствиях в конце царствования, в частности о расхищении рекрут, положении крестьян, бесчинствах фаворитов; между прочим рассказывается и о пресловутой обезьяне графа П. А. Зубова, «внимание» которой вынуждены были терпеть заискивающие придворные³.

¹ См.: А. де-Рибас. Пушкин и Ланжерон-драматург, с. 38.

² При этом граф вскоре запишет в дневник о «глушецем из заговоров 1^{1/2}/26 декабря 1825 г.» (ПБ, ф. 73, № 275, л. 78, orig. по-франц.). Здесь и далее записи Ланжерона цитируются (в переводе с франц.) по копии В. А. Бильбасова, так как отдельные публикации мемуарных фрагментов рассыпаны по разным изданиям и неполны.

³ См.: ПБ, ф. 73, оп. 1, № 273, л. 632—634.

Пушкин много пишет в своих «Замечаниях» именно об этих материалах, о тартюфской лжи Екатерины, о подлости временщиков, в частности и про зубовскую обезьяну.

Ланжерон с большим знанием дела толкует о Потемкине и путешествии царицы на юг в 1787 году: «Сделавшись через 30 лет после этого события генерал-губернатором этих провинций, я мог удостовериться в истинности этих подробностей, которые прежде представлялись мне вымысленными»¹. Ярчайшее описание фиктивного благоденствия южных крестьян, продемонстрированного Екатерине и ее спутникам, *Ланжерон* завершает следующими словами: «Истинное колдовство — как в деспотическом государстве могучий фаворит может обмануть правителя, особенно когда последний этого желает. Императрица делала вид, что верит, но неужели надеялась обмануть зрение императора Иосифа, принца де Лиль, иностранных министров?»

Пушкин не раз пишет про Екатерину, что «ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали»; он отмечает «отвратительное фиглярство в сношениях с философами», слышит «голос обольщенного Вольтера», удивляется «подлости русских писателей».

Ланжерон, перечитав в 1820-х годах свои ранние дневниковые записи о Потемкине, находит, что был чрезмерно строг к фавориту: «Прошло более тридцати лет, как князя Потемкина не существует, и я могу оценить его теперь с большей справедливостью. Он имел все пороки придворного, парвеню <...>, все это правда, по, если подвести итог сделанному им добру и злу, я думаю, что добро перевесит. Это человек, которому Екатерина II обязана завоеванием Крыма, пресечением запорожцев, основанием Херсона, Николаева, Севастополя, флота; владением Черным морем, новыми отраслями коммерции. За все это он заслужил признание своего народа»².

Пушкин, скорее всего под влиянием этих текстов или рассказов *Ланжерона*, тоже выделяет Потемкина: «Много было званных и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою Истории. Он разделит с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным

¹ ПБ, ф. 73, оп. 1, № 274, л. 41. В объективности *Ланжерона* убеждает то, что он в позднейших примечаниях к дневнику берет обратно высказанное сначала мнение, будто флот в Севастополе был фиктивным; он признает существование 20 военных судов, но подтверждает «потемкинские деревни».

² Там же, № 273, л. 564—565.

морем и блестящими, хоть и бесплодными победами в Северной Турции».

Общий же пушкинский взгляд на царицу — крайне отрицателен; он здесь совсем позабыл спокойный, эпический тон и раскаляет памфлетную ярость: «развратная государыня развратила и свое государство...»

Пройдут годы, и Пушкин не то что смягчится — сумеет взглянуть на царицу исторически, то есть в связи с тогдашней эпохой, духом и нравами. Но в 1821—1822 годах «Тартюф в юбке» оценивается согласно резким, декабристским критериям; при этом велико значение аллюзий, прямых параллелей с современностью: приятое сопоставление просвещенного правления Екатерины и века Александра ведет к тому, что суждения против бабушки тут же обращаются на внука.

Понятно, подобная точка зрения не была единственной и среди декабристов. М. А. Фонвизин, племянник не любимого царицей писателя, заметит, что Екатерина II «старалась смягчить почти азиатскую суровую внешность русского деспотизма более благовидными европейскими формами»¹. Пушкин, собственно говоря, о том же пишет в «Послании цензору», пелагальном сочинении того же 1822 года; и тут опять обнаруживается напряженная работа пушкинской мысли, стремление взглянуть на прошлое под разными углами, столкнуть противоречия; стремление, постепенно ведущее к историзму 1830-х годов.

ПАВЕЛ I

Этому царю посвящены последние несколько строк работы: «Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники Самовластия в том не согласны и принимают славную шутку госпожи де Сталь за основание нашей конституции: «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою». Подробности «удавки», убийства Павла I, были известны достаточно хорошо².

Именно к этому времени генерал Ланжерон, как уже говорилось, успел потолковать с Пушкиным о «шарфе» и других атрибуатах цареубийства 11 марта 1801 года. Пушкин встречался с разными лицами, которые знали подробности события (например, на юге с Д. Н. Бологовским), но Ланжерон был уникальным знатоком этого сюжета: хоть он и не

¹ Фонвизин М. А. Сочинения и письма, т. П. Иркутск, 1982, с. 126.

² См.: Фейнберг И. Указ. соч., с. 319—320.

был в Петербурге в день убийства Павла, однако при первой же встрече с главными цареубийцами, Паленом и Бенигсеном, узнал многое; они «даже предупредили расспросы, первые заговорив о событии, которое, быть может, для них лучше было бы замолчать»¹.

В нескольких пушкинских строках ощущается не только знание обстоятельств «11 марта», но и отзвук споров, шуток, размышлений о том событии. «Павел — Калигула» — это была тираноборческая формула, разделявшаяся большинством декабристов. Не повторяя анализа последних строк пушкинского труда, сделанного в другой книге², и не предвосхищая разбора позднего пушкинского воззрения на Павла (см. гл. VIII), здесь отметим только следующее: для такого рода сочинений, как «Некоторые исторические замечания», новые факты вообще не очень нужны — довольно и старых. Разумеется, гениальный поэт-историк не откажется от яркой, свежей подробности, иллюстрирующей главную мысль; но как это еще далеко от того, будущего Пушкина, который отправится в архивы, чтобы овладеть материалом и затем от материалов — идти к окончательным выводам!

Пока же мы анализируем интереснейшее во многих отношениях пушкинское сочинение, по духу, подходу принадлежащее декабристским 1820-м годам. Однако и здесь талант толкает автора вперед и несколько раз уже прорывается в будущее, в 1830-е годы, с их более историческим, объективным подходом. С 1823 года Пушкин определенно охладевает к своим «Историческим замечаниям»: это видно и по его собственным высказываниям, и по судьбе беловой рукописи, оказавшейся вскоре в чужих руках. «Замечания» вдруг стали для Пушкина вчерашними и не были продолжены именно потому, что взгляд поэта на историю, на свободу и просвещение изменялся и усложнялся. Новый взгляд вел к «Борису Годунову», «Истории Пугачева», «Медному всаднику»...

Размышления о просвещении, ощущение того, что ожидающие близкие перемены в жизни страны не близки — все это вызвало с 1823 года переоценку, перемену во многих мыслях Пушкина, политических, исторических. Поэтому работа, начатая «Некоторыми историческими замечаниями», Пушкиным прекращена.

Они не были продолжены, но в них уже заложено движение к великим историческим сочинениям 1825—1836 годов.

¹ Сб. Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. СПб., 1907, с. 131.

² См.: Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы, с. 98—102.

ГЛАВА III

СЕМНАДЦАТЬ ВЕКОВ

Обременять вымыщепными ужасами исторические характеры и не мудрено, и не великовдошно.

Более ста лет в собрания сочинений Пушкина входят «Замечания на Анналы Тацита».

При жизни поэта-историка эта работа не печаталась, и все семь сохранившихся листов — черновые¹, однако 14 апреля 1826 года друг-издатель П. А. Плетнёв, должно быть получив письмо Пушкина, нам неизвестное, отвечал: «Я бы очень желал, чтобы ты несколько замечаний своих на Тацита пустил в ход с цитатами. Это у многих повернуло бы умы» (XIII, 272).

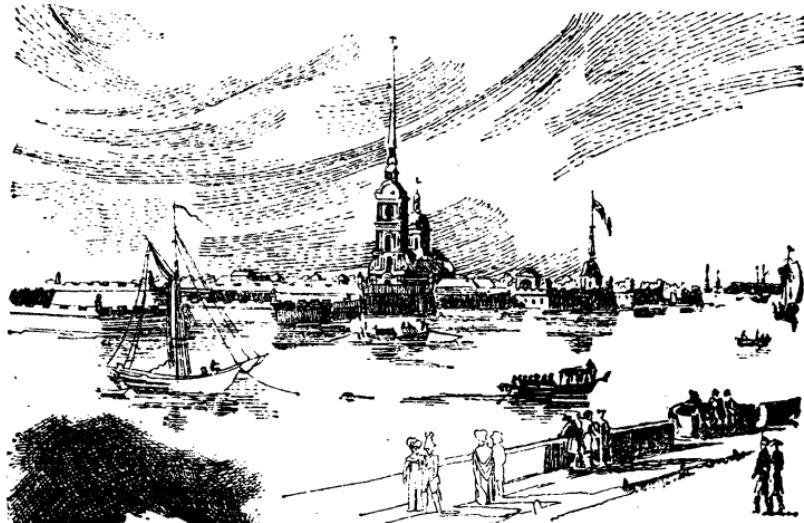
Воздерживаясь пока от подробного разбора этой реплики, заметим только, что Плетнёв, находясь в Петербурге, знает содержание, общий дух заметок, сделанных Пушкиным в Михайловском; знает, что они готовы или почти готовы для того, чтобы их «пустить в ход».

Девятыми месяцами раньше, 23 июля 1825 года, Пушкин кое-что сообщал о своих раздумьях над Тацитом в письме к Дельвигу (XIII, 192). Два эпистолярных свидетельства дают основание датировать «Замечания на Анналы Тацита» 1825—1826 годами².

Этим историческим заметкам Пушкина повезло много больше, чем другим подобным же незавершенным, черновым замечаниям или выпискам: к ним обращался ряд авторитетных исследователей, а несколько прекрасных работ, появив-

¹ Из девяти замечаний на Тацита — № 1—8 на отдельных листах (б. шифр ЛБ № 3266, ныне ПД, ф. 244, оп. 1, № 1071); последнее, девятое — в тетради (б. шифр ЛБ № 2367, ныне ПД, ф. 244, оп. 1, № 833, л. 60).

² См. комментарии к пушкинскому Собранию сочинений в десяти томах. М., 1976, с. 351; в Большом академическом собрании первые 8 замечаний датируются «не позднее июля 1825 года», девятая заметка — 1827 г. (см. XII, 459).



«...и в сонце офицерского
правления убийца ско-
зь руки лежал антическо-
го добродетельного человека
— и — то Тиберий!
уволь».

шихся в 1930—1940-х годах, казалось бы, исчерпали проблему до дна¹. Большинство выводов, сделанных в статьях И. Д. Амусина и Д. П. Якубовича, мы принимаем без оговорок — и если все же опять обращаемся к хорошо объясненному предмету, на то есть по меньшей мере две причины.

Первая — фактологическая: некоторые обстоятельства во «взаимоотношениях» римского историка и русского поэта могут быть дополнены или уточнены.

¹ Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина; Амусин И. Д. Пушкин и Тацит; Гиппиус В. с. Александр I в пушкинских «Замечаниях на Анналы Тацита». — Временник Пушкинской комиссии, т. 6, М.—Л., 1941, с. 92—182; Толстой И. И. Пушкин и античность. — Ученые записки Ленинградского гос. пед. института им. Герцена, т. XIV, 1938; Покровский М. М. Пушкин и античность. — Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5. М.—Л., 1939 и др.

Вторая причина — теоретическая: вопрос о том, зачем Пушкин принялся толковать Тацита, в чем корень любопытной его полемики со знаменитым сочинением, пережившим 17 веков, оказался вдруг не совсем ясным; несколько лет назад маститый специалист по западным литературам представил свою трактовку пушкинских идей¹, которая автору этих строк кажется весьма спорной, но притом позволяет завести важный разговор о важных вещах.

Лучшим способом этого разговора автор полагает привычный ему прием «медленного чтения», последовательного, свободного комментирования интересующего текста.

Итак, 9 пушкинских «Замечаний на Анналы Тацита».

Прямо перед 1-м параграфом Пушкин вписал и затем зачеркнул очевидно предполагаемый эпиграф, который не попал в поле зрения исследователей: «Карамзин Roma» (XII, 415). Расшифровывается запись очень просто: Пушкин явно имеет в виду стихотворение Н. М. Карамзина «Тацит», изданное в 1797 году:

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно.

Такой эпиграф, если бы он состоялся, соединил бы двух особенно занимающих Пушкина историков, римского и русского², — но притом напоминал бы о полемичности карамзинского обращения к Тациту (Рим «достоин ли пера его?»); эпиграф звучал бы для 1825—26-го и как острые аллюзии («Терпя, чего терпеть без подлости не можно»). Не зная о пушкинском замысле, но примерно в то же самое время (22 июля 1826 года) Вяземский вносит стихи Карамзина в свою записную книжку: он возмущен жестокой расправой над декабристами и, подчеркнув последнюю строку Карамзина, замечает:

«Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному...»³

Вяземский, не принадлежавший к Тайному обществу, тем

¹ Р еизов Б. Г. Пушкин, Тацит и «Борис Годунов». — В кн.: Р еизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970, с. 66—82.

² В эпиграмме на Каченовского появляется Карамзин — Тацит: «Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?»

³ Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963, с. 129—130.

не менее судит по-декабристски — его слова как бы эпилог, прощание с целой исторической эпохой, между прочим не раз призывавшей для подкрепления славную тень Тацита.

Пушкинские «Замечания на Анналы Тацита» возникают в 1825 году как бы на пересечении двух «стихий»: с одной стороны, новые историко-литературные занятия поэта, его «Борис Годунов»; с другой стороны, тацитовская традиция, особенно усилившаяся в эпоху войн и революций после 1789 года. Для того чтобы понять свою задачу историка-писателя, требовалось выяснить отношения с устойчивыми культурно-историческими репутациями; разумеется, не с одним Тацитом (в России прежде всего с Карамзиным), но и с Тацитом.

В 1820-х годах всякий разговор о тацитовском Риме сразу переходил на современные вопросы; ведь именно Тацит — «бич тиранов» — был, как всем известно, гоним Наполеоном; ведь в Лицее, в духе тогдашнего либерализма, педагоги учили своих воспитанников восхвалять Тацита и разоблачать Тиберия, Нерона и других тиранов¹.

Если Плутарх давал римские и греческие положительные образцы, так что читатели думали, больше о самих героях, чем об авторе,— то в *Истории и Анналах* героем фактически выступал сам Тацит, осуждающий тиранию суровым, возвышенным судом республиканца.

«С Тацитом я расстался как с приятелем»²,— записывает в 1822 году Николай Тургенев. «Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и др. были у каждого из нас почти *настольными и книгами*»³,— вспомнит И. Д. Якушкин; «Тацита одушевляло негодование!»⁴— восклицает Никита Муравьев; для А. О. Корниловича Тацит «красноречивейший историк своего и едва ли не всех последующих веков, глубокомысленный философ, политик»⁵; Лунин считал, что одна страница Тацита стоит десятков позднейших исторических томов⁶.

Все это — важнейшие элементы того общественно-полити-

¹ См.: Амусин И. Д. Пушкин и Тацит.— Временник Пушкинской комиссии, т. 6. М.—Л., 1941, с. 160—161.

² Архив братьев Тургеневых, вып. 5. П., 1921, с. 323.

³ Записки, статьи и письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 20.

⁴ ЛН, т. 59, с. 586.

⁵ Корнилович А. О. Сочинения и письма. М.—Л., 1957, с. 293.

⁶ См.: Лунин М. С. Сочинения и письма. Пг., 1923, с. 20. Сохранились восхищенные отзывы о Таците и других декабристов — П. Г. Кауховского, М. А. Фонвизина, П. Н. Свистунова, В. С. Норова. См.: Волк С. С. Исторические взгляды декабристов. М.—Л., 1958, с. 179.

ческого фона, в который вписываются пушкинские «Замечания на Анналы Тацита». Революционная, тираноборческая, романтическая традиция — где Тацит близкий приятель, «настольная книга» — и рядом стремление великого поэта к шекспировскому, многостороннему взгляду на любое событие... Нужды нет, что никто из декабристов «Замечаний» Пушкина не прочитал; зато Пушкин постоянно слышал (да и сам прежде воздавал) высокую хвалу римскому историку; к тому же в черновиках, еще не представляя их публике, поэт особенно откровенен — и таким образом объективно возникает любопытный диалог, где Пушкин спорит за и против Тацита со множеством невидимых, но примечательных собеседников — и в их числе с самим собою, вчерашним...

Диалог серьезный. Тациту придется нелегко. Обратимся же к медленному чтению девяти «Замечаний».

1

Тиберий был в Иллирии, когда получил известие о болезни престарелого Августа. Неизвестно, застал ли он его в живых.

В 5-й главе 1-й книги Тацитовых «Аппалов» легко отыскивается соответствующий текст:

«Тиберий, едва успевший прибыть в Иллирию, срочно вызывается материнским письмом; не вполне выяснено, застал ли он Августа в городе Ноле еще живым или уже бездыханным. Ибо Ливия, выставив вокруг дома и на дорогах к нему сильную стражу, время от времени, пока принимались меры в соответствии с обстоятельствами, распространяла добрые вести о состоянии принцепса, как вдруг мольба сообщила одновременно и о кончине Августа, и о том, что [Тиберий] Нерон принял на себя управление государством» (Апп. I, 5) ¹.

Пушкин, как видим, стремится к коротким, простым фразам, даже упрощая рассказ римлянина, и сохраняет древнюю манеру деления повествования на маленькие главки — «параграфы». В других работах (в частности, конспектируя «Описание земли Камчатки» Крашенинникова, см. гл. IX) поэт-историк также прибегает к античному дроблению текста, что придаст рассказу должную краткость и суровость.

Однако продолжим чтение пушкинского замечания о тацитовском Тибери.

¹ Здесь и далее ссылки на книгу и главу «Аппалов» даются в тексте по изд.: Тацит Корнелий. Сочинения в двух томах, т. I. Л., 1969. Перевод А. С. Бобовича, ред. Я. М. Боровского.

Первое злодеяние его (замечает Тацит) было умерщвление Постума Агриппы, внука Августова. Если в самодержавном правлении убийство может быть извинено государственной необходимости, то Тиберий прав. Агриппа, родной внук Августа, имел право на власть и правился черни необычайною силою, дерзостью и даже простотою ума — таковые люди всегда могут иметь большое число приверженцев — или сделаться орудием хитрого мятежника.

Неизвестно, говорит Тацит, Тиберий или его мать Ливия убийство сие приказали. Вероятно, Ливия — но и Тиберий не пощадил бы его.

Политическая острота текста была такова, что помешала Анненкову включить его в свое издание 1855—1857 годов¹; в 1874 году, в книге «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» Анненков сумел напечатать почти все «Замечания» Пушкина, однако и тогда фраза из I замечания: «Если в самодержавном правлении убийство может быть извинено государственной необходимости...» — вошла урезанной («Если убийство... может быть извинено государственной необходимости...»)². Только в 1887 году пушкинский «Тацит» был опубликован полностью: от рукописи до печати более 60 лет — один из верных признаков злободневности...

Обратившись к тексту «§ 1», легко заметить, что Пушкин с Тацитом спорит — и о ком же? О Тиберию, имя которого не одно столетие писали (и пишут) со строчной буквы, как нарицательное для тирана, мрачного и коварного деспота. Поэт же не только не маскирует — даже полемически заостряет свое «особое мнение»: в «Анналах» сказано: «Первым деянием нового принципата было убийство Агриппы Постума» (Анн. I, 6). Историк считал маловероятным, но все же возможным, что сам Август распорядился насчет внука,— Пушкин об Августе вообще не говорит; Тацит указывает на убийца с осторожной определенностью: «скорее Тиберий и Ливия...»; Пушкин — более решительно: «Вероятно, Ливия»³; к тому же ни во французском тексте Тацита (которым Пушкин пользовался)⁴, ни в латинском он не мог найти указания на то,

¹ Цензура пропустила только IV—VIII замечания, запретив I—III и IX.

² Анненков П. В. Указ. соч., с. 301.

³ «Очевидно, Пушкин в своем предположении руководствовался психологическим соображением, что женщина-мачеха была опаснее. Но тут же прибавил: «но и Тиберий не пощадил бы его». Эта поверка древнего писателя общечеловеческими, современными реалиями крайне характерна для отношения Пушкина к античным писателям» (Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина.— Временник Пушкинской комиссии, т. 6. М.—Л., 1941, с. 156).

⁴ В библиотеке Пушкина было 6 томов парижского издания Тацита с параллельными французским и латинским текстами (1817—

что Агриппа Постум «правился черни»; скорее наоборот — Тацит приводит мнение «большинства»: «Агриппа — жесток, раздражен нанесенным ему бесчестием и ни по летам, ни по малой опытности в делах непригоден к тому, чтобы выдержать такое бремя (власти)» (Анн. I, 4)¹.

Рассказ Тацита о восшествии Тиберия печально-нейтрален по форме; историк почти не дает оценок, глядит как бы со стороны — но дух отрицания, неодобрения убийству Августова внука несомненен. Пушкин это чувствует и «дает бой» полускрытым идеям римлянина.

Спор идет о «государственном убийстве». Дерзость пушкинской реплики, ее неожиданность на фоне «декабристско-тацитовской» ненависти к тирании несколько смущала исследователей. Д. П. Якубович полагал, что, «вообще веря страницам Тацита, посвященным неслыханным злодеяниям Тиберия, Пушкин хочет выказать максимум беспристрастия нового историка, ученика Карамзина, подходящего к образу Годунова»². И. Д. Амусин добавляет, что «шекспиризм» Пушкина подсказал ему ту «позицию историка, которая послужила основой и исходным пунктом его дальнейшего развития <...> объективная позиция летописца не заслонила перед Пушкиным действительные ужасы римского, как и современного ему деспотизма»³.

Все это бесспорно, однако — недостаточно: подробный, бесстрашный разбор жестокой пушкинской фразы об убийстве «в самодержавном правлении» долгое время не был осуществлен.

30 лет спустя за дело принялся Б. Г. Реизов:

«Героем первой книги «Анналов», аннотированной Пушкиным, оказался Тиберий, которому Тацит уделил особенно много внимания. Тиберий очень интересовал Пушкина, и его замечания имеют целью защитить императора от яростных нападок историка. <...>

«...В самодержавном правлении», — пишет Пушкин. Он отлично усвоил мысль, с такой отчетливостью высказанную

1818 гг., комментарии Бротье, перевод Доттевилля, издание Дюро де Ломалля). Позже Пушкин приобрел также 2, 4, 5 и 6-й тома парижского издания 1830—1835 годов. См.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 345, 165.

¹ Пушкинскую версию справедливо объясняли интересом поэта к позднейшему появлению самозванца Лже-Агриппы (Анн., II, 39—40), — параллель с Лжедмитрием была слишком очевидной. См.: Амусин И. Д. Указ. соч., с. 173—174.

² Якубович Д. П. Указ. соч., с. 156—157.

³ Амусин И. Д. Указ. соч., с. 179—180.

Монтескье, о «принципах» или основах, особых для каждого образа правления. <...> То, что при самодержавном правлении политическое убийство может быть извинено, следует рассматривать как вывод из «принципа» абсолютной монархии. Но здесь речь идет о престолонаследии — законе, имеющем при самодержавии первостепенное значение. Вместе с тем возникает понятие государственной необходимости — высший критерий, оправдывающий любое нарушение правственных норм, если оно нужно для спасения государства. Закон этот был сформулирован в древнем Риме: «*Salus omnium suprema lex esto* (Спасение всех да будет высшим законом)».

Государственная необходимость повелела Тиберию убить Агриппу Постума. Не потому, что он был в чем-нибудь виновен или хотя бы приносил вред государству: он мог иметь приверженцев и стать орудием хитрого мятежника — ситуация, напоминающая обстоятельства, при которых был убит царевич Дмитрий»¹.

На вопрос, почему же Борис Годунов нравственно осужден Пушкиным, а Тиберий — оправдан, Реизов отвечает так:

«В драме ни слова не говорится о том, что убийство Дмитрия было подсказано государственной необходимостью. Пушкин следует Карамзину. Угрозения Бориса объясняются тем, что он пошел на преступление не ради блага государства, а только из личных соображений, побуждаемый непреодолимой жаждой власти»².

Наконец, еще один отрывок того же автора (полагаем, что читатель извинит длинное цитирование — ведь проблема сложна и важна!):

«Каялся ли Тиберий в совершенном им убийстве? Ни Тацит, ни Пушкин в своей полемике с ним ничего об этом не говорят — очевидно, ни тому, ни другому это не приходило в голову: Тациту потому, что в его глазах Тиберий был злодеем, лишенным каких-либо нравственных чувств, Пушкину — потому, что, по его мнению, Тиберий не совершил никакого преступления. В данном случае Пушкин шел вразрез с классической традицией и в ногу со своим временем. Почти в то же время Стендаль высказал мысль, совпадающую с тем, что писал Пушкин: «В наших поэтических трагедиях нам, людям XIX века, особенно скучными кажутся волнения совести у узурпатора в момент, когда он готовится завладеть короной

¹ Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970, с. 67.

² Там же, с. 73.

бедного законного принца; это слишком далеко от нас. К тому же пример Наполеона, который, имея власть, сделал так много для Франции, всегда стоит у нас перед глазами, и мы, глупые, думаем, что корона — не простая игрушка, что она налагает обязанности и что, вообще говоря, трон должен принадлежать самому достойному». <...> Стендаль рассматривал вопрос с точки зрения практической целесообразности и государственной необходимости, так же как за три года до него Пушкин в полемике с Тацитом»¹.

Система рассуждений Б. Г. Реизова не представляется безупречной.

Во-первых, ссылаясь на «полное оправдание» Наполеона, автор через три страницы цитирует того же французского писателя, с удовлетворением находившего, что «драма Мериме «Испанцы в Дании» свершает над Наполеоном такой же суд, какой совершил Тацит над Тиберием»².

Как же совместить это с формулой: Тиберий (у Стендоля Наполеон) «не совершил никакого преступления»?

Это одна частная, логическая неувязка.

Прежде чем перейти к сердцевине проблемы, отметим еще одно: Борис Годунов убивает царевича Димитрия «не ради блага государства», но притом — «хотел искупить свою вину пользой, которую принес государству»³.

Отчего же не предположить обратного? Борис — сложившийся, зрелый политический деятель, породнившийся с царем, фактически возглавляющий страну уже много лет, — почему же продолжение его правления хуже для царства, нежели власть незрелого, больного Димитрия, который, вступив на трон, быстро стал бы игрушкой разнообразных влияний? В чем же разница «политической логики» для России XVI и Рима I столетия? Ведь Агриппа Постум — единственный внук Августа, родной ему по крови (в отличие от пасынка — Тиберия), подобно тому как царевич Димитрий был последним сыном Ивана Грозного, родным по крови (в отличие от Бориса Годунова, шурина царя Феодора). И Димитрий, и Агриппа Постум имеют слабости, опасные на троне; оба живут в ссылке.

Ситуации весьма сходны, и Пушкин прямо пишет: «Агриппа Постум... имел право на власть».

¹ Р е изов Б. Г. Указ. соч., с. 72.

² Там же, с. 75, со ссылкой на работу Стендоля, написанную в июле 1825 года (по удивительному совпадению — точно в то время, когда Пушкин работал над «Замечаниями»).

³ Там же, с. 73.

Правда, оба устранивших претендента сильно разятся в возрасте: Дмитрий — дитя, Агриппа — зрелый, дерзкий. Не потому ли Пушкин находит, прибавляет от себя доводы, спижающие, умаляющие Агриппу, и мы присутствуем при очень редком зрелище: поэт в черновике «мыслит вслух» и понимает, что свести концы с концами не просто. Если в «Годунове» убийца морально осужден, здесь — как будто наоборот...

В окончательном, для печати и сцены, тексте «Бориса Годунова» нравственный приговор «царю Ироду» вынесен ясно и определенно. В I «Замечании на Апнналы...», составленном параллельно с «Борисом» или чуть раньше, Пушкин как бы спорит сам с собою; он в страшной исторической лаборатории, где можно вызывать «духов прошлого», сопоставлять убийства 1591 и 14 года.

Вовсе не отыскивая «законных» и «незаконных» оснований для кровавого дела, Пушкин пишет: «Если в самодержавном правлении убийство может быть извинено государственной необходимости, то Тиберий прав».

Можно ли игнорировать — как это делает Реизов, — что грамматически фраза является предложением условным? Можно ли считать, что она по смыслу совершенно одинакова с мыслью, выраженной «проще»: «В самодержавном правлении убийство может быть извинено государственной необходимости...»?

Пушкинское «если» очень важно. Поэт указывает не на ответ, но на проблему; указывает там, где (по его мнению) Тацит как раз видит слишком простой ответ.

Зная немало других пушкинских суждений (в 1825 году и после) об истории и ее законах, мы имеем полное право трактовать это *если* в смысле: народы, государства живут, усиливаются, слабеют, соединяются, распадаются вследствие силы *вещей*, силы *обстоятельств*¹, то есть по определенным, очень сложным историческим законам. Б. Г. Реизов справедливо отмечает интерес Пушкина к лучшим французским историкам (Мильте, Тьер), создавшим «школу французской историографии, которая получила название «фатальной». Эта школа

¹ Эти обороты Пушкин употребил в записке «О народном воспитании» (1826) и в некоторых других сочинениях: ср. «в России <...> необъятная сила правительства, основанная на силе вещей», «политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением» (XI, 43). В черновике записи «О народном воспитании» еще выразительнее: «Политические изменения <...> у нас еще не требуемые ни духом народа, ни общим мнением, ни самой силой вещей» (XI, 311).

считала все этапы развития революции «необходимыми», исторически неизбежными и оправдывала все «крайности» якобинской диктатуры, которую не принимали умеренно-либеральные историки»¹.

Здесь все верно, кроме эмоционального термина «оправдывала», в то время как между признанием исторической необходимости и оправданием — дистанция порою немалая; необходимость — это категория внешняя, принадлежащая силе вещей; оправдание (или неодобрение) — категория внутренняя, нравственная и далеко не всегда санкционирующая «неизбежное»².

Разве мы постоянно не употребляем термин — *печальная необходимость*, что уже не простое «оправдание»? И, к примеру, признание «необходимости», неизбежности поражения декабристов — разве это означало для Пушкина оправдание, одобрение карающей власти? Поэтому действительное оправдание (отдельным человеком, сословием, классом) исторической необходимости придает ей дополнительную силу и победоносность; внутреннее же неприятие, печаль по поводу неизбежного хоть и не могут, например, дать победы декабристам или возвратить императорский Рим к республике, но сильно влияют на формирование самобытных характеров (в том числе и таких, как Тацит, Пушкин); со временем же «из вздохов рождаются бури» — и вдруг является на свет новая необходимость, сметающая прежнюю...

Однако, не оправдывая, Пушкин понимает, признает, чувствует железную поступь необходимости. Для Тацитова Рима, как и для России XIX века, «самодержавие» — явно не случайное, не временное отклонение от старинных свобод: оно было в Риме, есть в Петербурге; оно продержалось века — и это одно уже сильный довод в пользу исторической необходимости, органичности такой политической формы (как и многих других) — довод, что мало просто осудить или принять Августа, Тиберия, Александра I, Николая I; прежде — надо понять. Пустое дело при разборе жестоких или добрых качеств Ивана Грозного, Бориса Годунова, Петра Великого все свести даже к самой яркой, громкой, чувствительной

¹ Р е и з о в Б. Г. Указ. соч., с. 70—71.

² «Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравится? Разумеется, я не пробью стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т., т. 5. Л., 1973, с. 105—106).

морали, «декламации»: это в некоторых отношениях все равно что возмущаться волком, убивающим зайца, или дикарем, преследующим врага.

Для декабриста, воспитанного на Таците и других тираноборцах, если в самодержавном правлении происходят политические убийства (как описано в «Анналах» или у Карамзина), то это один из сильных резонов уничтожить, заменить подобное правление. Пушкину же, работающему над «Борисом Годуновым» и «Замечаниями на Анналы», такого «исторического приговора» явно мало; он предлагает сперва понять не абстрактные, по исторически конкретные «дух народа», «общее мнение», «силу вещей»... И вот там-то, в определенной эпохе, исторической ситуации, по внутренним их законам развивается главная историческая трагедия: «государственная необходимость», разная в разные эпохи, правления, сталкивается с «моральной необходимостью», с законами добра, благородства, чести (которые тоже меняются за века и тоже требуют исторического подхода — но все же сохраняют много общих черт в разные тысячелетия и в удаленных друг от друга мирах). Сам факт, что Пушкин избирает Тацита собеседником, спорит с ним, уже говорит о многом; 17-вековая дистанция не отменила известной, очевидно немалой общности — иначе дискуссия невозможна, бессмыслена. Оба мастера видят, показывают, хоть и по-разному, неизбежное, трагическое для отдельных лиц, целых народов и эпох столкновение общего, политического, государственного начала с личным, нравственным... Е. Реизов не прав, полагая, будто, по мнению Пушкина, «Тиберий не совершил никакого преступления». Этого нет и не может быть в пушкинском тексте; так и хочется ответить знаменитым финалом пушкинского стихотворения: «Но если!..» — имея в виду первое слово во фразе: «*Если* в самодержавном правлении убийство...»

Заметим между прочим, что убийство Димитрия — в драме Пушкина — задело «дух народа», породило то враждебное Борису *мнение народное*, которым был силен самозванец, которое зачеркивает все идеи царя о политической *необходимости* такого дела: наоборот — вся политика Бориса после этого терпит крах... Против Тибериya же из-за убитого Агриппы Постума ничего не поднялось, самозванец Лже-Агриппа (о котором упоминалось выше) не вызвал большого движения против императора,— значит, можно предположить (пользуясь известным пушкинским ходом мысли), что тут народный дух, народное мнение *не* были задеты; и не оттого, что Тибериy лучше, благороднее Бориса. Нет! Тибериy, очевидно,

действовал в пределах законов, «правил» государственной необходимости своего времени, отличных от российских условий XVI века... Пушкина чрезвычайно все это занимает; он ищет подлинных стимулов деятельности исторического лица и переносит акцент с психологии на социологию... Все это сложно, чрезвычайно сложно, но иначе и быть не может. И. Д. Амусин, кажется, первым заметил «макиавеллический» оттенок некоторых пушкинских строк о Таците¹:

«В гл. IX 1-й книги «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия» <...> Макиавелли неоднократно повторяет, что «Ромул заслуживает извинения в убийстве брата и соправителя»; глава IV 3-й книги называется «Государь не может считать себя безопасным, пока живы те, которых он лишил престола». Отношение Пушкина к Макиавелли — интереснейшая, особая тема; здесь хотелось бы напомнить только одно из ярких «макиавеллических» высказываний поэта в беседе с А. П. Ермоловым (1829 г.), сходное по сути с первым замечанием на Тацита: «Читая его труд,— говорил Пушкин о Карамзине,— я был поражен тем детским, невинным удивлением, с каким он описывает казни, совершенные Иоанном Грозным, как будто для государей это не есть дело весьма обыкновенное»².

Еще раз подчеркнем, что, пожалуй, никак невозможно «примерить» две крайности к сложным пушкинским мыслям о Таците и Тиберии: одна — обычная для тех лет тираноборческая декламация в духе — «Тиберий гнусный тиран, и не о чем более толковать»; другая крайность — поверить, будто поэт и в самом деле расположен к Тиберию и будто из «Замечаний на Анналы» следует, что Тиберий не совершил никакого преступления; «убийство Димитрия,— пишет Б. Г. Резизов,— по своей нравственной природе не политическое, а уголовное, и потому оно не может быть оправдано так, как Пушкин оправдывал убийство Агриппы»³.

Как не вспомнить известное изречение — что между крайностями находится нестина, а проблема. От пушкинского «если... то Тиберий прав» до «Пушкин оправдывает» расстояние огромное. Поэт-историк ищет «формулу истины» для себя и своего времени, ищет ответа, споря с Тацитом, создавая стихи, заканчивая «Бориса Годунова», в известном смысле

¹ Пушкин в 1820-х годах был знаком с текстами Макиавелли по книгам Сисмонди и Женгенэ. См.: Амусин И. Д. Указ. соч., с. 167.

² Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные. Лондон — Брюссель, 1863, с. 34.

³ Резизов Б. Г. Указ. соч., с. 73.

предвосхищая будущие глубочайшие откровения Достоевского, Толстого об истории и морали. Разбирая систему взглядов Макиавелли, один из лучших специалистов заметит: «У гуманистов интерес к человеку есть интерес к личности. Он замкнут в кругу этических проблем. Макиавелли этот круг разрывает. Человек у него берется в самом широком смысле слова и опять строятся категории: человек, люди, соединение людей, т. е. общество; жизнь общества и борьба общественных групп; возникновение власти; правитель и различные его типы; государство и различные его формы; государственное устройство; столкновение между государствами; война; нация. Его интерес возрастает по мере того, как он двигается в этой цепи все дальше. Меньше всего интересует его отдельная личность»¹.

Макиавелли рассматривал политику как «сторонний естествознатель»; Толстой, Достоевский с гениальной художественной силой поместят себя, любое человеческое «я» в систему политики и истории, спросят: «А человеку куда деваться?»

Пушкин — как бы посредине. Разумеется, надо с большой осторожностью сопоставлять историко-публицистические заметки о Таците и художественный текст «Бориса Годунова»: поэт, блестяще владея как научно-аналитическим, так и художественно-психологическим методом познания, не раз демонстрировал возможности того и другого подхода (исторические, публицистические страницы о Петре, «Медный Всадник», «История Пугачева» и «Капитанская дочка»). При этом одно и то же лицо, одно и то же событие часто у него выглядят по-разному, случается — почти совсем «непохожи» в научном и художественном вариантах². Взглядом ученого, мыслителя Пушкин исследует исторический закон, дух народов, силу вещей; интуицией художника дает нравственную оценку и Борису Годунову, и декабристам, и своей эпохе, и древней...

Современный исследователь тонко замечает: «Может быть, в некотором смысле — мне даже кажется, в высшем — драматург Пушкин... историчнее историка Пушкина»³.

Винкая в «Замечания» на Тацита, мы находимся при самом рождении мыслей, у первых существенных черновиков.

¹ Дживелегов А. К.— В кн.: Никколо Макиавелли. Сочинения, т. I. М.— Л., 1934, с. 52.

² Интересные соображения об этом см. в кн.: Формозов А. А. Пушкин и древности. М., 1979, с. 99—102.

³ Рассадин Ст. Драматург Пушкин. М., 1977, с. 355.

Поэт вроде бы примеряется к древней истории по Тациту, потом заходит «со стороны Тиберия», фиксирует разницу впечатлений — но это еще не окончательное суждение самого Пушкина, как легко мог бы заключить торопливый читатель... Нравственные мотивы, представленные в «Борисе Годунове», завершенней великой драме, важнее по шкале ценности пушкинского творчества, нежели черновые наброски «Тацита». Однако «первичность» «Замечаний на Аппалы», их особая, интимная откровенность ничем не могут быть отменены. Мы далее увидим еще противоречия, даже своего рода нередержки в пушкинских рассуждениях, но не устаем повторять, что нельзя по законам печатного или подготовленного для печати текста судить черновую рукопись, очень далекую от публикации или даже для того не предназначенню.

Несогласованность, противоречивость на этой стадии не только естественны, но особенно привлекательны, свидетельствуя о честности поиска¹.

«ХОТИ И ПРИТВОРЯЛСЯ...»

II

Когда сенат просил дозволения нести тело Августа на место сожжения, Тиберий позволил сие с наимешивои скромностью. Тиберий никогда не мешал изъявлению подлости, хотя и притворялся иногда, будто бы негодовал на опию — но и сие уже впоследствии. В начале же, решительный во всех своих действиях, казался он запутанным и скрытым в одних отношениях своих к сенату.

Это замечание писано Пушкиным почти без поправок: основной мотив — что Тиберий не хуже сената; что его столь дурные действия — вполне в духе «дурного времени», вполне на уровне людей, заслуживающих презрения императора...

По этому поводу пушкинисты не спорили. Зато вызвал дискуссию интересный сюжет о двух императорах, Тиберию римском и Александре российском. Во II замечании, и далее не раз, усматривали намек на лицемерную, ложную скромность и другие дурные качества Александра I, которому Пушкин, по его собственным словам, «подсвистывал до самого гроба». Впрочем, если поэт «защищает» Тиберия от Тацита, то сравнение двух императоров не такая уж крамола. Пушкин, вероятно, знал, что, когда его высыпали из столицы,

¹ Автор благодарен Г. С. Кнабе за его советы при обсуждении темы «Борис Годунов» и «Замечания на Аппалы Тацита».

Кюхельбекер, в сердцах, «называл государя Тиберием»: В. Н. Каразин (донесший об этом графу Кочубею 4 июня 1820 года) прибавил: «В черте наимилосерднейшей нашел Тиберия — безумец!»¹ Здесь любопытно, что и Кюхельбекер и его противник соглашаются в одном: Тиберий — тиран, сравнение с ним оскорбительно².

Царь Александр I, волею Пушкина, превращался в разных римских правителей: в начале 1820-х он был «Августом», изгоняющим гениального Овидия (параллель: Александр, изгоняющий Пушкина); еще прежде, в строках крамольной эпиграммы, русский царь приравнен к Титу³ (в то время как Павел I в исторических заметках 1822 года — «Калигула»).

Наконец, «Александр — Тиберий». Кровавая жестокость Тиберия, многие его преступления, которые уж никак не могут быть извинены, — это для Пушкина и любого его грамотного современника как бы общее место; ведь кто же не помнил некоторых Тибериевых ужасов и зверств!

Для подтверждения нелепого доноса и погубления молодого патриция Либона допрашивают его рабов; «однако ста-ринным сенатским постановлением воспрещалось пытать рабов, когда дело шло о жизни или смерти их господина, и ис-кусный изобретатель судебных новшеств Тиберий повелел казначейству приобрести через своего представителя нескользких рабов Либона, дабы их можно было подвергнуть допросу под пыткою, не нарушая сенатского постановления» (Апп., II, 30).

Кремуций Корд присужден к смерти «по дотоле неслыханному и тогда впервые предъявленному обвинению, за то, что в выпущенных им в свет анналах он похвалил Брута и назвал Кассия последним римлянином» (Апп., IV, 34—35).

Тиберий широко использует доносчиков «и вместе с тем,

¹ «Русская старина», 1899, № 5, с. 278.

² Между прочим, Екатерина II запретила Д. И. Фопвизину рус-ский перевод Тацита; при Александре I вышло несколько переводов (в 1805—1809 гг.). См.: Вяземский П. А. Записные книжки, с. 113.

³ Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил
Что, коль судбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но Тита сей вонзил —
Нерон же без него правдиву смерть узрит.

Сравнение Александра I с Титом, в лестном, разумеется, плане, было, очевидно, обиходным при дворе (на чем и основывается пушкинская эпиграмма): так, в письме М. Гримма С. Р. Воронцову (14/26 июля 1801 г.) дважды говорится об Александре I — Тите (*«notre Titus»*). См.: Архив князей Воронцовых, кн. 20. М., 1881, с. 389; другие примеры в кн.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 51—53.

пресытившись их услугами, когда обретал возможность использовать в тех же целях новых людей, обычно истребляя прежних, ставших для него бременем» (Анн., IV, 71).

Малых детей прежде всесильного, а затем казеппного временщика Сеяна тоже велено убить — «причем мальчик догадывался, какая судьба его ожидает, а девочка была еще до того несмысленой, что спрашивала, за какой поступок и куда ее тащат, говорила, что она больше не будет так делать, пусть лучше ее постегают розгами». Писатели того времени передают, что так как удавить девственницу было делом неслыханным, то палач сперва надругался над нею, а потом уже накинул на нее петлю» (Анн., V, 9).

Именно в этом контексте, конечно, надо читать известные строки из пушкинских писем, где Александр I прямо и насмешливо сравнивается с Тиберием: в одном случае (24—25 июня 1824 года) Вяземскому сообщается о скоре с Воронцовым: «Тиберий рад будет придраться; а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня» (XIII, 98); год спустя (Дельвиго):

«Некто Вибий Серен, по доносу своего сына, был присужден римским сенатом к заточению на каком-то безводном острове. Тиберий воспротивился сему решению, говоря, что человека, которому дарована жизнь, не должно лишать способов к поддержанию жизни. Слова, достойные ума светлого и человеколюбивого! — чем более читаю Тацита, тем более мирюсь с Тиберием. Он был одним из величайших государственных умов древности» (XIII, 192).

Исследователи верно замечают, что Пушкин хотел сказать: «даже Тиберий лучше Александра»¹, что «мирюсь с Тиберием» — значит «не мирюсь с Александром I»².

Итак, Тиберий — нарицательное, ругательное имя, и в письмах возникает явная аллюзия — выпады против Александра; однако в «Замечаниях на Анналы» Пушкин ведь не из оригинальности, не для парадокса «запищает» Тиберия.

¹ А м у с и н И. Д. Указ. соч., с. 169.

² Эйхенбаум Б. М. О замысле «Графа Нулина». — Временник Пушкинской комиссии, т. 3. 1937, с. 351. Отмечалось, что Пушкин нарочно переиначивает эпизод, сообщаемый Тацитом, чтобы «сблизить» историю Вибия Серена со своей (Пушкину только что отказали в просьбе — выехать из Михайловского для «лечения аневризма», т. е. не давали способа «поддержать жизнь»). Между тем история с Вибием Сереном — одно из самых мрачных преступлений Тиберия, стимулировавшего донос сына на невиновного отца (Анн., IV, 28—30).

Поиски глубинных причин исторического действия занимают поэта в 1825-м и позже куда больше, чем острые намеки («Борис Годунов — Александр I» или «Тиберий — Александр»); позже (1828 г.) в пушкинском письме к издателю «Московского вестника» появятся следующие строки:

«Хотите ли знать, что еще удерживает меня от напечатания моей трагедии? Те места, кои в ней могут подать повод примечаниям, намекам, *allusions*. Благодаря французам мы не понимаем, как драматический автор может совершенно отказаться от своего образа мыслей, дабы совершенно переселиться в век, им изображаемый. Француз пишет свою трагедию с «Constitutionnel» или с «Quotidienne» перед глазами, дабы шестистопными стихами заставить Сциллу, Тиберия, Леонида высказать его мнение о Виллеле или о Кеннинге. От сего затейливого способа па нынешней французской сцене слышно много красноречивых журнальных выходок, но трагедии истинной не существует. <...> Летопись французского театра видела в «Британике» смелый намек на увеселение двора Людовика XIV. <...> Но вероятно ли, чтоб тонкий, придворный Расин осмелился сделать столь ругательное применение Людовика к Нерону? Будучи истинным поэтом, Расин, написав сии прекрасные стихи, был исполнен Тацитом, духом Рима; он изображал ветхий Рим и двор тирана, не думая о версальских балетах <...> Самая дерзость сего применения служит доказательством, что Расин о нем и не думал» (XI, 68—69).

Можно, конечно, заметить, что и эти строки «против аллюзий» писаны не без лукавства: если Расин «не думал о применении», то они все-таки получались «сами собою»... Однако, не вдаваясь в тонкости, рассудим, что все же Пушкин говорит в письме к издателю «Московского вестника» почти всю правду; поэт действительно верит в шекспировские принципы историзма, многостороннего, а не одноцветного исследования человека и события: без всего этого невозможно что-либо, кого-либо объяснить — даже Тиберия. И мы иронизируем дерзкий пушкинский вызов, когда новый подход иллюстрируется фигурой одиозной, при виде которой так легко забыть об историзме и так подмывает разразиться патетическим обличением. Но при всем при том, не проникнув в «дух Рима», нельзя судить о Тиберии, как нельзя оценить и нынешнюю власть без многосложного разбора российской «силы вещей».

Современность прошлого отныне — не в грубом намеке, но в самом подходе, в поиске формулы для проникновения в

историю¹. Так, наверное, падо подходить к «Тибериаде» второго и других пушкинских «Замечаний» на Тацита.

Александр I, конечно, «подразумевается», он как бы проходит на втором плане «Замечаний» по закону естественной связи времен, но — «не слишком», без эффектных подмен I столетия — XIX-м.

«ТОЧНО ЛИ?..»

III

Август, вторично испрашивая для Тиберия трибуунства, точно ли в насмешку и для невыгодного сравнения с самим собою хвалил наружность и нравы своего пасынка и наследника?

В своем завещании из единой ли зависти советовал он не распространять пределов империи, простиравшейся тогда от — до —

Сомневаясь в оценках Тацита, Пушкин передает его мысль неточно². Дело в том, что римский историк не утверждает, но в особой своей манере представляет разные суждения: «Среди людей мыслящих одни на все лады превозносили жизнь Августа, другие — порицали»; сначала передаются речи «превозносящих», что «для истощаемой раздорами родины не оставалось иного спасения, кроме единовластия», что «среди граждан — правосудие, в отношении союзников — умеренность; сам город украсился великолепным убранством; лишь немногое было совершено насилием, чтобы во всем осталном были обеспечены мир и покой» (Анн., I, 9). Затем историк предоставляет слово «другим», которые, возражая первым, припоминают дурные дела и качества Августа, больше всего — своеолие, жажду власти. Вот здесь-то, в речах *других*, и мелькают примеры, вызвавшие возражение Пушкина: «И Тиберия [возражали другие] он назначил своим преемником не из любви к нему или из заботы о государстве, но по-

¹ Пушкин не касается в своих исторических рассуждениях некоторых материй, сильно занимающих современную историографию. В частности — вопроса о влиянии сознания самого историка на отбор и «организацию» собираемого материала. Для Пушкина, в отличие от романтиков, поэт-историк не столько «творит свой мир» на материале прошлого, сколько в темных глубинах находит то, что там *действительно* есть и давно ждет открывателя. Однако практический опыт Пушкина дает, конечно, много материала, где позднейший историограф отыщет свои, современнейшие проблемы — такие, как соотношение объективного и субъективного начала в истории, как различие-сходство научного и художественного познания мира и т. п.

² См.: Амусин И. Д. Указ. соч., с. 171.

тому, что, заметив в нем заносчивость и жестокость, искал для себя славы от сравнения с тем, кто был много хуже. Ведь несколько лет назад, требуя от сенаторов, чтобы они снова предоставили Тиберию трибуンскую власть, Август, хотя речь его и была хвалебною, обронил кое-что относительно осанки, образа жизни и нравов Тиберия, в чем под видом извинения заключалось порицание» (Анн., I, 10).

Итак, два суждения — и каждой «партии» Тацит отдал важные мысли, которым он сам сочувствует (жалость к «истощаемой раздорами родине» — и отрицание тирании). Поэтому невозможно определить, верит ли сам Тацит в «насмешку» и «зависть» Августа; Пушкин же приписывает собеседнику определенность мнения, которую сам историк тонко обходит. Вообще мастерство римлянина ведь сказывалось в том (Пушкин не мог этого не оценить!), что и явному врагу, например вождю германцев Арминию, он постоянно отдает должное и «разрешает» говорить умно и благородно¹; так же несколько раз приводятся факты и речи в пользу Тиберия: например, отмечается его «благородная щедрость в делах общественных», его правило — принимать наследство «только в том случае, если считал, что заслужил его своею дружбой, и решительно от него отказываться, если оно было завещано человеком, ему неизвестным, питавшим вражду ко всем прочим и лишь поэтому назначившим своим наследником принцепса. Облегчая честную бедность людей добродетельных, он вместе с тем удалил из сената — или не возражал, чтобы они ушли из него по своей воле, — заведомых расточителей или впавших в нужду по причине распутства» (Анн., II, 48).

Столь же односторонней является и вторая фраза III пушкинского замечания — насчет завещания и возможной зависти Августа к будущему расширению империи: у Тацита же сказано только, что Август оставил «памятную записку», где давал совет «держаться в границах империи — неясно, из осторожности или из ревности» (Анн., I, 11). Последнее слово здесь — близкий синоним «зависти». Однако ни о какой «единой зависти» речи нет². Вероятно, Пушкин вообще удивился совершенно неизвестной для его времени логической возмож-

¹ Брат Арминия Флав был верен Риму, Арминий же при свидании спрашивал брата, откуда у него на лице увечье. Когда тот назвал место и битву, Арминий допытывается, какую награду он за него получил. Флав ответил, что ему увеличили жалование и дали ожерелье, венец и другие воинские награды, и Арминий стал насмехаться над ним, говоря, что это дешевая плата за рабство» (Анн., II, 9).

² См.: Амусин И. Д. Указ. соч., с. 171.

ности — запретить расширение империи из зависти к будущей славе преемника; это особенно запомнилось поэту при чтении «Анналов», это им и оспаривается.

Позднейшие исследователи, конечно, думают согласно с Пушкиным, что дело не в зависти, что опасения Августа более всего объясняются огромной территорией империи, которую непросто удержать и защитить: пушкинское «от — до —», когда б дело дошло до беловой или печатной стадии, было бы, конечно, уточнено виновительными географическими примерами римской огромности; скажем — от Британии до Евфрата и Каспия; от Балтийского моря до Эфиопии и Сахары. «Достаточно вспомнить,— замечает И. Д. Амусин,— что Август, писавший свое завещание между 9-м и 14-м годами, т. е. непосредственно после грандиозных восстаний в Паннонии и Далмации (6—9 г. н. э.) и поражения Вара в Тевтобургском лесу, был под впечатлением победы варваров, чтобы понять глубокий смысл возражения Пушкина»¹.

Тут можно только напомнить о времени, когда Тацит писал свои *Анналы*, — начале II века: страх Августа, что империю не следует расширять, мог казаться преувеличенным «12 цезарей спустя»; ведь за сто прошедших лет все же Рим присоединил Британию, Мавританию, Фракию, Каппадокию, Дакию, Аравию. Стало быть, Тацит имел формальные основания считать Августову осторожность чрезмерной; но если так, в чем причина этой осторожности? — уж не в *ревности ли?* — замечает Тацит...

Мы, разумеется, никогда не станем искать в этом мотиве *главного ответа* — но все же не следует ли немного больше доверять Тациту, вероятно не хуже нас знакомому с логикой своего века. Конечно, не из зависти (тем более — не «из единой зависти!»), но, может быть, и не совсем без зависти?

Замечания Пушкина, как видим, интересны не «по существу», а скорее наоборот. Невольно, страстно придираясь к Тациту, поэт особенно сильно обнаруживает свои собственные взгляды на историю, свою усиливающуюся неприязнь к чисто личным, эмоциональным версиям; стремление сильнее оспорить не только и не столько Тацита, сколько многих современников, даже себя самого (каким был недавно).

Пушкин не прав в частностях, увлеченный своею правотой в целом.

Пять лет спустя, в неоконченной статье «О народной драме и драме «Марфа Посадница», он станет рассуждать о си-

¹ Амусин И. Д. Указ. соч., с. 171.

туации в русской истории, отчасти сходной с той, которую описывал Тацит, о гибели новгородских вольностей под патинском объединителя Руси Иоанна III: «Драматический поэт — беспристрастный, как судьба — должен был изобразить — столь же искренно, сколько глубокое, добросовестное исследование истины и живость воображения юного, пламенного ему послужило,— отпор погибающей вольности, как глубоко обдуманный удар, утвердивший Россию на ее огромном основании. Он не должен был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии,— но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине» (XI, 181).

«НЕ ОТ ЗАВИСТИ...»

IV

Тиберий отказывается от управления государства, но изъявляет готовность принять на себя ту часть оного, которую на него возложат. Сквозь раболепство Галла Азиния видит он его гордость и предприимчивость, негодует на Скавра, нападает на Готерия, который подвергается опасности быть убиту воинами и спасен просьбами Августы Ливии.

Тиберий не допускает, чтоб Ливия имела много почестей и влияния, не от зависти, как думает Тацит.

Не увеличивает¹, вопреки мнению сената, число преторов, установленное Августом (12 человек).

И это писалось почти без помарок; и здесь Тациту возражают почти в каждой строке: историк нападает, обвиняет, Пушкин же защищает, сомневаясь в обоснованности приговора. И. Д. Амусин справедливо напоминает, что и Вольтер не верил Тациту, а еще больше Светонию, описывавшим Тибериевы зверства и разврат; французский мыслитель объяснял римские предубеждения очень просто: «Люди ненавиде-

¹ В тексте Пушкина неясность или явная ошибка, сохраненная печатными публикациями: «Но увеличивает, вопреки мнению сената, число преторов...» (XII, 193). Мы смело заменяем в слове *но* вторую букву, так как у Тацита ясно сказано: «Тиберий назвал двенадцать одобренных им кандидатов на должности преторов — это число было установлено Августом — и в ответ на настоятельные просьбы сенаторов увеличить его поклялся, что опо останется неизменным» (Апп., I, 15).

ли Тиберия; и, конечно, если бы я был римским гражданином, я ненавидел бы его и Оклавиана, так как они разрушили мою республику!»¹ Пушкинские «опровержения» более сложны, связаны с другими культурными проблемами.

Характеристика Тиберия в IV замечании — как будто списходительная или в лучшем случае пейтральная. Слово «зависть» Пушкин подчеркивает и снова оспаривает Тацита, как в предыдущем замечании, как в первом: Ливия отдалена, думает Пушкин, по той же причине, по какой был убит Агриппа Постум: «Если в самодержавном правлении... то...» Пушкин не оценивает, но констатирует, и справедливо, что дело тут не в зависти (даже если она примешана), а в логике, силе вещей...

Вернувшись к тексту IV замечания, заметим, как поэт избегает оценочных слов, вроде «лицемерно», «двулично», хотя ясно понимает, что Тиберий лицемерно «отказывается от управления», лицемерно «изъявляет готовность» принять на себя ту часть, которую возложат: Пушкину ли не знать, когда у него (примерно в одно время с черновиком «Замечаний на Анпалы») царь Борис трижды «по-тибериевски» отказывается от царства? Еще свежей была память об известных идеологических ухищрениях Наполеона, сделавшего себя спачала первым консулом, а затем — императором, по просьбе, «настоятельному требованию» народа Франции...

Однако в пушкинском замечании — ни одного педоброго слова наследнику Августа; в диалоге Тиберия с сенатором Пушкин тоже, как видно, на стороне Тиберия. Поэт, казалось бы, мог вздохнуть над теми последними, еле теплящимися остатками древних свобод, которые нет-нет да и проступают сквозь общее сенатское раболепство; свобод, которых сенаторы не могут окончательно погасить, даже очень того желая... Ведь Азиний Галл, упомянутый Пушкиным, невольно разозлил царя, лицемерившего, что «не откажется от руководства любой частью государственных дел, какую бы ему ни поручили»:

«Прошу тебя, Цезарь, указать,— сказал сенатор,— какую именно часть государственных дел ты предпочел бы получить в свое ведение?» Растерявшийся от неожиданного вопроса, Тиберий не сразу нашелся; немного спустя, собравшись с мыслями, он сказал, что его скромности не пристало выбирать или отклонять что-либо из того, от чего в целом ему было бы предпочтительнее всего отказаться. Тут Галл (по лицу Тибе-

¹ Амусин И. Д. Указ. соч., с. 170.

рия он увидел, что тот раздосадован) разъяснил, что со своим вопросом он выступил не с тем, чтобы Тиберий выделил себе долю того, что вообще неделимо, но чтобы своим признанием подтвердил, что тело государства едино и должно управляться волею одного. Он присовокупил к этому восхваление Августу, а Тиберию напомнил его победы и все выдающееся, в течение стольких лет совершенное им на гражданском поприще. Все же он не рассеял его раздражения, издавна ненавистный ему» (Анн., I, 12)¹. Негодование Тиберия на Скавра того же рода: дело в том, что Тиберий, кроме прочих должностей, являлся еще и трибуном и по древнему закону мог легко отменить только что состоявшееся консульское решение о «венчании его на царство»; иначе говоря, Тиберий мог отставить сам себя по закону, и Скавр, благодаривший императора за то, что он этого не сделал, неуместно напоминал о стариных вольностях. Наконец, Гатерий едва не погиб, сказав Тиберию: «Доколе же, Цезарь, ты будешь терпеть, что государство не имеет главы?» (подобный упрек показался недостаточно льстивым!).

Пушкин все это хорошо знает, но не пишет и слова в пользу умирающих свобод. Как и в I замечании, предполагается, что Тиберий действует вполне в духе тогдашней «сплы вещей» и «народного духа», обращенных к единовластию; для Пушкина Тиберий снова прав — по тогдашим «правилам игры», тогдашней «системе координат»²; сами же условия, рамки, «координаты» Пушкин не берется оценивать, рассматривая их как уже заданные историей³.

Снова, в который уж раз, новые мысли-страсти делают Пушкина не совсем объективным. Здесь — «горячие точки» важнейших рассуждений, мы же должны двигаться кnim с максимальной осторожностью. «Пушкин — защитник тирана Тиберия!» — воскликнет наблюдатель поверхностный. «Пушкин — защитник истории, историзма», — заметим в ответ.

Однако сам механизм борьбы разных исторических объяснений крайне интересен и обнаруживает «по ходу схват-

¹ В последующие годы старик Азиний Галл умрет в заточении от голода, «но по доброй ли воле или по принуждению — осталось неустановленным» (Анн., VI, 23).

² Просим у читателя прощения за нарочитое осовременивание терминов.

³ Б. Г. Реизов снова смешивает «необходимость» с «сочувствием», когда утверждает, что взгляд Пушкина — «это была, если угодно, идеализация древнеримского абсолютизма, характерная для европейской историографии». (Реизов Б. Г. Указ. соч., с. 77).

ки» немало любопытных оттенков. Амусин между прочим пишет, что «пересмотр традиционного тацитовского понимания Тиберия начался в исторической науке значительно позднее Пушкина. Лишь в 1850-х и 1860-х годах появились в Европе первые в этом направлении работы. <...> Тем замечательней глубоко оригинальное суждение Пушкина»¹.

Уже говорилось и о возможном влиянии на поэта вольтерровского скептицизма в отношении Тацита.

Соглашаясь со всем этим, заметим, что Пушкин «предвосхищал» или «испытывал влияние», думая не только о Таците и Тиберию, сколько о себе, о своих сочинениях, воззрениях; в «Анналах» же видел полезный объект для критических упражнений.

«ТЕНЬ ПРАВЛЕНИЯ»

V

Первое действие Тибериевой власти есть уничтожение народных собраний на Марсовом поле — следственно, и довершение уничтожения республики. Народ ропщет. Сенат охотно соглашается (тень правления перенесена в сенат).

Привыкнув к потаенной пушкинской полемике с Тацитом, исследователь порою видит ее везде: в самом деле — если Тацит, убежденный республиканец², то он аргумент не одобряет уничтожения народных собраний. «Одобряет ли Пушкин Тиберию или порицает его за это? — размышляет Б. Г. Рейзov.— Если это не оправдание, то во всяком случае объяснение действий второго императора, последовательно утверждавшего римский абсолютизм»³.

Но Тацит и здесь — не совсем « тот », как можно было бы заподозрить; разве не он сам написал: «Тогда впервые избирать должностных лиц стали сенаторы, а не собрания граждан на Марсовом поле, ибо до этого, хотя все наиболее важное вершилось по усмотрению принцепса, кое-что делалось и по настоянию триб. И народ, если не считать легкого ропота, не жаловался на то, что у него отняли исключительное право, да и сенаторы, избавленные от щедрых раздач и унизительных домогательств, охотно приняли это новшество» (Анн., I, 15).

¹ Амусин И. Д. Указ. соч., с. 170.

² Так полагали Пушкин и большинство его современников. Теперь же воззрения римского историка считаются куда более сложными. См.: Кнабе Г. С. Тацит. М., 1981.

³ Рейзов Б. Г. Указ. соч. с. 68.

Выходит, у Пушкина этот случай описан более «по-тацитовски», чем у самого Тацита («парод ропщет»). У римского историка и народу и сенаторам почти одинаково безразличны древние вольности. Пушкин же усиливает контраст все-таки педовольного народа и — жалких сенаторов (которым доставалось еще и в прежних замечаниях). Как видим, Тацит не имеет иллюзий, беспадежность республиканского дела, необратимость империи очевидны. Однако именно в связи с этим уместно затронуть вопрос, столь же «тацитовский», сколь «пушкинский»: как реагировать на эту осознанную тяжкую необходимость? Присоединиться ли к неизбежному?

Повторим, что в книгах Тацита главный герой — он сам: свободы не вернуть, народ равнодушен (Карамзин: «...кроме убийц и жертв не вижу ничего»); но тем больше свободы должно остаться в душе! Историк будет жить, занимать прличные должности при нескольких императорах¹, но его внутренний мир, его дух огражден устойчивым представлением об определенном идеале...

Но Пушкин? Разве он не проповедует прежде всего внутренней свободы, независимости?

Тут начинается материя, где важна точность каждого оттенка. Перечитаем еще раз, не торопясь, последние строки V замечания: «Народ ропщет. Сенат охотно соглашается». Немалая нагрузка на словечко *охотно* (оно есть у Тацита и у Пушкина!): охотно, то есть раболепно, с «изъявлением подлости»; замечательные же слова «тень правления» (т. е. тень пародоправства) — не Тацитовы, но чисто пушкинские: в них — и насмешка, и вздох о невозможном. Новый порядок неизбежен, но это отнюдь не идеал!

Пушкинский взгляд достаточно осторожен — «вот так обстояло дело», — и все же эмоция, отношение проскальзывают...

ГЕРМАНИК

VI

35², Германик, тщетно стараясь усмирить бунт легионов, хотел заколоться в глазах воинов. Его удержали. Тогда один из них подал ему свой меч, говоря: Он в острее. Это показалось (говорят Тацит) слишком злобно и жестоко самым яростным мятежникам.

¹ Претор — в 88 г.; консул в 97-м, проконсул в провинции Азия в 112/113 г. См.: Кнабе Г. С. Указ. соч., с. 54, 64.

² Черновик VI, а также VII и VIII замечаний начинается с прямой отсылки к соответствующим главам первой книги «Анналов».

По нашим понятиям, слово сие было бы только грубая насмешка; но самоубийство так же было обыкновенно в древности, как поединок в наши времена, и вряд ли бы мог Германик отказаться от сего предложения, когда бы прочие не воспротивились. Мать Мессалины советует ей убиться. Мессалина в перешимости подносит нож то к горлу, то ко груди, и мать ее не удерживает. Сенека не препятствует своей жене Паулине, решившейся последовать за ним, и проч.

Предложение воина есть хладнокровный вызов, а не неуместная шутка.

Острые полемические рассуждения в основном остались позади — VI замечание Анненков смог опубликовать уже в своем издании 1855—1857 годов.

Текст, видно, не давался Пушкину: в нем максимум правки сравнительно с другими замечаниями (см. XII, 415). Значительная часть поправок сводится к уточнению или сокращению подробностей. Зато усилены наиболее драматические детали (о чем скажем ниже).

В этом замечании, как и в следующем, в центре — один из самых приятных Тациту членов «царствующей фамилии»: Германик, племянник Тиберия (которого дядя еще и усыновил); молодому родственнику правителя приходится усмирять страшный бунт римских легионов (при этом психология «черни», «бунт бесмысленный и беспощадный» описаны Тацитом с особенным художественным блеском). Пушкин, однако, подозревает историка в идеализации героя и соответственно — в сгущении красок там, где действуют враги Германника; пример же, затронутый поэтом, сразу заставляет задуматься над некоторыми общими проблемами истории: итак, Тацит находит (вслед за большинством мятещников), что воин, предложивший Германнику свой меч, поступил «слишком злобно и жестоко»¹.

Пушкину из XIX века, похоже, виднее, нежели Тациту,—

¹ Вот затронутый Пушкиным эпизод: Германик, не желая больше вести переговоры с бунтовщиками, «как бы запятнанный соучастием в преступлении, стремительно соскочил с трибунала. Ему не дали уйти, преградили дорогу, угрожая оружием, если он не вернется на прежнее место, но он, воскликнув, что скорее умрет, чем нарушил долг верности, обнажил меч, висевший у него на бедре, и, занеся его над своей грудью, готов был поразить ее, если бы находившиеся рядом не удержали силою его руку. Однако кучка участников сбираща, толпившаяся в отдалении, а также некоторые, подошедшие ближе, принялись — трудно поверить! — всячески побуждать его все же пронзить себя, а воин по имени Калузидий протянул ему свой обнаженный меч, говоря, что он острее. Эта выходка показалась чудовищной и вконец непристойной даже тем, кто был охвачен яростью и безумием. Воспользовавшись мгновением замешательства, приближавшие Цезаря увлекли его с собою в палатку» (Анн., I, 35).

что именно хотел выразить воин своим поступком («хладнокровный вызов, а не неуместная шутка»)¹. Суждения Тацита, выходит, ближе к «нашим понятиям» (которые Пушкин считает для этого случая неприемлемыми): редчайший случай, когда совпадение взглядов древнего историка и далеких потомков расценивается отрицательно!

«По нашим понятиям... грубая насмешка»: разговор очень интересный, во-первых, о перемене «понятий» в течение тысячелетий, а во-вторых, о смерти, самоубийстве. Острые конфликты «бездны мрачной на краю» всегда особенно занимают впечатлительного горячего поэта. Мелькают слова — «как поединок в наши времена», сразу соединяющие древний рассказ с эпизодами пушкинской биографии, с «дуэлью-самоубийством» в неоконченной повести «Мы проводили вечер на даче...»².

Вопрос о том, как бы прошлому не навязать современных свойств,— для Пушкина теперь один из первейших: поэт-историк желает видеть древние события не издалека, но *изнутри*. Опасно судить через много столетий — или даже о своих современниках — с большого географического и «социального» расстояния (как Тацит о бунте легионов в Германии). Изнутри, а не методом аллюзий; в глубину — а не путем поверхностных сравнений.

Но если различие психологии у разных эпох слишком велико, тогда, выходит, вообще нельзя судить о прошлом?

Нет, Пушкин так не думает, он судит и даже оспаривает давних предков. Пушкин в середине 1820-х годов не раз касается вопроса, важного для высокого историка и литератора,— о современном и «вечном» в истории; о том, что соединяет эпохи и что разделяет.

Мы знаем, что в годы юности Пушкина (при Карамзине и прежде) в исторических трудах и рассуждениях все-таки явно преобладала первая сторона: то, что соединяет, что — «одинаково» или сходно у Древнего Рима и новой Европы, у героев Плутарха и свободолюбцев XVIII—XIX веков, у Тиберия и Наполеона, Александра.

¹ Сначала Пушкин написал без эпитетов: «Предложение воина есть вызов, а не шутка», потом прибавил — «хладнокровный вызов», «неуместная шутка» (XII, 416).

² В этом прозаическом отрывке между прочим упоминается и Тацит: герой толкует о «довольно ничтожной книжонке» Аврелия Виктора, где находится сказание о Клеопатре,— «и, что замечательно, в этом месте сухой и скучный Аврелий Виктор силою выражения равняется Тациту» (VIII, 421).

Разницу, конечно, видели, учитывали, но сравнительно меньше, чем сходство; к тому же различия чаще затушевывались, чем выявлялись до конца,— отчего, правда, далекие тысячелетия, древние монархии и республики делались куда ближе, чем это стало казаться после. Пушкин же, в поисках подлинного историзма, сознательно и невольно делает теперь упор на различие эпох, на необходимость дистанции; он как будто больше увлечен задачей — не осовременить прошлое, а скорее «рассовременить», получить настоящую, пусть неполную картину прошлого, а не «тень настоящего»; понять в конце концов связь веков «подлинных», а не выдуманных по образу и подобию последнего из них. В этом случае «взаимодействие» настоящего и прошлого сохраняется — и даже обогащается более точным указанием на то, что переменилось и что действительно сохранилось...

Особый, обобщающий смысл VI замечания о Таците, вероятно, заставил Пушкина, в отличие от большинства других замечаний, использовать здесь не одну конкретную главу Тацита, но целый комплекс фактов и суждений, рассеянных по разным книгам «Анналов»¹.

«НЕ МОГ ДОВОЛЕН БЫТЬ...»

VII

52. Тиберий не мог доволен быть Германиком, оказавшим много слабости в погашении бунта. Германик соглашается на требования мятежников, ограничивает время службы, допускает самовольные казни, даже междуусобную битву. Блестящие поражения неприятеля при Марсорских селениях не заглаживают столько явных ошибок.

Тиберий в своей речи старается их прикрыть риторическими украшениями — меньше хвалил Друзу, но откровеннее и вернее. Счастливые обстоятельства благоприятствовали Друзу, но сей оказал и многое благородства, не склонился на требования мятежников, сам казнил первых возмутителей, сам водворил порядок.

И этот текст, из-за обилия в нем мятежей, бунтов, казней, не проходит в издании 1855 года — только в 1874-м.

Предоставим слово исследователям:

Амусин: «Пушкин, в противоположность Тациту, отдает предпочтение Друзу, а не Германику, становясь, таким образом, на сторону Тибера, а не Тацита»².

¹ См.: Анналы, кн. I, 34, 35, 41; кн. XI, 37, 38; кн. XV, 63.

² Амусин И. Д. Указ. соч., с. 168. Автор находит, что Пушкин прав, ибо превосходство Друза над Германиком теперь «общее место в науке». Полагаем все же, что при недостатке сохранившихся мате-

Реизов: «Одобряет ли Пушкин Тиберия или порицает его за это? Если это не оправдание, то во всяком случае объяснение действий второго императора, последовательно утверждавшего римский абсолютизм. <...> Тиберий счел нужным похвалить Германика, однако, по словам Тацита, он был и обрадован военными успехами Германика, и обеспокоен его популярностью в самой крупной из римских армий <...>

Пушкин толкует поведение Тиберия иначе <...> Тиберию были чужды мелкие личные мотивы. Он не завидовал Германику и не опасался его популярности. Правильно оценив деятельность того и другого полководца, он обоим воздал хвалу, которой они были достойны, т. е. поступил так, как должен был поступить настоящий государственный муж»¹.

Действительно, Пушкин как будто находит справедливым поведение Тиберия, скрыто и постоянно борющегося с очень популярным в народе племянником-сыном. Впрочем, и Тацит ведь совсем не скрывает явных ошибок Германика (Пушкин, собственно говоря, оперирует фактами из тех же «Анналов»)². Мы узнаем между прочим, что «все приближенные порицали Германика» (Анн., I, 40); историк замечает также, что Тиберий отменил «непродуманные уступки, сделанные Германиком в силу необходимости» (Анн., I, 78).

Итак, у Тацита, у Пушкина здесь и факты и оценки как будто одни и те же, но у Тацита осуждение плавно переходит в похвалу мягкой, симпатичной (возможно, идеализированной историком) личности Германика, столь редкой, неожиданной для ожесточающегося Рима...

Меж тем народное мнение все более склоняется к Германику, и «с точки зрения государственной» Тиберий должен опасаться, принимать меры, Пушкин этого прямо не говорит (может быть, обсуждал, собирался обсудить в тех замечаниях, что до нас не дошли или до которых руки не дошли?). Вскоре, как известно, 30-летний Германик умрет на Востоке, при обстоятельствах неясных, сторонники умершего предполагали отраву, злой умысел Тиберия. «Так большие события всегда остаются загадочными, ибо одни, что бы им ни довелось слышать, принимают это за достоверное, тогда как дру-

риалов о политической истории столь далекого века, при исключительной трудности и деликатности моральных оценок таких давних событий, вряд ли какая бы то ни было древняя репутация может стать окончательным «общим местом».

¹ Р е и з о в Б. Г. Указ. соч., с. 68—69.

² См.: Аниалы, кн. I, 25—30, 36, 37, 48—52.

гие считают истину вымыслом, а потомство еще больше преувеличивает и то и другое» (Анн., III, 19).

Пушкин, по-видимому, приближался к этой теме: жестокий, самовластный правитель, опирающийся на «необъятную силу вещей», — и мягкий, добрый, непоследовательный принц; проблема вообще-то была шиллеровской, но теперь ее следовало писать по-новому, и Пушкин нашел бы, без сомнения, «уравновешивающие» доводы против «Дон Карлоса» и за «Филиппа».... Не мог бы Пушкин воспевать тирана, но показал бы необходимую естественность *тибериев* для тогдашнего Рима (ведь следующий за Тиберием правитель, кровавый Калигула, был сыном Германика, а Нерон — внуком!).

Как же, однако, оценить исторически обреченных, а лично очень привлекательных «рыцарей уходящего», подобных Германику?

Это еще требовало историко-художественного осмыслиения в будущем. Преодолевая Тацита-«декламатора» (а для того усиливая, преувеличивая его *тенденциозность*), Пушкин вскоре приблизится к Тациту-художнику: манера римлянина ближе к тому объективному, полифоническому повествованию, которым овладеет поздний Пушкин, его преемники. Сколь диалектичен, например, текст «Анналов» об отзыве Германика в Рим: «Было очевидно, что неприятель пал духом и склоняется к решению просить мира и что нужно еще одно лето <Германику>, и тогда можно будет закончить войну. Но Тиберий в частых письмах напоминал Германику, чтобы тот прибыл в Рим и отпраздновал дарованный ему сенатом триумф. Довольно уже успехов, довольно случайностей. Он дал счастливые и большие сражения, но не должен забывать, что ветры и бури, без вины полководца, причинили жестокий и тяжелый ущерб. Божественный Август девять раз посыпал самого Тиберия в Германию, и благоразумием он добился там большего, нежели силою» (Анн., II, 26).

Тацит несомненно симпатизирует младшему, но при том дает высказаться каждому! И Пушкину ли с его гениальным чувством объективности, находящему сильнейшие художественные, человеческие доводы за Сальери, за Скупого, за Пугачева — Пушкину ли не найти мотива за Германика?

И если в защиту Германика у Пушкина ничего нет, то, во-первых, его «Замечания» черновые, а во-вторых, общим местом для литературы XVII, XVIII, начала XIX века было вступаться за Германика и его добродетели. Художнику-историку приходилось начинать с доводов против этого и ему подобных «общих мест», с доводов в пользу Тиберия...

VIII

Юлия, дочь Августа, славная своим распутством и ссылкой Овидия, умирает в изгнании, в нищете может быть, но не от нищеты и голода, как пишет Тацит. Голодом можно заморить в тюрьме.

Говоря о Юлии, Тацит не упоминает Овидия, возможно пострадавшего за участие в ее увеселениях; однако Овидий столь давний собеседник Пушкина, его судьба столь явный аналог пушкинской судьбе, что умолчать о нем было невозможно.

Восьмое замечание Пушкина — еще об одной жертве Тиберия и еще рискованное возражение Тациту: отмечалось, что оно основано на неточности французского текста в издании 1818 года, которым пользовался Пушкин: у Тацита нет слова «голод», есть слово «изнурение»¹. Однако в последнем, советском издании соответствующие строки все-таки переводятся: «Тиберию извел Юлию <...> лишениями и голодом». Дело, конечно, не в отдельных словах: один из первых исследователей «Замечаний» одобряет Пушкина за его «опровержение совершенно реальное, чисто житейское, стремящееся снять слой декламации»²; еще более решительна оценка Б. Реизова: «Значит, и здесь прав Тиберию, не делавший зла, когда к этому не принуждали его государственные интересы»³.

Между тем в соответствующем тексте Тацита (Апп., I, 53) подчеркивалось, что опальная Юлия — не только дочь Августа, но бывшая жена Тиберия, а также мать только что убитого «из государственной необходимости» Агриппы Постума. Ликвидация Юлии — продолжение той же необходимости; одновременно Тиберию приказывает убить и другого ссыльного, трагического поэта Семпрония, одного из любовников Юлии. Пушкин это игнорирует в своих записках — и несколько раздраженно поправляет Тацита, что Юлия умерла сама, ее не замучили. Между тем об «ускорении дней» этой женщины пишет и Светоний. Замечание Пушкина, что голодом можно заморить только в тюрьме,— странное и несправедливое. Знатная особа, принадлежавшая правящей фами-

¹ Гельд Г. По поводу замечаний Пушкина па «Аппалы». — В сб.: Пушкин и его современники, вып. 36. Пг., 1923, с. 60.

² Якубович Д. П. Указ. соч., с. 156.

³ Реизов Б. Г. Указ. соч., с. 69.

лии, жила в изгнании на средства, отпускаемые властью; но разве Тиберию трудно было урезать средства, вообще не посыпать денег?

Пушкин, полагаем, в этом случае все-таки думал не о римской, но о российской ссылке. Ведь именно к этому замечанию — к рассуждению о нищете, голоде, тюрьме — ближе всего уже цитированный отрывок из пушкинского письма насчет Вибия Серена (с кем Тиберий обошелся гуманно, запретив отправлять его на безводный остров!). Поскольку же суд над Вибием представлен в «Аппалах» совсем не так, как в письме Пушкина, можно еще раз повторить, что дело не в буквальном смысле этой истории: Пушкин нарочито парадоксально ее переиначивает, чтобы сказать про свои дела. Если такова причудливая «формула», связанная с Вибием Сереном, то примерно такова же, наверное, и логика пушкинского чернового (для себя пока что!) VIII замечания на «Аппалы»; за ним скрываются раздумья — от чего можно или должно умереть в Михайловской ссылке («незабавно умереть в Опоческом уезде», XIII, 280); чем «лучше» Тиберий обходится со своими ссылочными, тем сильнее упрек Александру, который проигрывает даже перед римским тираном...

Снова, не в первый раз, Тацит в споре с Пушкиным формально прав, но не в том дело.

«БИЧ ТИРАНОВ»

IX

С таковыми глубокими суждениями не удивительно, что Тацит, бич тиранов, не нравился Наполеону; удивительно чистосердечие Наполеона, в том признававшегося, не думая о добрых людях, готовых видеть тут ненависть тирана к своему мертвому карателю.

Тацит говорит о Тибереии, что он не любил сменять своих наместников, однажды назначив.

Ибо, прибавляет он важно, злая душа его не желала счастия многих...

Эти строки находятся не в тех листах, где первые восемь замечаний, но в «третьей кишиневской тетради»¹. По окружающим текстам они условно датируются 1826—1827 годами. Из этого следует только, что фрагмент о «биче тиранов» написан позже первых восьми; однако в промежутке, возможно, были и другие заметки, порядковый номер более чем условен. Весьма справедливо мнение, что «последнее, 9-е замечание,

¹ ПД, ф. 244, оп. 1, № 833, л. 10.

начинаящееся словами «с таковыми глубокими суждениями...», вовсе не вытекает из дошедших до нас первых восьми замечаний, ибо в них Пушкин, полемизирующий с Тацитом, ни одного «глубокого» суждения Тацита здесь не отмечает. <...> Перед 9-м замечанием имеется, несомненно, лакуна¹.

Действительно, между замечаниями VIII и IX естественны были бы еще рассуждения о Германике; если VII замечание связано с 52-й главой I книги «Анналов», а VIII — с 53-й главой той же книги, то последний отрывок (в той его части, где говорится о Тиберию) соответствует уже 80-й главе I книги.

Какие же «глубокие суждения» Тацита подразумевает здесь Пушкин? Одно из двух: либо это насмешка (усиленная последующей иронической репликой, что Тацит «прибавляет важно...»), либо — пишется всерьез. В пользу варианта иронического говорят и другие места IX замечания, которые писались с улыбкой: о чистосердечии Наполеона, о «добрых людях»², насмешка-несогласие с «глубокими мыслями», ибо Пушкин считает, что главные события римской истории Тацит объясняет завистью, дурным характером Тиберия и других правителей.

Бич тиранов — в этом случае — тоже ироническая цитата, возможно взятая из обычного панегирика римскому историку или пародийно сочиненная самим Пушкиным: написав «бич тиранов» и выделив эти два слова, поэт затем зачеркнул «бич», очевидно подыскивая более точное определение.

Однако ироничное истолкование все же одно из двух возможных. Имя Наполеона («Мятежной вольности наследник и убийца») допускает оценку всего отрывка и в другом роде: перед тем могли быть не дошедшие к нам какие-то рассуждения поэта за Тацита и против французского императора (не отменяющие, впрочем, общего критического отношения Пушкина к методу исторических объяснений римского историка).

Поскольку девять сохранившихся «Замечаний» в общем охватывают только первую книгу «Анналов»³ (80-я глава — в этой книге предпоследняя), то можно условно сопоставить пушкинские общие наблюдения с выводами, которые Тацит делает в последних главах I книги: что Тиберий, даже «спо-

¹ А м у с и н И. Д. Указ, соч., с. 167.

² Пушкин пробовал варианты — «не опасаясь людей», «не думая о том никогда», но затем верх взяло язвительное «добрые люди» (XII, 416).

³ С редкими «выходами» в другие книги.

собствуя торжеству справедливости, тем самым ущемляя свободу» (Анн., I, 75)¹; что Тиберий любил произносить «красивые слова, на деле пустые и исполненные коварства, и чем больше в них было видимости свободы, тем большее порабощение они с собою несли» (Анп., I, 81).

Это последние слова первой книги «Анналов».

Подобные «глубокие суждения» действительно не могли нравиться Наполеону, вышедшему из революции и постоянно пользовавшемуся формулами «свободы, равенства, братства» (трехцветный флаг революции, сохранение до 1807 года республиканского календаря и проч.); даже римское звучание титулов — консул, император — соответственно увеличивало обличительное значение книг Тацита, обращенных к внешне сходным римским ситуациям...

И все же вопрос о «таковых глубоких суждениях» — загадка. Из двух версий, иронической и серьезной, больше доводов пока за первую; и рано еще делать вывод, будто Пушкин «приветствует в Таците «бич тиранов»².

К тому же последние две известные нам фразы IX замечания — тоже не без сарказма в адрес римского историка; «Пушкин совершенно справедливо возражает здесь Тациту,— полагает Амусин.— Известно, что политика Тиберия в провинциях явилась одной из выдающихся положительных сторон его государственной деятельности»³. Впрочем, оказывается, и здесь Пушкин опирается на неточный французский перевод (не «счаствия многих», но «милостей многим злая душа его не желала»).

Однако опять дело не в отдельных словах. Снова Пушкин легко принимает за *утверждение* один из элементов тацитовского многоголосия: «И вообще,— пишет римлянин,— у Тиберия было обыкновение удерживать большинство должностных лиц во главе тех же войск и тех же гражданских управлений. Объясняют это по-разному: одни говорят, что он оставлял в силе свои назначения из нежелания затруднять себя дополнительными заботами, некоторые — что делал это по злобе, чтобы не расточать милостей многим; есть и такие, которые полагают, что, будучи весьма проницателен умом, он был столь же нерешителен в суждениях» (Анн., I, 80).

Как видим, у Тацита «одни говорят... другие... трети...».

¹ Речь шла о вмешательстве императора в дела сената и судов, когда даже исправление неверных решений создавало опасные precedents, ибо умаляло законность.

² А м у с и н И. Д. Указ. соч., с. 180.

³ Там же, с. 171.

Ирония великого поэта опять не задевает великого историка, и который раз повторим, что законы подобных интимных черновиков — особые; здесь — кухня, начало мысли, где неприглаженность, несогласованность скорее достоинство, чем недостаток.

Летом 1825-го в Михайловском на кончике пера — проблемы проблем: соотношение политики и нравственности, государственной необходимости и совести; вечных исторических законов и — особенного духа каждой эпохи... Пушкинский разбор Тацита иногда суровый, порою предположительный, в другой раз чрезмерно пылкий. Поэтому решительно не согласимся с теми исследователями, кто приписывает пушкинским фрагментам строгую законченность, пушкинским вопросам смысл восклицательный, поэтическим противоречиям — логическую ясность; не согласимся между прочим и с убеждением, будто «правственное толкование государственных действий кажется Пушкину нелепым, и он даже не считает нужным вступать с Тацитом в спор. Объяснять поступки государя его «злой душой» — занятие бесполезное; мудрый правитель руководствуется другими соображениями — общественной пользой»¹.

В «Замечаниях» идет спор не о «мудром правительстве» и «злой душе»: поэт оспаривает систему мышления. Николай Тургенев расстался с Тацитом «как с приятелем», — Пушкин этого не скажет; не отражает ли этот частный, «вкусовой» нюанс каких-то более значительных расхождений между двумя читателями? «Я сравниваю,— скажет Пестель на допросе,— величественную славу Рима во дни Республики с плачевным ее уделом под правлением императоров»².

С точки зрения Пушкина, Пестель говорит правду, но далеко не всю правду: ведь из подобных размышлений лидер Южного общества выводит формулу революции, коренной перемены российского строя и обретения таким образом «древнеримских» республиканских добродетелей; Пушкин же задумывается над печальным, но неопровергнутым фактом, что долгое господство императоров — признак почвы, крепкой их связи с временем, духом, мнением народным; и можно ли надеяться на быстрое торжество новых идей, не переменив всю «необъятную силу вещей»?

«Замечания на Аппалы Тацита» — одно из документальных свидетельств удаления поэта от «прямого декабризма».

¹ Р еизов Б. Г. Указ. соч., с. 69.

² Восстание декабристов, т. IV. М.—Л., 1925, с. 91.

При постоянном согласии с целями заговорщиков, теперь усиливается неприятие методов. Если Тацит (так же, как и Брут) — «пароль» декабризма, то знак новых мыслей Пушкина — Шекспир.

С. М. Бонди заметил, что «Шекспир был для Пушкина знаменем не только литературного (или театрального) направления, но целого нового мировоззрения»¹.

Литературные проблемы очень легко переходят в общественно-политические. Узнав о поражении 14 декабря, Пушкин пишет Дельвигу поразительные строки: «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (XIII, 259).

Поэт мог бы написать — «не будем... односторонни, как Тацит», но для трагедии ему нужны именно трагики.

О новой, неожиданной злободневности сочиненных еще до восстания «Замечаний на Анпалы...» Пушкин, видимо, сообщил друзьям,— здесь уместно вспомнить уже цитированное письмо Плетнева (14 апреля 1826 года), посланное в Михайловское: «Я бы очень желал, чтобы ты несколько замечаний своих на Тацита пустил в ход с цитатами. Это у многих повернуло бы умы» (XIII, 272).

Решительно не согласимся с комментарием одного из последних пушкинских изданий, где этот призыв Плетнева истолкован следующим образом: «Отвечая на не дошедшее до нас письмо Пушкина о Таците, в котором, видимо, Тиберий еще более определенно сравнивался с Александром I, П. А. Плетнев выражал пожелание о широком распространении его критических заметок»². Дело в том, что как раз в апреле 1826 года и Пушкин и Плетнев находились на грани ареста, под самым суровым надзором власти; именно в эти дни на следствии по делу декабристов сошлись разные опасные для поэта показания ряда членов тайных обществ насчет чтения и использования ими запрещенных стихов Пушкина. Не зная подробностей, поэт, несомненно, чувствовал опасность, расширявшуюся вокруг него пустоту; еще в январе 1826 года писал Жуковскому: «Все-таки я от жандарма еще не ушел» (XIII, 257). В то же время Плетнев, издатель и друг Пушкина, внезапно делается в марте — мае 1826 года объ-

¹ Бонди С. М. Драматургия Пушкина и русская драматургия XIX века.— В сб.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.—Л., 1941, с. 374.

² Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти т., т. 7. М., 1976, с. 351.

ектом дознания; сам Николай I подозревает его и требует новых фактов даже после того, как столичный генерал-губернатор Голенищев-Кутузов удостоверил: «П. А. Плетнев поведения весьма хорошего, характера тихого и даже робкого, живет скромно <...>, особенных связей с Пушкиным не имеет»¹. Можно поэтому с уверенностью утверждать, что Плетнев, который и в спокойное время не обрадовался бы прямо-му сравнению Тиберия с Александром I, теперь и подавно не мог похвалить Пушкина за подобные суждения. Уверенность Плетнева, что «хождение» пушкинских замечаний «у многих повернуло бы умы», могла иметь только один смысл весной 1826 года: этот текст обелит поэта пред властями, он писан не в декабристском смысле, но как раз полемизирует с односторонним тираноборчеством. Спор с Тацитом по поводу Тиберия и римского «самодержавного правления» может быть при случае умело истолкован в духе, лояльном господствующему порядку вещей; ознакомление с такими замечаниями «повернуло бы умы» и тем, кто смотрит на события не по Шекспиру, но все еще по Тациту.

Нет нужды, что мысли Пушкина чрезвычайно сложны, касаются основных вопросов истории, политики,— подобо- тому как многие стихи его, отнюдь не прямолинейно-мятежные (например, «Андрей Шепье»), трактовались частью читателей «На 14 декабря», так же другие его сочинения могли быть упрощенно истолкованы в «конформистском духе»: вот судьба многих гениальных творений, более любимых, нежели понятых!

В общем, Плетнев не без основания обращается в самое горячее время декабристского процесса к «антитатитовским» рассуждениям поэта. В эти месяцы так легко было поддаться стихии — страху или помрачающей разум ненависти; вспомним, что именно летом 1826 года близкий единомышленник Пушкина П. А. Вяземский совсем иначе вспоминал Тацита, в связи с карамзинским «терпя, чего терпеть без подлости не можно».

Пушкин не последовал совету своего друга-издателя, но своеобразное продолжение, краткое резюме «Замечаний на Анналы» появляется спустя полгода, когда поэт, уже получивший свободу, составляет известную записку «О народном воспитании».

¹ Поводом к преследованию Плетнева было перехваченное и пристрастно истолкованное письмо Пушкина (ок. 7 марта 1826 г.). См. в моей книге «Пушкин и декабристы», с. 360—365.

Требование Николая I и Бенкендорфа, чтобы Пушкин высказался по остройнейшей теме, само по себе было как бы экзаменом на лояльность; Пушкин же, маскируя одни мысли, выделяя другие, при этом (по его собственному мнению) сказал, что хотел¹. Поэт между прочим рассуждал в своей Записке, каким образом преподавать историю в «окончательном курсе» (после того, как «младенствующие умы» овладели определенной суммой фактов):

«Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем.

Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелест новизны» (XI, 46—47).

Это — своеобразный «педагогический манифест» нового пушкинского историзма: заметим важные, «опорные» слова — «с хладнокровием», то есть без односторонней тенденциозности; «разница духа народов» — то, что определяет государственные нужды, формы; это и есть подлинная «сила вещей»².

Пушкин напоминает, что 2000 лет убийство Кесаря (Цезаря) «превозносится», традиция же, понятно, идет от историков вроде Тацита (который хоть и не оставил описания «мартовских ид», но духом, конечно, был близок Бруту и Кассио). Однако «превознесение» для Пушкина-историка такая же односторонность, как попытка теперь, 20 веков спустя, это убийство «позорить», то есть морально осуждать, ужасаясь людям, поднявшим руку на властителя!

Поэт считает, что надо представить реальные исторические силы, стоящие за Брутом и Кассием. Определение Кесаря — «честолюбивый возмутитель» — не столь ясное, как

¹ См.: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899, с. 177. Как известно, царь и Бенкендорф остались не очень довольны Запиской и напомнили Пушкину, что «принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенства, есть правило опасное для общего спокойствия...».

² Как отмечалось, и этот оборот появляется именно в записке «О народном воспитании»: Пушкин говорит, что «люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей» (XI, 43).

Брут — «защитник и мститель коренных постановлений отечества». Однако Пушкину важно показать, сколь нелепа аллюзия, грубое применение I века до нашей эры к XIX-му; ведь если все же упорствовать в аналогиях с 14 декабря, тогда Брут — защитник «коренных постановлений» — ближе к Николаю I, чем Кесарь — «возмутитель» (декабрист!) ¹. Буквально таким образом вопрос, конечно, не ставился — но все же Брут был именем запретным... Пушкин же, как видим, не боится, что республиканские идеи захватят молодого человека «прелестью новизны» (царь и Бенкendorf с этим никак не согласятся!); он верит, что последовательный, спокойный разбор различных взглядов и «хладнокровное» сопоставление их с «духом народа» — дело верное и безопасное. Примерно так Пушкин только что разбирал и критиковал Тацита. Имя римского историка как противника (но такого, с которым нужно серьезно считаться!) буквально «мерцает» между строк записи «О народном воспитании»; в черновике же Тацит является прямо (по-видимому, Пушкин в конце концов решил не усложнять текста новыми именами и подробностями): там, где в беловике встала фраза «не хитрить, не иска-жать республиканских рассуждений», сначала было — «не таить от них республиканских рассуждений Тацита (великого сатирического писателя, впрочем опасного декламатора и исполненного политических предрассудков), но стараться с хладнокровием показать им разницу духа народов» (XI, 316).

В другом черновике текст несколько меняется: «не иска-жать республиканских рассуждений Тацита» (то есть — для Пушкина — не следовать односторонности самого Тацита). Любопытно, что, написав суровые строки о Таците, поэт затем вписал слова о «великом сатирическом писателе»; Пушкин здесь как бы преодолевает собственную «мгновенную» односторонность — однако, заметим, римлянин назван «великим писателем», не историком: сатира — это нарочитое выпячивание отрицательных черт, но история требует объективности. «Опасный декламатор, исполненный политических предрас-судков» — скатая, несколько заостренная для «высочайшего читателя» оценка того, что Пушкин недавно находил в «Анналах»: для него *декламацией* являются эмоциональные, односторонние суждения о Тиберии, указания на «зависть» там,

¹ Любопытен декабристский взгляд: С. И. Тургенев пишет (в 1818 г.): «Я могу верить, что Риму в тогдашнем его положении нужен был король Ю. Кесарь; однако могу восхищаться Брутом» (см.: Ланда С. С. «Дух революционных преобразований...». М., 1975, с. 62).

где была «государственная необходимость», и т. п. Моральная декламация вместо того, чтобы «с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных».

* * *

Отчего же Пушкин после 1826 года так и не перебелил своих «Замечаний», не пустил их в ход? Ведь вскоре после того он напечатает «Отрывки из писем, мысли и замечания», а также другие работы в форме исторических заметок, рецензий и т. п. Тацит в этих эссе появится лишь однажды (в уже цитированном и тоже не опубликованном при жизни Пушкина «Письме к издателю «Московского вестника»). Никаких иных следов горячих, взрывчатых «Замечаний на Анналы...» в этих и других позднейших текстах не обнаруживается. На примере «Некоторых исторических замечаний» (1821—1822 годов) мы видим, что ослабление интереса к задуманному и даже завершенному сочинению имело у поэта глубокую идеологическую подоплеку.

Можно, кажется, указать по меньшей мере на три серьезных обстоятельства, остановивших пушкинские «Замечания на Тацита». Во-первых, поэт постепенно почти полностью переключается на российскую историю, находя здесь огромные возможности для воплощения своих историко-художественных идей.

Во-вторых, «Замечания на Анналы...» не были продолжены и напечатаны, может быть, и потому, что на каторге и в ссылке томились многие поклонники, «добрые друзья» Тацита: прямая критика их кумира была бы в этих условиях некорректной.

В-третьих, «критический пик» по отношению к Тациту вскоре сменяется большей объективностью, доброжелательностью поэта. Отдав долг молодости — резкому, «неисторическому» делению истории на порок и добродетель, благое просвещение и темную тиранию, Пушкин с середины 1820-х годов далеко уходит от этого «морализаторского декламаторства»; он обретает историзм, иногда граничащий с «фатализмом» — признанием разумности сущего. Однако поэт, художник, поднимаясь благодаря такой высокой объективности, одновременно должен и преодолевать ее; насмехаясь над упрощенным делением мира на черное и белое, Пушкин на новом «историческом уровне» все равно отвергает черное, все равно гениально морализирует...

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

О том, что в «Борисе Годунове» злодейство осуждено, тогда как в «Таците» лишь объяснено,— об этом уже говорилось.

Пройдет несколько лет, и камер-юнкер, придворный собеседник Николая I, полагавший, что российские вольности пока еще не подкреплены «силой вещей», «духом народа», «общим мнением», а самодержавие пока что основано на этой силе,— Пушкин при этом убедится множество раз, что один фаталистический взгляд недостаточен, что при общей лояльности к режиму надо постоянно заботиться, чтобы не «расторгнуться», не утратить себя, своей внутренней свободы, а для этого — искать новых форм оппозиции, борьбы...

Через пять лет после «Полтавы» явится «Медный Всадник». Невозможно лучшее определение, куда шел Пушкин, неожели сравнение, различие этих двух великих поэм...

Вот тогда-то, в 1830-х годах, политические позиции Тацита и Пушкина делаются ближе (при всей огромной разнице эпох и режимов). Не разбирая подробно эту особую тему, отметим один из вероятных признаков этого сближения — новые обращения Пушкина к Тацитовым сюжетам и следование манере, стилю римлянина в неоконченной повести «Цезарь путешествовал»¹.

Любопытное, хотя и косвенное доказательство, что «поздний Пушкин» ценил именно тацитовское умение кратко представить разные стороны события или характера, находим в уже цитированном отрывке «Мы проводили вечер на даче...»: там приводится древний текст, который «силой выражения равняется Тациту»: «Она отличалась такой похотливостью, что часто торговала собой; и такой красотой, что многие покупали ее ночь ценою смерти...» Мысль, как видим, начинается с черного цвета (похотливость, торговля собою), по мгновенно «взмывает в небеса» (необыкновенная красота, цена смерти): действительно чисто тацитовская (и пушкинская!) кровененная, резкая объективность.

Позже Белинский найдет, что «История Пугачева» писана «пером Тацита... на меди и мраморе»².

¹ См.: Толстой И. И. Пушкин и античность.— Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института им. Герцена, т. XIV. 1938; Амусин И. Д. Указ. соч., с. 162—163.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 5. М., 1954, с. 274.

Tacit — республиканец при римских императорских дворах I—II веков;

Карамзин, говорящий о себе — «в душе республиканец и таким умру»; но для достижения того далекого идеала пока что — твердый монархист: «вот противоречие,— писал он,— но только мнимое»¹.

Пушкин...

Пока ограничимся только тем, что вопрос об исторической и личной необходимости поэт решал для себя всю жизнь, и гибель его явилась трагической попыткой ответа.

¹ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 248—249.

ГЛАВА IV

ВЗГЛЯДОМ ШЕКСПИРА

Образ мыслей моих известен...

«Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (XIII, 259) — еще раз строки из февральского (1826 г.) письма Пушкина к Дельвигу.

Речь идет о 14 декабря.

«Не будем суеверны» — то есть не стоит толковать о роке, предопределении, неминуемо ведущих мятежников к гибели, но поищем исторические причины, оценим возможности, характеры смелых действователей.

«Не будем односторонни» — то есть не стоит восклицать, декламировать о величии свободы и низости тирании: оценим (как велит Шекспир) слабости, недостатки свободолюбцев и сильные черты подавителей; «Не будем... — как французские трагики» — или «как Тацит»: если бы римский историк описывал 14 декабря, то (рассуждая согласно пушкинским «Замечаниям на Анналы...») уж конечно проявил бы *суеверную, одностороннюю* приверженность к свободе.

Пушкинская фраза, оброненная в письме к Дельвигу, по сути представляет предельно сжатую формулу истории «славного мятежа». Через несколько месяцев, в записке «О народном воспитании», поэт, как только что отмечалось, посоветует царю «с хладнокровием» выслушать обе стороны. Он будет доказывать, что это выгодно самой власти, что таким образом сильнее выявится «необъятная сила правительства, основанная на силе вещей». Однако Николай и Бенкендорф, конечно, никогда на это не пойдут, ибо инстинктивно чувствуют, что сила их *вещей* временная и ограниченная. Призыв поэта — не бояться правды о 14 декабря — адресован, собственно говоря, не им, а тому идеализированному образу самодержавия, что сложился у Пушкина «в надежде славы и добра».

Так же искренен поэт, когда еще через несколько месяцев, 15 октября 1827 года, говорит Алексею Вульфу, что «непре-



менно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на них ссыльаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая I, и об 14-м декабря»¹. Из этого разговора видно, что поэт готов взять на себя исторический труд; вероятно, он вдохновлен слухами о предстоящей отмене так называемого «чугунного устава» 1826 года². Он еще надеется, что его в конце концов правильно поймут обе стороны: декабристы в казематах не заподозрят в конформизме, а их тюремщики — в мятежных замыслах.

Первые попытки Пушкина взглянуть на трагедию «взглядом Шекспира» — это прежде всего ряд стихотворений, обращенных к обеим сторонам.

¹ Пушкин в воспоминаниях современников, т. I, М., 1974, с. 416.

² См.: Гильтельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977, с. 41.

«МОЙ ДРУГ БЕСЦЕННЫЙ...»

Полная история послания И. И. Пущину еще не написана, между тем судьба этого текста — удивительный пример очень важного (и редко улавливаемого в «поэтическом пространстве» одного стихотворения) перехода сиюминутного, современного, личного — в историческое.

Черновой автограф стихотворения немало путешествовал: в 1850 году, вместе с основной массой пушкинских рукописей, перешел от вдовы поэта (в это время уже Н. Н. Ланской) во временное пользование к первому пушкинисту П. В. Анненкову¹. Спустя семь лет Анненков вернул значительную часть автографов, но немалое их число оставил у себя (особенно то, что было не в тетрадях, а на отдельных листах). Не вернулся к Ланским и черновик послания к Пущину. Позже часть пушкинианы Анненкова приобрел у его вдовы академик Л. Н. Майков, после же его кончины рукописи стали достоянием Академии наук.

Наконец, в 1931 году черновик интересующего нас послания перемещается в Пушкинский Дом².

Одна из датировок черновика — «январь 11 — август 1825 г.»³; Т. Г. Зенгер (Цявловская) отдала, однако, предпочтение «поздней дате» и в академическом собрании определила время — «август — сентябрь 1825 г.» (III, 1132).

Тонкостей датировки мы еще коснемся позже, а покамест подчеркнем самое для нас главное: черновик создавался после необыкновенной встречи Пушкина и Пущина в Михайловском, под впечатлением этой встречи — но до восстания, до 14 декабря 1825 года; окончательный же текст послания «Мой первый друг...» имеет авторскую дату 13 декабря 1826 года (II, 583). Таким образом, между началом и завершением короткого стихотворения прошло более года, по в промежутке — роковой декабрь, Сенатская площадь.

Черновик создается в одну историческую эпоху, беловик — в другую. Любопытнейшие оттенки, перемены текста открывают при этом столь существенные черты пушкинской мысли и чувства, что мы вправе увидеть между началом и концом послания одну из первых глав той истории декабризма, которую поэт теперь будет писать до самой своей гибели.

¹ П. В. Анненков и сообщил впервые о черновике стихов «Мой первый друг...» — стихах «к П...» (полную фамилию декабриста, еще находившегося в ссылке, было невозможно напечатать).

² Ныне ПД, ф. 244, оп. 1, № 83; воспроизведенис автографа см. II, 581—582.

³ Помета Отдела рукописей ПД на обложке.

Он умещается на лицевой стороне фабричного полулиста, помеченного красным жандармским номером «23»¹. Слева от текста быстрым пушкинским пером нарисован какой-то профиль и женская головка, неведомо по какой ассоциации явившиеся при обдумывании трудного стиха.

Уже начальная знаменитая строка — «Мой первый друг, мой друг бесценный...» — многократно правлена. Пушкину, как видно, показалось двусмысленным обращение «первый друг»: то ли самый близкий, то ли самый давний? Поэтому, зачеркнув слово *первый*, Пушкин написал: *Мой давний друг*. Действительно, Пущин — одно из первых по времени лицейских знакомств, со дня приемных экзаменов, 12 августа 1811 года²; особая близость лицейских лет позже, однако, сменится некоторым (относительным, конечно) взаимным удалением. И. И. Пущин откровенно напишет о том в своих знаменных Записках, и те же мотивы, очевидно, отразились в поправках к началу стихотворного послания. Ведь в 1825 году, даже после прекрасного январского свидания в Михайловском, поэт с некоторыми из друзей все-таки ближе, откровеннее, чем с Пушкиным (это хорошо видно из его переписки и других материалов)³. Из лицейских — особенное единство мыслей и чувств, конечно, с Дельвигом. Поэтому-то Пушкин пробует вместо «первый друг» «давний друг»; затем — «неожданный гость, мой гость бесценный», но подобные образы сразу охлаждали послание, не соответствовали тому, что было и сохранилось; и Пушкин оставляет «Мой друг», а между этими двумя словами пока что зачеркнутое — *первый*.

Мой (первый) друг, мой друг бесценный.

Миновав первую строку, стихи полились свободно:

И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Пустынным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

¹ Модзальский Л. Б., Томашевский Б. В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. М.—Л., 1937, с. 34.

² Пущин позже вспомнит, что «с первого взгляда» среди других мальчиков заметил Пушкина («по сходству ли фамилий, или по чему другому, несознательно сближающему»). См.: Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 43.

³ История отношений Пушкина и Пущина в моей книге «Пушкин и декабристы» (гл. 5—8) представлена, к сожалению, без должного разбора стихов «Мой первый друг...»: некоторые существенные соображения явились тогда, когда книга уже была напечатана.

Слово «пустынный» борется с эпитетом «печальный», окрашивая уже первые строки горечью, тоской. Пушкин в ссылке, в глупи, в плена — стихи дальше очень невеселы; но, по контрасту, тем сильнее звучит благодарность другу, кто в «печаль», «пустыню», «опалу» ворвется «с отрадой», «утешением». Сначала Пушкин шел примерно к такой строфе (как можно судить по многим зачеркиваниям и восстановлениям):

Забытый кров, шалаш опальный
Ты с утешеньем посетил,
Ты день отрады и печали
С изгнанным братом разделил.
Но для души твоей прекрасной,
Друг, и сей день не пропадет.

Почти все это, однако, зачеркивается — поэт ищет более точных слов; работа шла, вероятно, несколькими циклами (большая часть текста писана синими чернилами, но некоторые строки — черными), стихи не давались.

При этом черновик становится все грустнее:

На стороне глухой и дальней
Ты день изгнанья, день печальный
С печальным другом разделил.

Слово *печальный* повторяется и повторяется: делается лейтмотивом послания (как позже, в других стихах: «На печальные поляны льет печально свет она...»). Благодарность другу, сперва мажорная, «восклицательная» («для души твой прекрасной»), теперь — более минорная, повествовательная («Ты день изгнанья... разделил»).

Но тут пошла третья строфа — вероятно, порыв счастливого вдохновения, судя по сравнительно малому числу поправок:

Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы¹,
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды?
Где ж молодость? Где ты? Где я?

Возник и ушел вариант:

Где Горчаков? Где ты? Где я?

Упоминание Горчакова, очевидно, и дало повод Т. Г. Цявловской датировать черновик августом — сентябрем 1825 года: ведь именно в эту пору (около 20 августа) Александр Горчаков прибывает в отпуск после длительной дипломати-

¹ Мелькнуло — «дни наслаждений и свободы».

ческой службы в Англии, едет в имение Лямоново на Псковщине, к своему дяде А.Н. Пещурову, и Пушкин отправляется в гости к товарищу.

В строке «Где Горчаков?» как будто угадывается будущая строфа из «19 октября»:

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней...

Усомнимся, однако, что упоминание Горчакова в черновике «Мой первый друг...» невозможно раньше августа: наоборот! — слишком острый и свежий впечатления от недавней, январской беседы с Пущиным; о «пустынном, печальном снеге» говорится в стихах так, как если бы он еще не растаял. К тому же нигде не возникает мотива, развернутого позже (в «19 октября»), — что Пущин «первым посетил» Михайловское; ни в одном из вариантов нет и намека на то, что после январской встречи еще явился Дельвиг (в апреле). А насчет Горчакова — так ведь Пушкин пробует сперва «где наши, где друзья?», затем — «где Горчаков?», и снова — «где наши, где друзья?». Смысл черновых строк здесь, очевидно, в том, что трое лицейских, Пушкин, Пущин, Горчаков (как и другие), разметаны по свету, и даже не всегда известно — кто где? Горчаков же вспомнят как особенно далекий, за морями...

В Михайловском «Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея»¹.

В общем, полагаем более вероятным (хотя, конечно, не имеем исчерпывающих доказательств), что черновик писан вскоре после 11 января 1825 года, когда особенно обострилась тоска опалы, тишины, пустыни...

Это — стихотворные воспоминания о недавней михайловской встрече, и, таким образом, можно сказать, что оба ее участника написали мемуары: Пущин — спустя 33 года, в 1858 году; Пушкин — в том же 1825-м, под непосредственным впечатлением от 11 января.

Однако сколь различны ощущения поэта и декабриста!

Пущин тоже не раз припомнит тогдашнюю глушь, печаль; к тому же «обратным воспоминанием», из поздних лет, знает, что встреча была последней, что больше им не свидеться... Но при всем при том декабрист видит 11 января 1825 года больше с веселой, светлой стороны: «Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохота от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф».

¹ Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 81.

Пушкинский же стихотворный рассказ куда печальней. О хохоте, шутках, анекдотах ни звука; приехавший друг лишь «день печальный с печальным другом разделил». А ведь Пушкин, в отличие от Пущина, писал, не ведая, что им больше никогда не встретиться. Его стих не окрашен знанием (разве только предчувствием!) будущего...

Отчего же Пушкин весел в 1858-м?

Отчего Пушкин печален в 1825-м?

Строфа «Скажи, куда девались годы...», без сомнения, отзвук того разговора, который шел о прошлом, о Лицее, о каждом из «первокурсных». Восклицания вроде «что наши, что друзья? Где ты, где я?», конечно, звучали во время 19-часовой михайловской беседы, и Пушкин — как это видно из черновика — пытается сохранить некоторые краски живого разговора: он написал, по зачеркнул (скорее всего, не желая затемнять главную мысль многословием).

Твердим глубоко
Давно ль — как близко! Как далеко! ¹

В самом деле, как близко лицейское время — и как много прожито... Подробности сняты, но навеселые стихотворные мемуары продолжаются:

Судьба, судьба рукой железной
Наш мирный развела лицей.

Вторая строка показалась слабой.

Разбила мирный паш лицей.
Но ты счастлив, о брат любезный,
На избранной чреде своей.

Итак, в девяти строках — пушкинские впечатления, воспоминания о встрече и разговоре с другом бесценным. Поэту стало грустно, ибо прошла беззаботная молодость, умчались лучшие годы; тогда, в Лицее, были «дни упований и свободы» — время, когда уповали на грядущее, веселое и светлое, когда еще была *свобода выбора* и, главное, когда все были вместе. Теперь же пути выбраны «судьбою строгой» — и той свободы уж не видеть; и уже хлебнули горестей, обид — куда девались *упованья*? И судьба «разбила мирный наш лицей»: не дружбу, конечно, разбила, но — ту несбыточную, сладкую мечту о братстве, как в «Лицейском гимне» Дельвига:

Возьмемся, братья, рука в руку...

¹ Между «твёрдим» и «глубоко» оставлено место, вероятно, для грустного деепричастия, вроде «печалуясь», «задумавшись».

И все закономерно, так и должно было случиться; все благо — но невозможно и преодолеть печаль о минувшем; печаль, конечно, усиленную, усугубленную тем, как далеко судьба развела Пушкина и Пущина, двух столь близких лицейских друзей-соседей («№ 13» — Пущин, «№ 14» — Пушкин). Той особенной, царскосельской близости не вернуть: как ни задушевна последняя беседа, но меж друзьями все равно пролегла тайна; очень характерна одна поправка, сделанная Пущиным через треть века в рукописи своих воспоминаний: «Преследуемый мыслью, что неверен Пушкину», — написал декабрист, а затем подумал, что всегда был верен поэту, и переменил фразу: «Преследуемый мыслью, что у меня тайна от Пушкина»¹. Верность и тайна столкнулись в разговорах 11 января: мы знаем, из рассказа декабриста, что разговор о его новом поприще («каким образом из артиллеристов я преобразовался в судью») перешел на подозрения «насчет общества»: последовало полупризнание Пущина («не я один поступил в это новое служение отечеству»), после которого поэт «вскочил, вскрикнул», а затем, успокоившись, продолжал невесело: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям». *Пущин*: «Молча я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть»². Разговор не вышел за рамки любви, дружбы, но он — не прост, не легок; и, конечно, по контрасту вспоминаются другие лицейские разговоры, когда не было никаких недомолвок — только «полное благорасположение», которое «между нами как-то скоро и незаметно устроилось»³. Если Пущин много лет спустя, прожив целую жизнь, помнит тонкие, сложнейшие противоречия последней встречи, пусть преодолеваемые дружбой, но заметные тому, кто особенно близок,— если Пущин это видит, то Пушкину, под своим впечатлением 11 января, все это куда заметнее и памятнее; вот здесь — один из истоков глубокой печали черновика, посвященного радостной встрече. Нет упрека — но есть вздох, боль, нанесенная «судьбы рукой железной».

И тут главная причина, отчего стихи не были сначала окончены...

Написав трагические строки «Скажи, куда девались го-

¹ Ср. Пущин И. И. Указ. соч., с. 73 и ПД, ф. 244, оп. 17, № 36.

² Пущин И. И. Указ. соч., с. 82.

³ Там же, с. 54.

ды...», Пушкин пытается завершить послание хвалою Пущину, который идет цо «избранной чреде своей»:

Ты победил предрассужденье
И от признательных граждан
Умел истребовать почтенье,
В глазах общественного мненья
Ты возвеличил темный сан..

Как тяжело поэту давались эти строки, заметно даже по внешнему виду рукописи: к концу листа текст делается многослойным, одно перечеркивание ложится на другое, и надо отдать должное замечательным текстологам (более всего Т. Г. Цявловской), которые «расколдовали» чернейший из черновиков. Несмотря на все усилия, стихи не шли: длинная цепь возвышающих характеристик — «побежденное предрассужденье», «мненье», в варианте еще и «отверженье»; «почтенье граждан», «возвеличил сан» — все это звучало выспренне, холодно, особенно для такого великого мастера. Не было того вдохновенного порыва, которым отмечены первые строки послания, а также две строфы со слов «Скажи, куда девались годы...».

Пушкин, конечно, хорошо видел недостатки стихотворения — и после того, как был найден довольно удачный эпитет к судебной должности — «темный сан» (прежде были опровергнуты «полезный сан», «мирный сан»), послание продвинулось всего на две — две с половиной строки.

В его гражданском основанье...

Пушкин заменяет:

В его смиренном основанье
Ты правосудие блюдешь
И честь...

Затем слова «блюдешь» и «честь» зачеркиваются, а стихи замирают, как река в пустыне.

Неужели Пушкин не справился с задачей?

Вот какое объяснение кажется здесь самым естественным: поэт мог все, кроме полуправды; он не мог развернуться в полную силу. Недомолвки, возможные при более далеких отношениях, были мучительны для двух «лицейских братьев»: дело в том, что «судейская тема» ближайшим образом сплела на с проблемой тайного общества. Связь между явным и тайным служением декабриста была несомненной как для своих, так (потом) и для следствия.

Еще раз повторим, что разговор насчет перехода Пущина

в надворные суды был самой горячей точкой во время михайловской встречи двух друзей. Мужественный, откровенный поступок Пущина, бросившего вызов властям и своему сословию и перешедшего из гвардии на неизмеримо худшую по карьере судейскую должность,— это было Пушкину «по сердцу» («он гордился мною и за меня»¹). Снова подчеркнем: не случайно тут же начался — не мог не начаться — разговор о главных причинах перехода Пущина в судьи. Декабрист вынужден был сделать «полупризнание». Каким бы оно ни было (исследователи спорят на этот счет), но грустная недоговоренность налицо: к этому главным образом и относится пушкинский вздох «где ты? где я?».

Печальные вопрошающие строки «Скажи, куда... где?» удались; хвала же общественному делу товарища выходила натянутой. Суть, конечно, не в том, что о Тайном союзе нельзя было даже заикнуться: Пушкин нашел бы нужные слова (как, например, в «Арионе»); нашел, если бы ему самому было все ясно до конца... Но к этому новому Пущину, конспиративному, целенаправленному, «систематическому», поэт не привык: он знал того лицейского «веселого мудреца», того «Большого Жанно», кому посвящены ранние послания: «Любезный именинник, о Пущин дорогой!» (1815), «Помнишь ли, мой брат по чаше?» (тогда же), «Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок...» (1817).

Послание же 1825 года, искренне выражавшее пушкинскую печаль, не могло закончиться формальным «положительным аккордом»: для настоящего финала должно было произойти то, что «разрешит» пушкинское молчание,— какие-то события, потрясения, объяснения, которые снимут недомолвку или полуправду, невозможную между столь близкими людьми.

Пушкин откладывает черновой лист, не отказываясь от новых попыток сказать теплые, лицейские слова Ивану Пущину; не желая также оставить без употребления счастливые поэтические находки в начале и середине послания, но еще не зная — как и когда он вернется к «другу бесценному».

«19 ОКТЯБРЯ»

Проходит еще несколько месяцев. «Мирный Лицей», «линовые своды», казавшиеся слишком далекими, «разбитыми», являются все чаще: приезжают Дельвиг, Горчаков.

¹ Пущин И. И. Указ. соч., с. 81.

Прежде было долгое южное удаление от *своих* («Я с трепетом на лопо дружбы новой, устав, приник ласкающей гладкой...»); теперь — духовное возвращение, приближение к «славной старине».

Это было связано и с окончательным созреванием Пушкина — мыслителя, поэта. Автор «Бориса Годунова» преодолевает «безумные порывы» юности, прощание же с романтическим прошлым продлится и после — в шестой главе «Онегина» (1826):

Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!

Одним из важных признаков огромной перемены — той, что повлияла на все общественные и литературные воззрения Пушкина, — было и «возвращение в Лицей».

Стихотворение «19 октября» родилось именно в 1825-м, хотя поэт провел вдалеке от своих пять лицейских годовщин (1820—1824 гг.).

Первые читатели «19 октября», конечно, не знали об оставленном послании к Пущину, о почти безнадежных строках:

Скажи, куда девались годы...

В «19 октября» поэт как будто спорит сам с собою (но спор заметит он один); в этих стихах уже «печаль светла», здесь заключительные строки —

Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

«Затворник опальный» — очень близок к «шалашу опальному» старого черновика; но там двух друзей разделяет некоторое напряжение, которого нет между Пушкиным и Лицеем вообще; его не может быть со всеми своими как *целым* (и в их числе с Пущиным). «Где Горчаков?» — горестно вопрошал старый черновик. «19 октября» отвечает:

Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай, проселочной дорогой,
Мы встретились и братски обнялись...

Где ты? — вопрос и Пущину.

В той строфе «19 октября», где появляется Пущин, делается вторая попытка использовать фрагменты прежнего, чернового послания. В первоначальной беловой редакции было:

Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил.
Ты уладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.
Мы вспомнили, как Вакху первый раз
Безмолвную мы жертву приносили,
Мы вспомнили, как мы впервые любили,
Наперсники, товарищи проказ¹.
И все прошло, проказы, заблужденья...
Смирен, суров тобой избранный сан.
И ты — в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан.

(II, 970—971)

Легко заметить, что используются «кирпичики» прежнего, недостроенного здания — и тем сильнее видна разница в тоне, настроении: в новое стихотворение из старого чернового послания попал «изгнанья день печальный»; однако вместо прежнего «с печальным другом разделил» — теперь светлое: «Ты в день его Лицея превратил».

От возгласа: «Куда девались годы, дни упований и свободы?» — остался легкий вздох:

И все прошло, проказы, заблужденья...

Однако, как только Пушкин второй раз принялся описывать пущинское служение, стихи опять застопорились... Снова — холодноватые слова: «избранный сан... почтение граждан...» По рукописи видно — поэт несколько раз правит это место, но не может достичь желаемого совершенства...

Между январем и октябрем 1825 года много событий во внутреннем пушкинском мире; главное — «Борис Годунов», «Андрей Шенье», «Вакхическая песня», четвертая глава «Евгения Онегина». Однако Пущин, судья и заговорщик, все еще отделен какой-то преградой; он не досказал Пушкину, и поэт никак не может ему досказать!

И снова Пушкин решительно убирает строки об избранном сане, общественном мнении, почтении граждан.

Однако без всего этого лишились логической концовки, «повисли» прекрасные строки: «Мы вспомнили, как Вакху первый раз...» Это ведь еще один фрагмент пушкинских мемуаров о той январской встрече: Пушкин и Пущин вспомнили тогда известную лицейскую историю с «гогель-могелем» («первая жертва Вакху»)², а также первую любовь к Ека-

¹ Пушкин примерил также строку: «Ровесники, товарищи проказ».

² См.: Пущин И. И. Указ. соч., с. 57—59.

терине Бакуниной — одновременно троих друзей (Пушкина, Пущина, Малиновского). Желая сохранить эти строки, но не видя, как их теперь «привязать» к Пущину, поэт сначала решает перевести их «на Малиновского» (см. II, 972). Иван Малиновский (лицейский «Казак») в стихотворении «19 октября» появился сразу после слов о Пущине («ты в день его Лицея превратил»):

Зачем и ты не обнял друга с ним,
О наш казак, и пылкий, и незлобный,
Зачем и ты моей сени надгробной
Не озарил присутствием своим?¹
Мы вспомнили б, как Вахху приносили
Безмолвную мы жертву в первый раз.
Как мы впервые все трое полюбили,
Наперсники, товарищи проказ...

Как видим, в связи с Малиновским реальные воспоминания о беседе с Пущиным («Мы вспомнили...») переводятся в условное наклонение («Мы вспомнили б...»). Однако в окончательную редакцию «19 октября» строки о Малиновском (так же как и о некоторых других лицейских) не попадают. Пушкин сурово сокращает длинное послание.

Но что же в конце концов стало с Пущиным в «19 октября»?

Из 12 первоначально посвященных ему строк в конце концов остается четыре (меньше, чем другим отдельно упомянутым друзьям). Остались привет и благодарность другу за «второй день Лицея». Другие же, исчезнувшие строки через 30 с лишним лет попадут на глаза Пущину в дополнительном томе анненковского издания² — декабрист будет тронут и между прочим процитирует в своих воспоминаниях:

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан³.

¹ То есть — почему не обнял Пушкина вместе с Пущиным? Тут не простое поэтическое соединение друзей: мы ведь точно знаем, что незадолго до своей поездки к Пушкину декабрист встречался с Малиновским в Петербурге. Это видно из рифмованного письма Александра Сергеевича брату Льву (из позднее 23 декабря 1824 г.): «Брат! Здравствуй — писал тебе на днях; с тебя довольно. Поздравляю тебя с рождеством господа нашего и прошу поторопить Дельвига. Пришли мне Цветов да Эду да поезжай к Энгельгардову обеду. Кlapайся господину Жуковскому. Заезжай к Пущину и Малиновскому. Поцалуй Матюшкина, люби и почитай Александра Пушкина...» (ХIII, 131).

² Сочинения Пушкина (изд. П. В. Анненкова), т. 7. СПб., 1857, с. 61—63.

³ Пущин И. И. Указ. соч., с. 81. В моей книге «Пушкин и декаб-

Так или иначе, стихотворение «19 октября» вынесло на свет часть раннего послания — и теперь новое обращение к нему казалось маловероятным.

«МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ»

Через четырнадцать без малого месяцев после «19 октября», в конце 1826 года, Пушкин, уже свободный, возвращается из Москвы в Михайловское, чтобы собрать рукописи, книги и снова отправиться во вторую столицу. По дороге коляска опрокидывается, и поэт, помятый, ушибленный, вынужден отлеживаться во Пскове.

Именно там он и возвращается к давно оставленному первому черновику.

За 14 месяцев случились те события, которые сняли все недомолвки, полупризнания, сняли заклятие с оставленных стихов.

Пущин вместе с друзьями вышел 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь, простоял до конца, вскоре был взят, признан одним из вождей движения и осужден по высшему (не считая пяти повешенных) — первому разряду: смертная казнь, замененная сначала пожизненной, а в сентябре 1826-го — 20-летней каторгой.

Теперь Иван Пущин ясно высказался; у него, каторжника (ожидающего в Шлиссельбурге не скорой еще отправки в Сибирь), больше нет никаких тайн. То, что могло огорчить Пушкина, в чем поэт видел известное недоверие, отчужденность,— теперь об этом нечего толковать. Пущин дошел по своей тропе до конца; не стоит теперь рассуждать и об «избранном сане», «почтении граждан»: прежде, до восстания, за этими строками пряталось пушкинское многознание насчет тайного общества, Пущина-копирайтора; теперь, когда все вышло на свет,— нечего прятать, намекать. Мы не знаем, что за повод заставил Пушкина тогда, в декабре 1826-го, вернуться к старому посланию, окончательно высказаться... Возможно, приближение годовщины восстания на Сенатской площади; может быть, Пушкин повидался в Пскове с родной сестрой Пущина, Екатериной Ивановной Набоковой. Именно у нее Пущин гостил два года назад, от нее отправился из Псков-

ристы» было отмечено, что эти и другие строки пушкинских стихов стимулировали воспоминания Пущина, вызвали к жизни ряд картин и описаний последней михайловской встречи. Печальных же строк раннего чернового послания декабрист, по всей видимости, никогда не прочитал.

ва в Михайловское. Если Пушкин встретился с сестрой друга (они были и прежде знакомы), то общие воспоминания, конечно, не оставили поэта равнодушным...

Как известно, листок пушкинского послания был получен Пущиным в Чите, год спустя: «В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукою написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный!»

Под стихами было обозначено время и место: Псков, 13 декабря 1826.

Вероятно, последняя строка скрывала двойной привет декабристу: *13 декабря* явно намекало на завтрашнее, *14* (возможно, тут даже была сознательная маскировка — под впечатлением скандала и следствия, вызванного произвольным заглавием одного из отрывков «Андрея Шенье» — «На 14 декабря») ¹.

Второй же знак привета — в названии города: *Псков* — одно из родных мест, напоминание о недавнем, о друге, о родных.

Что бы ни явилось толчком к третьей попытке стихотворного обращения к Пущину — отличис ее от первых двух примечательно:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Как видим, из послания, сочинявшегося «в другую эру», почти два года назад, первые четыре строки перенесены без изменений — кроме одного, но сколь характерного!

Черновик 1825 года, как помним, состалялся, когда Пушкин еще не определил «главного эпитета»: в строке «Мой первый друг» слово *первый* осталось зачеркнутым, но теперь возродилось!

¹ См.: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3-е. М., 1931, с. 95—120.

Затем Пушкин решительно отсекает «прежнюю печаль», строфу «Скажи, куда девались годы...».

В 1825-м подразумевалось, что слишком разошлись пути, что судьба «рукой железной разбила мирный наш Лицей» (знал бы тогда Пушкин, что железная рука еще не нанесла самых тяжелых ударов!).

Теперь, когда друг-заговорщик уже объяснился с другом-поэтом, объяснился своим делом, Сенатской площадью, гражданской смертью,— теперь, как это ни парадоксально, основной источник пушкинской печали пропадает.

Вместо скорбной безнадежности явились искупление, катарсис... В последних пяти строках «псковского послания» сохранились только отдельные слова из старого черновика (озарит, утешенье, заточенье). Но в 1825 году речь шла о заточении Пушкина, а прибывший друг Пущин «озарил шалаш опальный», «с утешеньем посетил». Теперь же, в 1826-м, друзья поменялись местами; теперь Пушкин на свободе — и уж он спешит к Пущину, посыпает стихи...

Последняя строка: «Лучом лицейских ясных дней» — отзвук, эхо из «19 октября»: «Ты в день его Лицея превратил...»

Внешне ситуация куда более трагическая, чем в 1825-м: прежняя неволя поэта — «шалаш опальный», у Пущина же — тюрьмы, «каторжные норы». Но стихи за год-полтора стали светлее; если не радостнее, то оптимистичнее; на первом плане в них — не «отрицательные», а «положительные» слова: *утешенье, озарит, ясные дни*.

Друзья наконец объяснились — увидеться не суждено...

ПОСЛАНИЯ В СИБИРЬ

История текста «Мой первый друг...» сохранила, как видим, сложнейшие оттенки в отношениях двух замечательных людей, в связи с важнейшими историческими событиями.

Стихи Пущину — первое из пушкинских посланий осужденным декабристам.

Прямо не оценивая восстания, оно подразумевает возможность сильнейшего нравственного сочувствия отдельным декабристам. Тут нет места сложному «шекспировскому взгляду» на 14 декабря, но — горячее, личное сострадание «падшим». Нужно ли, однако, доказывать, какой общественный вес имело для декабриста и его товарищей подобное обраще-

ние, в условиях террора и страха первых последекабрьских лет?¹

С конца 1826-го до конца 1828-го Пушкин еще несколько раз обращается к истории первого революционного выступления — в печати или нелегально, большей частью стихами. Он является как бы первым неофициальным историком 14 декабря, сохраняя иллюзию быть понятым, по обреченный на упрощенные толкования многих современников.

Дело чрезвычайно осложнилось тем, что правительство, выпустив в 1826 году «Донесение следственной комиссии», определило на несколько десятилетий обязательную точку зрения на 14 декабря: революционеры — государственные преступники. Большая часть текста посвящена деталям их цареубийственных планов; о сокровенных целях — освобождении крестьян, конституции, отмене рекрутчины, военных поселений — не говорится практически ничего; всячески подчеркивается ненародность декабристов и преданность большинства населения существующему строю².

Мы не ставим задачи полностью представить Пушкина — историка декабризма, 1820-х годов: сосредоточившись в дальнейшем лишь на отдельных «типологических» эпизодах, сопроводим их некоторыми общими соображениями.

«В СИБИРЬ» — «СТАНСЫ»

15 ноября 1826 г.: за месяц до послания Пущину окончена записка «О народном воспитании»: «Последние произшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий. <...> Должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образуми-

¹ О малодушии и растерянности значительной части дворянского общества см.: Пиксанов Н. Дворянская реакция на декабризм.— Звенья, кн. 2. М.— Л., 1933.

² М. С. Лунин позже писал, что следственная комиссия «умалчивает об освобождении крестьян, долженствовавшем возвратить гражданские права некоторым миллионам наших соотечественников. Она ничего не говорит о новом уложении, об исправлении судопроизводства, об уничтожении военных поселений, о свободе торговли и промышленности, об оказании помощи угнетенной Греции» (Лунин М. С. Сочинения и письма. П., 1923, с. 75).

лись; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе венцей» (XI, 43).

Но в той же Записке — об одном из выдающихся декабристов, заочно приговоренном «по первому разряду»: «Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в Геттингенском университете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностию и умеренностию — следствием просвещения истинного и положительных познаний» (XI, 45).

13 декабря 1826 г.: «Мой первый друг, мой друг бесценный...».

22 декабря 1826 г.: «Стансы — стихи, обращенные к Николаю I и оцененные несколькими революционными и оппозиционными поколениями как панегирик победившей власти¹.

Конец декабря 1826 — начало января 1827 г.²: «Послание в Сибирь».

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

Апрель 1827 г.: выходит журнал «Московский вестник» (часть 1, № 4) со стихами «Прозаик и поэт». Вполне вероятно, что еще прежде (тоже через посредство А. Г. Муравьевой) текст отправлен декабристам (сочинен же он еще в 1825 году; см. II, 1173). Д. И. Завалишин вспоминает, будто Пушкин прислал в Читу «толкование — к кому относилось его стихотворение «О чём, приятель, ты хлопочешь...», — и это (вместе с посланием «Во глубине сибирских руд...») произвело сильное возбуждение революционного чувства»³.

¹ Сохранившийся отрывок перебеленного автографа (с пометой «22 декабря 1826 г. Москва у Зубкова», см. III, 584) содержит любопытные разнотечения с окончательным текстом. Сначала поэт сравнил Николая I с Петром Великим —

Как он решителен и тверд,
По памятью, как он, незлобен.

Однако слово *решителен* уж слишком напоминало о решительности Николая на Сенатской площади; это впечатление усиливалось противительным «но» — *но памятью, как он, незлобен*. В окончательной редакции «разность потенциалов» уменьшена:

Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

² См.: Алексеев М. П. К тексту стихотворения «Во глубине сибирских руд». — Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 1971, с. 42.

³ Завалишин Д. И. Пребывание декабристов в тюремном заключении в казематах Читы и Петровском заводе. — В сб.: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1980, с. 246.

При всем необходимо осторожном отношении к воспоминаниям Завалишина, следует поверить тому, что стихи были сперва восприняты (самим декабристом, а возможно, и не им одним) как антиправительственные, в контексте других потаенных посланий поэта¹. Мы ничего, однако, больше не знаем о специальном толковании поэта — как понимать его насмешку над *прозаиком*, его стрелу, «посланную наудающую».

16 июля 1827 г.: стихотворение «Арион» («Нас было много на члене»).

19 октября 1827 г.: лицейские стихи «Бог помочь вам, друзья мои...»; Пущину и Кюхельбекеру адресована строка — «И в мрачных пропастях земли».

Все это время продолжаются толки вокруг «Стансов».

Начало 1828 г.: стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю...») — ответ на упреки слева за «Стансы».

Итак, в течение года с небольшим Пушкин сочиняет несколько произведений, явно сочувственных декабристам, безусловно недопустимых с точки зрения предержащих властей,— и в то же самое время, буквально в те же дни, нечто как будто противоположное. 13 декабря 1826 года — послание Пущину, которого не простил бы Николай I; через девять дней — послание Николаю, которого не могли простить Пущин и его товарищи². Еще через несколько дней — «Во глубине сибирских руд».

Все названные стихотворения 1826—1828 годов обросли огромной литературой, которую мы не имеем здесь возможности обозреть. Напомним только, что дореволюционная официальная точка зрения, естественно, выпячивала «Стансы», игнорируя «В Сибирь»: одной из первых попыток такого рода было выступление сенатора Егора Петровича Ковалевского против обвинений, прозвучавших в 1860-х годах по ад-

¹ «Стихотворение носит литературно-полемический характер; точный адресат его не установлен,— отмечает современный комментатор.— Скорее всего сам Завалишин обратил внимание в основном на последнюю стихотворную строчку: «И горе нашему врагу!» (там же, с. 402, comment. И. Б. Мушиной).

² Пущин писал в 1840 году И. В. Малиновскому, что «нашел бы средство сохранить поэта-товарища, достояние России, хотя не всем его стихам поклоняюсь; ты догадываешься, про что я хочу сказать; он минутно забывал свое назначение и все это после нашей разлуки» (Пущин И. И. Указ. соч., с. 152). Уверенность, что Малиновский «догадается», о чем речь, относится, конечно, к «Стансам», опубликованным в журнале «Московский вестник» (1828, № 1).

ресурс известного государственного деятеля, бывшего «арзамасца» Д. Н. Блудова. Ковалевский написал его биографию. Блудов составил в 1826 году официальный текст «Донесения следственной комиссии», за что подвергся резкой критике со стороны декабристов и демократической общественности 1850-х годов (Лунин, Н. Муравьев, Н. Тургенев, Герцен, Огарев и др.). Защищая Блудова, биограф между прочим прибегает и к следующим аргументам (сохранившимся только в рукописи подготавливаемой книги) ¹: «Такие люди, например, как Александр Пушкин, который был друг Пущина и в хороших отношениях с Рылеевым, и которого либерального направления нельзя оспаривать,— не разделяли мнения заговорщиков. В отношении к самому Пушкину доказательством служат его два стихотворения; первое —

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни...

на которое, разумеется, некоторые люди напали как на лесть; и другое, которым он отвечал на эти нападки: «Нет, я не льстец...» <...> Всякий, кто хотя немного был знаком с Пушкиным, знает, что, когда он хвалил царя, то уж точно «хвалу свободную слагал»; всякий, кто вспоминает двадцатые годы столетия, скажет, что точно бодро и честно и деятельно Николай Павлович начал свое правление. Все это умолчено или забыто, благодаря тем мерам строгости и особенно произвола, до которых довели, с одной стороны, беспрестанные мятежи и революции в Европе, с другой,— благонамеренные и злонамеренные трусы и посредственные умы» ²...

¹ Ср. Ковалевский Е. П. Граф Блудов и его время. СПб., 1866, и рукопись — ЦГАДА, ф. 1274, оп. 1, № 730.

² Далее в рукописи следует зачеркнутый Ковалевским отрывок: «...окружавшие его и удалившие многих, с которыми он сначала имел наиболее сочувствия. Один из них, выходя из Совета после прений об цензуре в 1849 году, сказал графу Блудову: «Посмотрите на этих людей, как они используют революции, словно их делают для них и их выгоды!» (цит. по франц.). Графа Блудова Николай Павлович всегда искренно уважал и употреблял с охотой и доверием, но вlichном к нему чувстве он охладевал, по мере того как уклонялся от прежнего направления, и только в последние год или два опять воротился к прежним отношениям. <...> Но уже было поздно; вся приверженность, вся любовь к царю лично, и к нему как к представителю России <...> не могли изменить работы многих лет, в которых так грустно являлась темная картина, описанная поэтом: «Льстец лукав, Он горе па царя накличет...», но этой печальной стороны ничто не предвещало в первые светлые годы царствования». (ЦГАДА, ф. 1274, оп. 1, № 730, л. 12—13).

Так объяснял позицию Пушкина и других деятелей 1820-х годов официальный историограф.

Тогда же и после, особенно в советское время, предпринимались противоположные попытки — «реабилитации» поэта. Пушкинские обращения к верхам связывались с политическими иллюзиями, с определенной тактикой поэта¹.

Мы не отрицаем иллюзий, верим и в «дипломатические попытки» поэта, но убеждены, что не здесь надо искать главный ответ насчет противоречивости, «несовместимости» разных стихов 1826—1828 годов.

Прежде всего, вряд ли возможно рассматривать поэтическое творчество как чисто рациональный план-процесс, как строгую, логическую политическую программу. Живое чувство могло вести и вело Пушкина к «несогласованным» между собою стихам, отзвуку разных, даже противоположных страсти. В каждой минутной искренности поэта была, однако, высшая логика, несомненно перевешивающая узкую логистику (Герцен позже скажет, что Пушкин «обладает инстинктивной верой в будущность России»²), в широком же смысле художественно-историческая мысль Пушкина не противоречива: это и есть стремление преодолеть «суеверность и односторонность», попытка охватить все «взглядом Шекспира»!

Власть и заговор — обе стороны требовали исторического рассмотрения.

Оно давалось не сразу, вырабатывалось постепенно, в конце концов было достигнуто, но — с немалыми потерями³.

Власть: Пушкин находит сходство первых лет Николая и Петра, когда «мятежи и казни» сочетались с благими делами, «славными днями». *Тацитовы обвинения* тут не подойдут — «опасный декламатор» односторонен. Поэт глядит на 1825—1826 годы как с близких, так и с дальних, даже «древнеримских» дистанций и стремится вырваться из плена сегодняшней предвзятости. «Необъятная сила вещей» взяла верх, обнаружив несбыточность, неосновательность декабрьской попытки. В руках власти теперь, однако, огромные возможности для постепенного осуществления тех реформ, о которых мечтали декабристы.

Декабристы: они получают у Пушкина полное нравствен-

¹ См.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, с. 260—262, 272, 290.

² Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. VII. М., 1956, с. 203.

³ См.: Лотман Ю. М. К эволюции построения характеров в романе «Евгений Онегин». — В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960.

ное признание: у них — «дум высокое стремленье»; их «безумие» вызывает симпатии (многие знали о восклицании Рылеева накануне восстания, когда дело представлялось проигранным: «А все-таки надо!»). Пусть даже средства, избранные декабристами, ошибочны — цели все равно благородны; погибая, они выкрикнули истины, которые нельзя игнорировать, и правительство должно задуматься — иначе не выполнит исторического предназначения...

В сознании Пушкина обозначается сложнейшая, диалектическая формула известной исторической необходимости, естественности обеих противоборствующих сил. И если так, то не возможно ли в будущем примирение, основанное на единстве цели — благоденствии России? Если так, то не за горами амнистия, и две могучие силы найдут друг друга...

Поэт был безусловно прав, стремясь взглянуть по-шекспировски, сражаясь с пагубной, слепой односторонностью.

Это великое стремление не исчезнет до последнего дня его жизни, воплощаясь в Пугачеве, «Медном Всаднике», Дневнике, Записках — но об этом после.

В 1826—1828 годах Пушкин, однако, допускает ряд просчетов.

Крепкие исторические корни самодержавия, его «силу вещей» как возможный источник просвещенного прогресса поэт явно переоценивает; слишком верит в применимость формулы Петровской эпохи для России 1820—1830-х годов. Тем самым он в какой-то степени нарушает собственный принцип историзма, принцип осторожной оценки всякой эпохи по ее внутренним законам, а не категориями другого века.

Во-вторых, поэт-историк переоценивает степень подготовленности своего окружения к своим многосложным идеям (то, о чем позже скажет Герцен — «быть на шаг впереди своего хора, но никогда не на два!»): шекспировская многосторонность мало кому понятна. Царь и Бенкendorф не принимают предложенных поэтом-советчиком правил просвещения, милосердия, реформ, прогресса: они суеверны и односторонни...¹

Вот один из довольно выразительных примеров: в проекте месячеслова на 1827 год Николай I собственной рукой делает поправки, ясно объясняющие, как должно излагать события 14 декабря.

¹ См.: Мейлах Б. С. Пушкин и декабристы после 1825 года.— В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. II, М.—Л., 1958, с. 202—204.

Подробное, многословное, чрезвычайно благонамеренное описание событий, случившихся на Сенатской площади, вызывает следующее примечание царя: «Я полагаю, что было бы неблагодарным быть к пророчеству, если б не признавать в сем событии явный промысл божий, избравший сию минуту к открытию всего ужаса заговора, стремившегося ко всеобщему извержению. Мне кажется, должно простыми, но сильными словами изобразить то, что было: присягу и всеобщую одну мысль, благодарение богу, что недоумение кончилось; изумление, испуг, когда весть разошлась об начале мятежа; всеобщее усердие гвардии по первому мановению государя явиться для защиты престола, причем упомянуть, что первый прибыл 1-ый батальон Преображенский, потом Конная гвардия. Что все истощено было, чтоб не прибегать к силе оружия; несмотря на то, что мятежники убивали тех, которые к ним приближались. Наконец, то, чем все кончилось: открытие заговора во всех его отраслях и принятые меры для всеобщей безопасности»¹.

Необходимость «коротко сказать», не вникать в подробности события затем еще несколько раз подчеркнута царем (и министром просвещения А. С. Шишковым).

Понятно, как встретила бы такая власть любую попытку сколько-нибудь объективного описания событий.

Декабристы же, со своей стороны, естественно, были «пристрастны» к описанию своей истории с прямо противоположных позиций. Они ожидали, конечно, от Пушкина близкой, своей идеи. Это усугублялось «социальной репутацией» поэта, тем, что многие его слова и мысли издавна толковались в крамольном смысле, даже когда это не имело оснований².

Бедствия каторги и ссылки, многолетняя оторванность от столичных центров культуры мешали даже лучшим декабристским умам охватить, оценить всю сложность пушкинского взгляда. Это же относится и к части радикальной интеллигии, оставшейся на волне. Н. М. Языков находит, например (20 сентября 1828 г.), что «стихи Пушкина «К друзьям» — просто дрянь: этими стихами никого не выхвалишь, никому не польстишь»³; распространяются слухи, будто «Стансы» поэт написал в кабинете Николая I.

¹ ЦГИА СССР, ф. 733, оп. 87, № 241, л. 9 об. 10. Ср. сходный разбор месяца в цензором П. И. Гаевским в кн.: Вадуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь умственные плотины, с. 242—243.

² См.: Лотман Ю. М. «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 342—343.

³ Языковский архив, т. I. СПб., 1913, с. 371.

Если бы декабристы могли представить пушкинскую точку зрения во всей полноте, они, надо полагать, все равно бы с ней не согласились, но по крайней мере не сводили бы позицию поэта к его личным ошибкам.

В 1828 году напечатанные «Стансы» и списки стихов «Друзьям», несомненно, попадают в Забайкалье, к недавним благодарным читателям пушкинских посланий «В Сибирь», «Мой первый друг...».

Отношение к поэту осложняется. Гениальные стихи и проза последнего десятилетия пушкинской жизни, конечно, находят отклик в душах читинских и петровских узников — но удаленность, разобщенность многому мешают. Пушкин все же остается для узников преимущественно поэтом «их времени»; они, видимо, больше всего ценят и помнят написанное до 1825 года¹.

Сравнительно малый отклик в письмах и сочинениях декабристов на пушкинские сочинения 1830-х годов, конечно, объясняется не только и не столько конспиративными соображениями и боязнью нанести ущерб похвалою.

Скупые отклики декабристов-литераторов полярны. Кюхельбекер, еще до прибытия в Сибирь, в своих крепостях-тюрьмах чувствует и понимает значение новых пушкинских творений. Пожалуй, никто из декабристов так верно и глубоко не оценивал великого поэта в последнее десятилетие его жизни. Сказалась и поэтическая натура самого Кюхли, и его невольная изолированность от коллективного суждения петровских каторжан (он десять лет оторван от товарищей!). В то же время Александр Бестужев на Кавказе, горячо оплакивая Пушкина как человека, друга, в основном не принимает новую манеру Пушкина-реалиста «с позиции романтика Марлинского»².

Это же обстоятельство, конечно, влияло и на оценки Пушкина другими «старыми почитателями».

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече...

¹ См.: Султан-Шах М. П. М. Н. Волкопская о Пушкине.— В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. М.—Л., 1956, с. 266—267; Цяловская Т. Г. Мария Волконская и Пушкин.— В сб.: Прометей, кн. 1. М., 1966, с. 68—69.

² В январе 1831 года Бестужев называет Пушкина писателем, «заблудившимся из XVIII века в наш»; в 1833-м находит, что Пушкин «спит на лаврах детского успеха», и т. п. См.: Мейлах Б. С. Пушкин и декабристы после 1825 года, с. 212—213.

Пушкинское «далече» многогранно. Всю необыкновенную сложность художественного и политического взгляда Пушкина друзья не могли постигнуть из тюрьмы за 7000 верст.

Зато часть декабристов напряженно следила за пребыванием поэта при дворе и болезненно преувеличивала степень его сближения с верховной властью.

Если даже близкий человек, Пущин, признает: «Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве; и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем»¹, — можно догадаться, что суждения других заключенных были еще более резкими. Мы не можем пройти мимо того факта, что Лунин в своих замечательных сочинениях 1836—1840 годов («Письма из Сибири», «Разбор Донесения следственной комиссии», «Взгляд на тайное общество в России» и др.) даже не упоминает о поэзии Пушкина как существенном факте русской мысли и культуры; хотя основная часть лунинских сочинений составлялась уже после гибели поэта, она, несомненно, отразила некоторые воззрения, выработавшиеся прежде... Неукротимый декабрист, искающий в «замерзшей» российской действительности 1830-х годов проблески жизни, деятельности, приметы истинности своих воззрений, — он не понял, не почувствовал того, что было записано позже другим современником (между прочим, тоже не прощавшим Пушкину его стихов, обращенных к царю): «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и муачий. <...> Поэзия Пушкина была залогом и утешением. Поэты, живущие во времена безнадежности и упадка, не слагают таких песен — они нисколько не подходят к похоронам»².

Д. И. Завалишин в уже цитированном воспоминании, написанном много лет спустя, приводит факты, требующие критического отношения, но неоспоримые как отголосок (пусть «сгущенный») действительного отношения к Пушкину этого декабриста, и, вероятно, не одного его: Завалишин утверждает, что на каторге «некоторые легковерные» имели «...несбыточные надежды, что в самом деле «братья меч им отдадут» и что, следовательно, в России есть продолжатели их дела, то им скоро пришлось разочароваться, когда увидели, что не только братья не отдали им меча, но и сам автор вступил на тот путь, за который осуждал Жуковского, и в то

¹ Пущин И. И. Указ. соч., с. 86.

² Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. VII, с. 214—215.

время, как писал нам послание, писал стансы («В надежде славы и добра...»), в которых клеймил именем «буйных стрельцов» тех самых людей, которых прежде возбуждал к крайним революционным мерам («Кинжал») своими стихотворениями, возбуждавшими ненависть и презрение к правительству, а своим посланием возбуждал к надежде, что последователи их «отдадут им меч»¹.

Запись Завалишина — ценное свидетельство насчет большого влияния пушкинских стихов на умы, однако общественную позицию поэта декабрист трактует весьма упрощенно. Он продолжает: «Пушкин не мог не сознавать, что было бы с его стороны вполне бесчестным уклоняться от действия, которое сам же всячески возбуждал, и от ответственности за оное». Далее говорится о «крайней изменчивости» поэта и утверждается, что «из наших товарищей далеко не все увлеклись его «Посланием» к нам, и люди более проницательные и знающие Пушкина ближе, даже приняли «Послание» с доверием, которое и не замедлило оправдаться»².

Так выглядит одно из крайних проявлений страстной, односторонней декабристской критики; известны подобные высказывания И. И. Горбачевского, других деятелей тайных обществ.

По всей видимости, знаменитый «Ответ» декабристов на пушкинское послание («Струн вещих пламенные звуки...») никогда не дошел к поэту; главной причиной тому было усилившееся после 1828 года непонимание, неприятие декабристами политической позиции позднего Пушкина.

Немалая удаленность и отчужденность Пушкина от небольшой, но столь исторически значительной общественной группы, как декабристы-каторжане, — еще одно печальное подтверждение одиночества, недостатка друзей и единомышленников, того «отсутствия воздуха», что испытывал Пушкин в последние годы.

Итак, подозрительный властям своими старыми связями, «неточными» суждениями (как в записке «О народном воспитании»), все более непонятный и для ссыльных декабристов — Пушкин продолжает, мучительно ошибаясь, экспериментируя, искать точный историко-художественный ответ о месте в русской истории 14 декабря и сопутствующих собы-

¹ Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1980, с. 246.

² Там же, с. 247—248.

тий. Его понимание истории, его многосторонность — все глубже и — труднее¹.

Противоречивые попытки «философского оправдания» эпохи²; «инстинктивная вера в будущее России»...

В конце 1820-х годов мы угадываем еще несколько полуоткрытых значительных усилий поэта на этом пути.

Коснемся двух примечательных замыслов.

ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Под этим условным названием в полное собрание сочинений Пушкина входит интереснейший черновой отрывок, начинающийся со слов: «4 мая 1825 года произведен я в офицеры в Ч~~ерниговский~~ полк. 6-го получил повеление отправиться в полк в Киевскую губернию в местечко В~~асильков~~, 9-го выехал из Петербурга» (VIII, 947).

Название знаменитого мятежного полка и «Киевскую губернию» Пушкин после зачеркивает, маскируя замысел, и продолжает: «Давно ли я был еще кадетом? давно ли будили меня в 6 часов утра, давно ли я твердил немецкий урок при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., делаю что хочу и скачу на перекладных в местечко Васильков, где буду спать до осьми часов и где уже никогда не молвлю ни единого немецкого слова» (VIII, 403).

Затем молодой прапорщик попадает на почтовую станцию, где не дают лошадей,— и он, покорившись необходимости, занимается рассмотрением картинок, украшающих «смиренную обитель»: «В них изображена история блудного сына»; «Они изображают погребение кота, спор красного носа с сильным морозом и тому подобное,— и в правственном, как и в художественном отношении не стоят внимания образованного человека». От нечего делать герой повествования осматривает округу, без успеха пытается вступить в беседу с ямщиком, что-либо почитать — и все повторяет: «Какая скуча! Какая скуча!»

Здесь текст обрывается. Молодой герой представлен автором добродушно-иронически (чего стоит глубокомысленная сентенция о предметах, не заслуживающих внимания

¹ См.: Тойбин И. М. Пушкин и философско-историческая мысль в России на рубеже 1820-х и 1830-х годов. Воронеж, 1980.

² Выражение П. В. Анненкова в кн.: Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 331.

«образованного человека»). Тоска и тишина, кажется, вот-вот должны нарушиться каким-то «вдруг», некоторым необыкновенным происшествием...

Но повесть останавливается.

Впервые ее заметил в черновых бумагах поэта еще П. В. Анненков и опубликовал значительные выдержки, не разглядев или, скорее всего, благоразумно обойдя декабристские приметы — Черниговский полк, Васильков. Пушкинист заметил только, что «отрывок писан или в 1825 году, или вскоре после того. Кисть Пушкина, вообще тонкая, легко узывается в нем»¹.

Позднейшие исследователи (П. А. Ефремов, И. А. Шляпкин) видели в этом тексте черновые наброски к «Станционному смотрителю», так как описание картинок о блудном сыне воспроизведено в «Повестях Белкина» почти без изменения: в рукописи «Станционного смотрителя» Пушкин, в соответствующем месте, так и пометил: «Из записок молодого человека» (то есть обозначил вставку из отрывка, уже сочиненного раньше).

Только в 1930 году Ю. Г. Оксман понял значение первоначального замысла «Записок молодого человека», еще независимого от «Повестей Белкина»: замысел истории 18—19-летнего офицера, который через семь месяцев окажется участником необыкновенных исторических событий².

Если 9 мая 1825 года «молодой человек» выехал из Петербурга, то примерно через неделю он явится в Васильков, представится командиру Черниговского полка Гебелью, и конечно же его пригласят потолковать о столичных новостях Сергей Иванович Муравьев-Апостол.

Пушкин знал Муравьевых, Пестеля, Бестужева-Рюмина, был знаком с гарнизонным бытом в украинских mestechках и хоть не встречал юных офицеров-черниговцев, но хорошо представлял этот тип: ведь молодой человек — ровесник Ипполита Муравьева-Апостола (младшего брата декабристов Сергея и Матвея Муравьевых), который как раз перед восстанием получит в Петербурге первый офицерский чин; правда, его не посылают в Васильков, но — сам поедет (в декабре 1825-го). Ю. Г. Оксман обратил внимание на то, что среди черниговских бунтовщиков было пять прaporщиков, вроде Александра Мозалевского: в 18 лет он стал подпрaporщиком,

¹ А нненков П. В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1855, с. 275.

² Оксман Ю. Г. Повесть о прaporщике Черниговского полка. (Неизвестный замысел Пушкина). — «Звезда», 1930, № 7, с. 217—222.

через 4 года, перед восстанием,— прапорщиком; кадетского корпуса, правда, не кончал, но там учились другие юные участники восстания, например разжалованный в рядовые Ракуза.

На какие же приключения обрекал Пушкин своего симпатичного героя?

Поэт ведь хорошо знал, что 29 декабря 1825 года Черниговский полк восстанет, команда Гебеля свергнут, изранят, часть офицеров скроется, а Сергей Муравьев вместе с братьями Ипполитом, Матвеем и еще несколькими офицерами-декабристами поведет сотни солдат в героический и безнадежный рейд по Киевщине. Через семь дней, 3 января 1826 года, восставших остановит картечь: погибнут солдаты, погибнет Ипполит Муравьев и еще два офицера, другие мятежники попадут в плен, в их числе раненый вождь восстания; через полгода ему суждено умереть на виселице...

Итак, юный пушкинский прапорщик, ожидающий свободы и удовольствий, конечно же попадет в переделку. «Замысел повести о декабристах,— отмечается в современном комментарии,— относится к числу тех планов Пушкина, осуществление которых было невозможно по цензурным соображениям»¹.

Здесь подразумевается, в первую очередь, параллель «Записок молодого человека» и X, сожженной главы «Евгения Онегина».

Оба сочинения, по-видимому, не окончены.

В X главе есть строки о Черниговском полке:

И Муравьев, его склоняя,
И полон дерзости и сил,
Минуты (вспышки) торопил.

Пушкин пробовал также варианты «союза торопил», «порывы торопил», «вспышку торопил», «минуты торопил» (VI, 525).

«Записки молодого человека» и X глава сочинялись примерно в одно время: принятая предположительная датировка «Записок» — 1829—1830 годы (VIII, 1058). На самом деле дату можно, вероятно, несколько отодвинуть назад; бумага, на которой писан черновик, наиболее часто встречается в 1826—1827 годах и ранее².

¹ Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти т., т. 6. М., 1975, с. 567.

² ПД, ф. 244, оп. 1, № 255; листы, на которых помещаются «Записки молодого человека», принадлежат к трем различным категориям бумаги — по нумерации Пушкинского Дома № 52, 244 и 82 (см.: Мод-

Датировки важны: «Записки молодого человека», как видим, сочинялись в период укрепления пушкинского историзма, «преодоления резкой оценочности — исторически сжатым и подчеркнуто бесстрастным повествованием»¹.

Разумеется, любая сколько-нибудь объективная, «спокойная» трактовка недавних событий не могла пройти в печать — но только ли этим объясняется остановка пушкинской повести и приобщение ее к другому сюжету, «Стационарному смотрителю»?

Можно ли считать замысел продекабристским, выполненным в духе тайных обществ?

Совокупность того, что мы знаем о Пушкине — «историке декабря», не позволяет делать таких предположений. Сложный, подлинно исторический, многосторонний, объективный, шекспировский подход — вот чего искал поэт в эти годы и что, естественно, должно было воплотиться и в «Записках молодого человека».

На обороте 1-го листа рукописи сохранился краткий план повести:

Смотритель
Прогулка
Фельдъегерь

Дождик
Коляска
Gentleman
Любовь

Родина

(VIII, 951).

Материал для догадок, конечно, невелик. Сохранившийся текст соответствует только двум пунктам плана — «Смотритель. Прогулка».

Что дальше?

з а л е в с к и й Л. Б., Т о м а ш е в с к и й Б. В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме, с. 101). Первый образчик бумаги — лист, вырванный из большой тетради (б. шифр ЛБ № 2364, ныне ф. 244, оп. 1, № 829). В той тетради записаны в основном сочинения 1817—1820 гг. Бумага № 52 характерна для пушкинских стихов, статей и заметок 1825—1826 гг. Наконец, на бумаге № 244 Пушкин как будто не писал позже 1827 года (стихи «Кто знает край...»).

¹ Л о т м а н Ю. М.— В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.— Л., 1960, с. 170.

На той станции, где тоскует герой повести, очевидно, вдруг появляется фельдъегерь, «царский гонец»: в заброшенную глушь врывается на краткое время мир политики, власти, секретных предписаний, арестов...

Неожиданная встреча с кем-то в «коляске» (на той же станции или после)¹ завязывает, вероятно, любовную линию.

Молодой прапорщик, как нетрудно заметить, имеет немалое сходство с другим, позднейшим пушкинским героем — Петром Андреевичем Гриневым: одинаково молодые, веселые, беспечные — они едут к месту службы, не подозревая, что попадут в жесточайшую переделку; оба перед началом испытаний влюбятся; оба излагают события в виде записок в первом лице; возможно, что «дождик» в плане «Записок» сродни бурану в «Капитанской дочки», и очень может быть, что молодой человек, как и Гринев, окажется «мятежником поневоле», стремящимся найти свое место в происходящем. Петербургский прапорщик, такой, как написан у Пушкина, вряд ли имеет какие-либо понятия об освободительных, декабристских идеях²: его представления о свободе — это спать «до осьми часов», не произносить «ни единого немецкого слова». Но в то же время он — добрый малый, знакомый с кадетской корпусной дружбой, — и сможет ли отступиться, отпраздновать труса, когда восстанут товарищи? Ему придется задуматься, очень и очень серьезно, непривычно, — где же истина, с кем родина (слово «Родина» в пушкинском плане — не о том ли?).

И еще одно сближение прапорщика и Гринева: по-видимому, обоих судьба сведет с мятежными вождями, пусть очень разными: Пугачев и Муравьев-Апостол — и тот и другой погибнут на эшафоте. Может быть, прапорщику суждено быть свидетелем этого, подобно тому как Гринев присутствует при казни Пугачева...

Еще и еще раз повторим, что эти рассуждения всего лишь гипотеза. Одним из оснований для сопоставления является, однако, то обстоятельство, что Пушкину в эти годы важен герой, находящийся, так сказать, вне сражающихся партий; молодой человек, сумевший сохранить себя перед властью и

¹ Два отчеркивания в плане, очевидно, «отбивают» главы или части повести.

² Впрочем, как напомнил автору В. Э. Вацуро, в том же петербургском кадетском корпусе некогда учился Рылеев, а Н. И. Греч уверял о декабристах, что «большею частью были в числе их воспитанники 1-го кадетского корпуса».

не потерять чести перед товарищами. Кроме Гринева, таков и стрелец (в плане «Повести о стрельце»), таков, вероятно, Пелымов в «Русском Пеламе» (о них еще речь впереди).

Таков сам Пушкин, старающийся (с успехом и потерями) найти подобную же максимально объективную позицию в связи с недавними и давними событиями.

Вряд ли поэт-историк брался бы за «декабристскую повесть», если бы совсем не надеялся довести ее до конца и, может быть, даже до печати. Формула из беседы с Алексеем Вульфом — «теперь уже можно писать и об 14 декабря» — важный ключ ко многим замыслам этой поры, в частности — к X главе «Евгения Онегина».

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

На нескольких страницах невозможно разрешить или даже перечислить все загадки и проблемы сожженной главы из пушкинской поэмы.

Наиболее интересный вопрос — о смысле, идеях зашифрованных строк и строф: они несомненно посвящены историиalexандровского царствования, несомненно обличают прежнего царя, «властителя слабого и лукавого»; безусловно представляют декабристов и их движение.

На этом основании многие исследователи и комментаторы находят, что «сожженная глава наиболее отвечает политическому мировоззрению поэта, продолжавшего и в 30-х годах оставаться верным декабристской идеологии; продолжавшего бороться с самовластием Николая I, с абсолютистско-бюрократической монархией, как он боролся в одних рядах с декабристами в эпоху аракчеевщины, возглавлявшейся «кочующим деспотом»¹.

Мы цитируем одно из самых массовых изданий, предназначавшееся для учителей средней школы, и позволим себе не приводить других сходных по мысли суждений насчет X главы в ряде научных и популярных изданий последних десятилетий.

Мысль о запретной, революционной по духу главе действительно имеет резон: не зря же Пушкин ее зашифровывал, скигал; дружественное упоминание о декабристах и резкие характеристики Александра I — материи как будто абсолютно запретные, крамольные...

¹ Бродский Н. Л. «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы. Изд. 3-е. М., 1950, с. 354.

Будущая X глава сочинялась в 1829—1830 годах, в период работы поэта над VIII (позже IX) песнью — «Путешествием Онегина». «Генетическая связь *Путешествия* и позже выделившихся «декабристских строф» X главы кажется несомненной.

Самые ранние следы десятой главы — это прочтенные С. М. Бонди шесть стихов (из XV строфы), записанные Пушкиным в марте 1829 года на русском издании «Айвенго»¹.

Таким образом, потаенная глава сочинялась в период максимальных пушкинских иллюзий пасчет Николая I и его политического курса; вскоре после стихов «Друзьям» и «Полтавы».

Как же совместить «декабризм» X главы с достаточно сложной исторической позицией поэта,— очевидно, не находившего противоречия между посланием «В Сибирь» и «Стансами»; между «Замечаниями на Тацита» и X главой?

Выскажем по этому поводу несколько соображений.

1. Прежде всего напомним интереснейшие наблюдения Ю. М. Лотмана о том, что конец 1820-х — начало 1830-х годов — «период напряженного интереса Пушкина к проблемам повествования от лица условного рассказчика. <...> Обращает на себя внимание, что оба основных замысла декабристского цикла «Записки молодого человека» и «Русский Целлам» писались от лица условных повествователей <...> Может быть, десятая глава задумана была как текст от лица Онегина?»²

2. Ключ к некоторым суждениям — уже частично цитированная запись А. Н. Вульфа от 16 сентября 1827 г.: «Играй на биллиарде, сказал Пушкин: <...> «Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — первом Курбского. Непременно должно описывать современные процессы, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14 декабря»³.

Ценность и большая точность записей Вульфа известны.

«История Петра I», о которой толкует с ним Пушкин, это в недалеком будущем — «Полтава», «Медный всадник», «История Петра». Что же касается «истории Александровой» в сочетании с «14 декабря» — то мы не знаем ни одного подоб-

¹ Цявловская Т. Г. Новые автографы Пушкина на русском издании «Айвенго» Вальтер Скотта.— Временик Пушкинской комиссии. 1963. М.—Л., 1966, с. 25—31.

² Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 414.

³ Пушкин в воспоминаниях современников, т. I, с. 416.

ного сочинения, кроме X главы. Именно там Александр I представлен «пером Курбского»¹.

Мы не настаиваем, что Пушкин говорит с Вульфом именно о потаенной главе «Онегина»: скорее речь идет об исторических мемуарах, записках, на которые потомки смогут «ссыльаться».

Однако «художественный вариант» истории у Пушкина обычно предшествует научно-публицистическому. Так, поэмы о Петре написаны прежде «Истории Петра»; «Капитанская дочка» задумана раньше «Истории Пугачева».

Десятая глава «Онегина» — это поэтическая тропа к истории своего времени, новым Запискам. О какой бы «истории александровой» ни говорил Пушкин Вульфу, общий дух сказанного, конечно, относится и к X главе «Евгения Онегина», строфы которой являются через полтора года после той беседы (а может быть, и ранее). И если так, то к будущим «декабристским строфам» тоже можно отнести пушкинское «Должно описывать... можно писать».

3. Несколько строф об Александре I, повторяем, немыслимая для печати крамола; ряд совпадений с декабристской критикой здесь несомненен. Особенно ценно в этой связи воспоминание Катенина, что Онегин «сверх нижегородской ярмонки и одесской пристани <...> видел военные поселения, заведенные гр. Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования...»²

Не следует, однако, преувеличивать «декабристский тон» поэта и в строках об Александре: личная неприязнь Пушкина к покойному царю известна; при этом разного рода критика в адрес системы Александра высказывалась не только в революционных, но и в придворных кругах³. Николай I был, несомненно, зол на старшего брата за его политику, за инертность в отношении заговорщиков, за двусмысленную игру с престолонаследием и т. п. К тому же при всей объективности декабристской резкости строк о «властителе слабом» не забудем, что в них скрыта и антитеза — *Александр — Нико-*

¹ Любопытна запись Пушкина (1829 г.), что Ермолов в беседе с ним «о записках кн. Курбского говорил... соп апоге» (с увлечением) (VIII, 446). Вероятно, поэт и полководец согласно мечтали об истории недавнего времени, писанной «пером Курбского».

² См.: Попов П. А. Новые материалы о жизни и творчестве А. С. Пушкина.— «Литературный критик», 1940, № 7—8, с. 231.

³ См.: Шильдер Н. К. Император Александр I, т. 3. СПб., 1897, с. 277—279.

лай; та самая, которая была очевидной для всех, читавших стихотворение «Друзьям» и некоторые другие пушкинские сочинения: Александр — «враг труда»; Николай — Россию «оживил войной, надеждами, трудами».

Последние строки подразумевают, копечно, и того, кто правил прежде не «бодро и честно», а «слабо и лукаво». Александр сослал поэта — «текла в изгнанье жизнь моя...». Николай

...царственную руку
Простер — и с вами снова я.

Итак, характеристики Александра «в духе Курбского» сложны по своему происхождению и восходят как к декабристским, так и совсем к иным оценкам:

4. Доброжелательное, дружеское сочувствие декабристам в сохранившихся строках X главы — тоже явление не столь простое, идеологически ясное, как это порою представляется.

Н. И. Тургенев, как известно, сильно огорчился, получив в 1832 году от брата Александра потаенную строфу о «хромом Тургеневе», который

Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

«Сообщаемые Вами стихи о мне Пушкина,— отвечал он брату,— заставили меня пожать плечами. Судьи, меня и других осудившие, делали свое дело: дело варваров, лишенных всякого света гражданственности, цивилизации. Это в натуре вещей. Но вот являются другие судьи. Можно иметь талант для поэзии, много ума, воображения, и при всем том быть варваром. <...> Для меня всего приятнее было бы то, если б бывшие мои соотечественники вовсе о мне не судили, или, если хотят судить, то лучше, если б следовали суждениям Блудовых, Барановых, Сперанских и т. п. Если те, кои были несчастливее меня и погибли, не имели лучших прав на цивилизацию, нежели Пушкин, то они приобрели иные права пожертвованиями, страданиями, кои и их ставят выше суждений их соотечественников»¹.

Комментируя это место, исследователи обычно пишут об ошибке декабриста-эмигранта, который не разглядел истинного смысла присланной строфы; Александр Тургенев, отвечая на гневные строки брата, соглашался только с «варварством» Пушкина в отношении Польши,— «но в стихах о тебе

¹ «Журнал министерства народного просвещения», 1913, март, с. 17—18.

я этого не вижу и вообще в его мнении о тебе много справедливого»¹.

Вряд ли, однако, дело объясняется только близорукостью Н. И. Тургенева: прежде он резко порицал поэму Пушкина «Полтава»; позже, в книге «Россия и русские», критиковал официальное «Донесение следственной комиссии» словами, близкими к только что приведенной оценке X главы: «Постыдное легкомыслие, преступная неточность. <...> Эти благородные люди, погибшие вследствие своей преданности общественному благу или своим убеждениям; в России было суждено увидеть их гибель при шуме шуток и эпиграмм, нославших их на смерть»².

Перед нами определенная линия, точка зрения декабриста. Н. И. Тургенев, хоть и пытавшийся в эмиграции представить заговор 1820-х годов сравнительно безобидным и законным, сохраняет при том старинные идеалы и пристрастия. Он не желает никаких «шуток и эпиграмм», болезненно чувствует и пушкинскую насмешку, недоволен теми строками X главы, которые явно по сердцу его брату, а также Вяземскому (воскликнувшему: «славная хроника!»).

Можно, конечно, сказать, что немногие читатели, которых Пушкин познакомил с потаенными строфами, разобрались в них лучше, чем Николай Тургенев; но вернее было бы предположить, что тут сказалась разница взглядов, идеологических установок «декабриста с декабрем» — Николая Тургенева — и «декабристов без декабря», то есть лиц более умеренных, отрицающих революционные методы.

Когда 80 лет спустя X глава была расшифрована и понята (благодаря работам П. О. Морозова, Н. О. Лернера, С. М. Бонди, Б. В. Томашевского), не одному исследователю высказывания поэта о деятелях 14 декабря показались ироничными или, точнее, сочувственно-ироничными. Н. О. Лернер писал, например, что «когда в печати появились фрагменты X главы «Евгения Онегина», в которой говорилось о декабристах, все читатели были немало удивлены резкостью отзыва Пушкина об этих деятелях»; сам Лернер находил в строках поэта о декабристах-северянах « нескрываемую и не-заслуженную ими иронию»³.

¹ «Журнал министерства народного просвещения», 1913, март, с. 18.

² Тургенев Н. И. Россия и русские, ч. 2 (Библиотека декабристов, вып. 5). СПб., 1907, с. 157, 159.

³ Цит. по ст.: Гессен Сергей. Источники десятой главы «Евгения Онегина». — В сб.: Декабристы и их время, т. 2. М., 1932, с. 132.

Подобные оценки X главы кажутся преувеличенными, односторонне заостряющими один мотив; позже, однако, взгляд большинства пушкинистов на «декабристскую главу» меняется: повышение авторитета декабристов в общественном сознании, литературе, науке, обнародование новых фактов об отношениях поэта с первыми революционерами — все это очевидно повлияло на некоторые выводы в сторону «усиления» пушкинского декабризма, порою — немалого упрощения реальных связей.

Задача восстановить истинное воззрение поэта крайне деликатна и сложна (особенно при постоянной неясности того, насколько совпадают текст X главы и собственно авторская точка зрения).

Преувеличить декабризм поэта столь же легко, как преуменьшить. Касаясь революционной интерпретации X главы, современный исследователь замечает, что «с ней трудно согласиться. Этому противоречит как весь облик героев, так и понимание Пушкиным в конце 20-х годов характера движения декабристов»¹.

К этому справедливому суждению можно сделать некоторые дополнения.

Две стороны постоянно сплетаются в стихотворном рассказе Пушкина: первая — серьезная, вторая — насмешливо-ироничная.

Серьезно говорится о том, что тайные общества родились не случайно; недаром в X главе были строфы о военных поселениях (до нас не дошедшие), а также о Семеновском бунте, «присмиревшей России»; в строфе о Николае Тургеневе названы «плети рабства» (вариант: «цепи рабства»), мелькнула строка об «освободителях крестьян».

Цели, мотивы декабристов в X главе представлены также, как прежде и позже: они благородны, органичны,озвучены духу времени.

Иное дело — средства к достижению цели. Именно здесь — главное, с годами увеличивающееся расхождение поэта с членами тайных союзов. Восстание, заговор, бунт, надежды мятежников на легкость всеобщей перемены: Пушкин сам прошел через все это и недаром самого себя в X главе приводит на стариинную «сходку».

Жизнь показала несоответствие, невозможность тех

¹ См.: Лотман Ю. М. К эволюции построения характеров в романе «Евгений Онегин». — В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III, с. 170.

средств, которыми думали победить декабристы: противоречие между высокой целью и «необъятной силой вещей», между тем, что желалось, и — реальностью, «низкой существенностью».

Несоответствие это имело как трагическую, так и комическую сторону. Трагедия — это итог, столкновение неравных сил, гибель, каторга, ссылка. Трагедию 14 декабря Пушкин всегда чувствовал, а виселица с подписью «и я бы мог...» — одно из многих тому подтверждений.

Но в то же время, как честный, многосторонний историк, поэт постоянно глядит на события и из своего настоящего, и из *того, минувшего времени*. Вспоминая 1817—1820 годы, когда гибель, расплата за трагическое несоответствие еще далеки, но разлад цели и средств уже налицо, Пушкин находит повод для иронии, насмешки, что, как видим, отлично почувствовал Николай Тургенев.

Итак, серьезно — о целях; с добродушной улыбкой — о старинных, идиллических надеждах. Подчеркивание «хромой Тургенев» — уже имеет легкий иронический оттенок, намек на слабость, недостижимость...¹ «Толпа дворян» — сочетание, конечно, уничижительное, противоречащее тургеневскому «предвидению», будто это «освободители крестьян»: толпа не может справиться с таким великим делом — нужна «когорта», «рать» или что-нибудь в подобном же возвышенном роде!..

Та же добродушная улыбка над незрелыми мечтаниями и проектами в известных строках:

Спачада эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов...

Сохранившиеся фрагменты X главы не достигают трагической кульминации 1825—1826 годов. Однако даже по известному тексту видно, как меняется, ломается тон, когда описание касается последних лет перед взрывом. В XVI стро-

¹ В Болдине, почти одновременно с зашифровкой и сожжением X главы, был надолго скрыт (густо зачеркнут) и совсем другой текст, где тоже, но более жестко, обыгрывался физический недостаток другого уважаемого Пушкиным человека: «Крив был Гнедич поэт...» и т. д.

фе потаенной главы, где речь идет о южанах, улыбки уже нет: звучат серьезнейшие слова-символы — «рать», «тиран», «дерзость», «сича»...

Итак, строки и строфы X главы — *о декабристах, но не «декабристские»*. Это еще один опыт пушкинского историзма. Это еще пример сложного взгляда, для определения которого недостаточно прямолинейно выяснить — поэт «за» или «против» Тургенева, Якушкина, Пестеля?

Разные, даже противоположные мотивы — вместе; о декабристах — сочувствие, ирония — вместе; о царях: обличение — и притом пощимание «необъятной силы вещей». Все элементы вместе, а не одни мотив, произвольно взятый!

Пушкин считал, что можно уже писать о 14 декабря, и начал «Записки молодого человека», X главу. Выяснилось, одпако, что писать нельзя: царь не пропустит, Николай Тургенев осудит...

Между прочим, в литературе обсуждался вопрос насчет записи А. О. Смирновой-Россет, свидетельствующей, что Пушкин представил императору «10-ю главу», а царь специально переслал этот текст на просмотр самой Смирновой. Этот факт был подкреплен и уточнен исследователем, который полагал, что немыслимо представить Николая I, знакомящегося с полным текстом X главы (в том числе с «властителем слабым и лукавым»)¹. И. М. Дьяконов высказал мнение, что Пушкин передал в 1831 году высочайшему цензору не X, а «подцензурный вариант VIII (будущей IX главы), однако сокращенный еще не до состояния «Отрывков из путешествия Онегина»². Ю. М. Лотман напоминает: «Мы не можем выяснить, что Смирнова называла X главой и в какой мере известный ей текст пересекался с тем, что знаем об этой главе мы»³.

Наиболее смелое допущение по этому поводу было сделано С. М. Бонди, который в беседе с А. О. Герbstманом заметил, что «в представленных поэтом Николаю «Стансах» и позднее — в «Медном Всаднике» образ Александра дан в резко отрицательном плане; из этого следует, «что Пушкин мог вручить царю X главу в «полном виде»⁴.

¹ Герbstман А. О. Судьба десятой главы «Евгения Онегина». — Ученые записки Казахского гос. университета, т. 25. Алма-Ата, 1957, с. 109—122.

² Дьяконов И. О восьмой, девятой и десятой главах «Евгения Онегина». — «Русская литература», 1963, № 3, с. 59.

³ Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин», с. 394.

⁴ Герbstман А. О. Указ. соч., с. 122.

Не вдаваясь в подробности, отметим немалую вероятность того, о чем говорил С. М. Бонди: поднесение царю полной (или несколько «усеченной») X главы было бы в этом случае действием, похожим по типу на вручение царю (1835 г.) пушкинских «Замечаний о бунте» — секретного приложения к «Истории Пугачева». Пушкин мог попытаться внушить царю мысль о возможности, безопасности подлинно исторического подхода, так же как в записке «О пародном воспитании» призывал «не хитрить, не исказять республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря...».

Если царь прочитал и запретил, тогда Пушкин оказывался в тяжелом положении: любой фрагмент главы, попавший в публику, был бы свидетельством нарушения царского приказа.

Последние строки — гипотеза, более чем зыбкая, и она выдвигается только в связи с документально засвидетельствованной пушкинской иллюзией, будто уже можно писать о 14 декабря.

5. Еще одно соображение о «декабризме» X главы связано с тем, как поэт представлял дальнейшую судьбу своего героя.

Как известно, летом 1829 года он рассказывал М. В. Юзевовичу и другим слушателям, «что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов»¹.

Отсюда видно, что декабристские варианты судьбы героя представлены Пушкиным как пройденные, отставленные².

Изучение черновиков поэта позволило Ю. М. Лотману с большой точностью определить тот момент, когда Пушкин «отказывает» Онегину в декабристском пути и решает сделать его тем, кем он и станет в последней главе поэмы. Решение Пушкина созрело при работе над седьмой главой, оконченной 4 ноября 1827 года: первоначальный черновик, посвященный библиотеке Онегина, содержал перечень книг, характерный для передового, прогрессивно мыслящего человека — если не декабриста, то близкого к ним. Затем, однако, Пушкин сужает «круг чтения» героя, делает набор книг обычным,

¹ Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2. с. 107.

² См.: Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин», с. 393. Те, кто был отправлен в 1826 году на Кавказ за связь с тайными обществами, но без разжалования, были, вероятно, для Юзевовича не декабристами (в отличие от сосланных в Сибирь).

повседневным, модным. Соответственно снижается и сам Онегин¹.

Таким образом, занимаясь в 1829—1830 годах X главой, Пушкин уже не видит в своем герое революционера-сырьильно-го. Тем контрастнее мотив потаенных строф: очень характерный для Пушкина многомерный взгляд на вещи — рассказ о декабристах, но герой уже не декабрист.

6. Последнее соображение насчет идей X главы — это сам факт перехода ряда строк из нее в стихотворение «Герой», написанное онегинской строфой (конец октября 1830 г.): П. О. Морозов в начале XX века нашел ключ к зашифрованному листу X главы, узнав там строки этого известного стихотворения.

В VIII строфе десятой главы о Бонапарте говорится:

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исchezнувший как тень зари...

Дальше, очевидно, шли строки о последних днях Наполеона на далеком острове; но ведь такой отрывок имеется все в том же стихотворении «Герой» (па «расстоянии» 17—18 строк от четверостишия, почти совпадающего с X главой). Мало того, в подозреваемом месте стихотворения мелькает еще небольшая цитата из «Онегина»; среди шифрованных строк X главы есть одна (ни с какими другими не связанныя) — «измучен казнию покоя». А в стихотворении «Герой» —

...там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает, недвижим,
Илацом закрывшись боевым.

Не находится ли здесь продолжение VIII строфы, тем более что в «онегинской строфе» во втором четверостишии — смежные рифмы, такие, как в этом отрывке из «Героя»:

покоя
героя
недвижим
боевым.

В общем, весьма вероятно, что в X главе было так:

¹ См.: Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин», с. 316—317.

Измучен казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает, недвижим,
Шлающим закрывшись боевым.

В некоторых изданиях «Евгения Онейкина» это четверостишие осторожно вводится в текст, в других — отсутствует. Между тем уровень нашего знания о потаенной главе пока еще вполне допускает научные гипотезы, и, кажется, можно более уверенно прибавить к шестнадцати четверостишиям (и одной черновой строфе) еще четыре строки.

Если же решимся — сразу заметим нечто любопытное; интересное сопоставление Наполеона и Александра I — двух монархов, противостоявших друг другу в 1812 году: царь — «нечаянно пригретый славой», Бонапарт — «осмеян прозвищем героя». Тут приоткрываются интереснейшие размышления Пушкина о главных героях и «действователях».

При этом нельзя забывать, что в «Герое» явное сравнение с Наполеоном и скрытое с Александром затеяно «в пользу» Николая I.

Фиктивная дата под стихотворением («29 сентября 1830 г. Москва») обращена к смелому, эффектному приезду именно в этот день царя в охваченную холерой Москву. При всей сложности и высоком строе гуманных мыслей стихотворения «Герой», не следует забывать того, что Пушкин, скрывая свое авторство (оно открылось только после смерти поэта), опасался снова заслужить упреки *слева*, как после «Стансов». Общий тон стихотворения — одобрение царского поступка, но при том — призыв сохранить душу, «сердце»; снова, как и прежде, — призыв к милости. В стихах «Друзьям» листец

...из его державных прав
Одну лишь милость ограничит...

Здесь —

Оставь герою сердце; что же
Он будет без него? Тиран!

Итак, «Герой» — пусть с большими оговорками и уточнениями — все же может быть поставлен в ряд «стихов-примирений», вслед за «Стансами» и «Друзьям».

Использование именно в таком стихотворении строк из X главы — очень симптоматично. Если Пушкина этой поры считать «горячим декабристом», то подобный переход странен, малопонятен.

Если же исходить из пушкинского историзма, тогда деся-

тая глава и «Герой» так же соотносятся, как послание к Пущину и «Стансы»; как послание «В Сибирь», «Арион» — и стихи «Друзьям».

* * *

К началу 1830-х годов прямые попытки Пушкина написать о 14 декабря почти прекращаются (исключение — наброски к повести «Русский Пелам»).

Во-первых, все очевидней становилась цензурная невозможность, явное нежелание власти следовать совету поэта — «с хладнокровием показать разницу духа народов... не хитрить».

Во-вторых, и это главное, Пушкин постепенно переносит свои исторические занятия на более широкие и более отдаленные пласты российской жизни: «История Пугачева», «Медный Всадник» ведут к осознанию целых столетий. Среди новых научных и художественных откровений «14 декабря» не исчезает, но включается, подразумевается как один из элементов «большой истории», как важная частность в более общих оценках.

Мы знаем интереснейший поздний план повести о «Пелымове» (1835 г.), где снова — декабристы и их время¹, хорошо помним отдельные пушкинские намеки или косвенные суждения о декабристах в 1830-х годах — когда он «милость к падшим призывал»; когда у него Петр Великий «прощенье торжествует, как победу над врагом».

Понимая благородный, гуманный смысл подобных пушкинских призывов — переменить, облегчить участь осужденных, — еще раз подчеркнем, что главный разговор о 14 декабря продолжался в эту пору в главных пушкинских сочинениях о России: «Медном Всаднике», «Капитанской дочке», «Истории Пугачева».

¹ См.: Романов И. М. Эволюция пушкинского замысла романа о Пелымове.— «Русская литература», 1981, № 4; Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836), Л. 1982, с. 330—338; 341—344.

ГЛАВА V

«ЗАМЕЧАНИЯ О БУНТЕ»

Времена стоят печальные...

Когда Пушкин впервые подступился к Пугачеву?

Вопрос не праздный (и, как недавно обнаружилось, еще требующий серьезных уточнений¹): ведь определение года и месяца обрисовывает ту историческую обстановку, в которой этот замысел формировался. Мы, понятно, не собираемся из хронологии механически выводить главные черты «Капитанской дочки», «Истории Пугачева»; помним, что всякое значительное произведение «пишется всю жизнь» (В. Шкловский), — но притом все же падеемся на немалую помощь точных дат.

Долгое время считалось, что сначала Пушкин работал над «Дубровским» (осень 1832 — февраль 1833 года) и только в конце января 1833 года появился план «Повести о Шванвиче» (будущей «Капитанской дочки»). Однако недавно Н. Н. Петрунина окончательно установила, что «Шванвич» задуман еще раньше «Дубровского» — «не позднее августа 1832 года, может быть и ранее»².

Таким образом, некоторое время в мыслях поэта как бы сосуществовали два замысла, где в центре был народный бунт и вовлеченный в него дворянин. «Повесть о Шванвиче», — замечает исследовательница, — на определенном этапе подвела Пушкина к «Дубровскому». Опыт же художественной работы над «Дубровским» вернул поэта к повести о

¹ Ср. Оксман Ю. Г. Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка». — В кн.: Пушкин А. С. Капитанская дочка. (Литературные памятники). М., 1964, с. 149—208; Бонди С. М. История заполнения «Альбома 1833—1835 годов». — В кн.: Рукописи А. С. Пушкина, Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 годов. М., 1939, с. 17; Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник». История текстов. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960, с. 279—282; Петрунина Н. Н. У истоков «Капитанской дочки». — В кн.: Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974, с. 73—123.

² Петрунина Н. Н. У истоков «Капитанской дочки», с. 74.



Шванвиче и вместе с тем заставил его искать новых путей для разработки старого замысла»¹.

В одном случае героям становился исторически реальный Михаил Александрович Шванвич, про которого Пушкин узнал из «Сентенции», официального правительенного сообщения о Пугачеве и пугачевцах², — и действие повести сразу же определялось 1770-ми годами; в другом же произведении вымышленный Владимир Андреевич Дубровский, — судя по черновику — попадал сначала примерно в ту же

¹ Петрунина Н. Н. У истоков «Капитанской дочки», с. 82.

² «Подпоручика Михаила Шванвича за учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу» (IX, 190).

эпоху¹, но затем Пушкин сделал датировку более неопределенной и явно приблизил повествование (по языку, бытовым подробностям) к своему времени².

В литературную предысторию «Капитанской дочки» спрашевливо включают и повесть Загоскина «Юрий Милославский» (1829), и «Ламмермурскую невесту» Вальтера Скотта (1818), а также другие сочинения, где есть сходные сюжетные мотивы, вообще характерные для тогдашней исторической романистики³.

Прерывая здесь на короткое время последовательное изложение, посетуем, что множество авторов, в том числе самых авторитетных, находивших разные заимствования Пушкина из многих русских и европейских прозаиков, поэтов, почти не касались важнейшего вопроса: как в пушкинскую пору смотрели на такое использование чужого мотива, темы?

В любом случае — не так, как сегодня; там, где литератор и читатель XX столетия удивляются или даже огорчается «несамостоятельности» любимого мастера, — Пушкин и его современники не только не найдут ничего предосудительного, но охотно вступят в соперничество с предшественником в разработке какого-либо известного сюжета, распространенного мотива; и если современный литературовед, сравнивая байроновского «Дон Жуана» и «Евгения Онегина», станет порою защищать оригинальность Пушкина с излишним усердием, то сам Пушкин, по всей видимости, от подобной защиты отказался бы, охотно бы согласился насчет своего немалого сознательного «подражания» англичанину — и свое видел бы как раз в новой смелой разработке того же канона...

Междур прочим, было очень смело — представить на суд русского читателя 1830-х годов, сильно увлеченного «Юрием Милославским», новую повесть, где был «тот же» буран, захвативший в пути главного героя и слугу, «та же» неожиданная встреча с «разбойником-вожатым», сходные препятствия на пути влюбленных и т. п.

Понятно, это было сознательное соревнование в освоении

¹ О Кириле Петровиче Троекурове и Андрее Гавриловиче Дубровском: «Славный 1762 год разлучил их надолго...» (VIII, 755).

² В начале повести в конце концов оказалась фраза: «Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров». Однако отдельные реалии конца XVIII столетия Пушкин не устранил, отчего в некоторых местах рукописи приметы «века нынешнего» столкнулись с минувшим. См.: Соболева Т. П. Повесть Пушкина «Дубровский». М., 1963, с. 18—20.

³ См.: Петрунина Н. Н. Указ. соч., с. 104—112.

темы очень важной, «висевшей в воздухе» — и оттого притягивавшей разных мастеров разного дарования. Речь идет об исторической стихии, о поведении просвещенного человека среди «волненья бурь народных»... Понятно, кроме литературных истоков пушкинского интереса к Пугачеву, были обнаружены, изучены историко-политические влияния. Много и верно говорилось о том, что «холерные бунты», восстания военных поселян, потрясшие страну в 1831 году, подтолкнули поэта к серьезным размышлениям о народной стихии, о причинах, идеологии, судьбах крестьянских войн; однако как же обстояло дело с фигурами вроде Шванвича, Дубровского — с теми дворянами, что оказывались волею судеб в лагере крестьян-мятежников?

Вот что пишет по этому поводу Н. Н. Петрунина: «Вполне вероятно, что в Москве Пушкин, обычно «еще до печати» читавший П. В. Нащокину свои произведения, рассказал другу о живо заинтересовавшем его факте сотрудничества дворянина из «хорошей фамилии» с Пугачевым — факте, казавшемся особенно загадочным на фоне недавних бунтов в новгородских военных поселениях. В ответ он услышал от Нащокина историю белорусского дворянина Островского, «который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить, сначала подьячих, потом и других».

В другом месте исследовательница еще раз повторяет: «В свете холерных бунтов 1830—1831 гг., сыгравших важную роль в творческом генезисе «Капитанской дочки» и «Дубровского» и вновь подчеркнувших всю глубину антагонизма между дворянами и «черным» народом, возможность такого сотрудничества казалась маловероятной»¹.

На самом же деле историческая ситуация была сложнее. Пугачевское время действительно давало примеры добровольного или вынужденного сотрудничества отдельных дворян с повстанцами; однако эти частности, разумеется, «не делали погоды», и Пушкин, при случае, подчеркнет, что в ту пору «одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сторонники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, по выгоды их были слишком противоположны... Шванвич один был из хороших дворян» (IX, 375)².

¹ Петрунина Н. Н. Указ. соч., с. 79.

² Пушкин не знал, что отец Шванвича не родился потомственным дворянином, но вошел в «благородное сословие» благодаря успешной службе.

Дело было не в количестве белых ворон, перебежчиков из дворянского сословия, но в той возможности, тенденции, которая при том выявлялась: и если так, то одного или нескольких характерных случаев было вполне достаточно для существенных предположений. Тем более важными могли показаться Пушкину подобные же, пусть единичные эпизоды не из дедовских 1770-х, но из своих 1830-х годов.

Такова была недавно случившаяся история мелкого белорусского дворянина Островского; таковы были и другие, исторически более значительные примеры парадоксального объединения в протесте мужика с барином. 14 декабря 1825 года, конечно, не похоже на бунты 1831-го, но все же и тогда ведь «лучшие дворяне» вывели солдат с целью ниспроповержения «своего», самодержавно-крепостнического строя; и тогда чернь явно сочувствовала мятежному каре,— что заставляло многих задуматься: а как бы пошло дело, если бы декабристы «кинули клич» (мы еще не раз вернемся к этой возможности, которая Пушкина очень занимала)?

В 1831 году тоже возникали эпизоды «дворянин с народом», которые, при всей своей исключительности, были по-эту-мыслителю чрезвычайно интересны. Такова история инженерного полковника Панаева, поневоле оказавшегося во главе бунта новгородских военных поселен¹.

Пушкин, очевидно, его имел в виду, когда писал о «жандармском офицере», взявшем власть над мятежниками (см. XII, 200); о том, что, «убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных» (XIV, 205).

Новгородский и старорусский бунты кажутся Пушкину «бессмысленными и беспощадными»; пугают как угроза его цивилизации... Присматриваясь к разбушевавшейся народной стихии, он понимает, что у тех — своя правда, свое право, свой взгляд на добро и зло, выработанный барщипой, розой и рекрутчиной.

Отдельные перебежчики из правящего лагеря кажутся предвестниками будущих, куда больших успехов народного возмущения.

Однажды великий князь Михаил Павлович рассуждает об отсутствии в России tiers état (третьего сословия), «вечной стихии мятежей и оппозиции». Пушкин возразил: «Что касается до tiers état, что же значит наше старинное дворян-

¹ См. в моей книге: Герцен против самодержавия. М., 1973, с. 198—210.

ство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много» (Дневник, запись от 22 декабря 1834 года. XII, 335).

Мысль, что образованное меньшинство, составив революционную партию, может максимально усилить «первое новое возмущение», конечно, обдумана задолго до разговора с Михаилом.

Четверть века спустя А. И. Герцен запишет: «Первый умный полковник, который со своим отрядом примкнет к крестьянам вместо того, чтобы душить их, сядет на трон Романовых».

Пушкин же все более интересуется каждым случаем такого рода — дворянами и офицерами, которые меняли лагерь и уходили к Пугачеву или другим бунтовщикам.

Михаил Шванович, сын кронштадтского коменданта, служивший Пугачеву и затем навсегда отправленный в Сибирь (пушкинский Алексей Швабрий); реально существовавший капитан Башарин, захваченный Пугачевым (при взятии крепости Ильинской), пред виселицей, по просьбе своих солдат, помилованный и вынужденный служить крестьянскому императору. Одно время он заменит Шванвича в предварительных планах «Капитанской дочки»¹, но в более поздних набросках будет вытеснен вымышленным Валуевым (он же Петруша Гринев); снова вспомним реального дворянинаТорбина Островского и литературного — Дубровского, поставим рядом настоящих или фiktивных вождей военных поселен «из жандармов, коммуникационных, инженеров...».

Дворяне на стороне восставшего народа; ясно очерчены два типа: бунтовщик *своей охотой* или мятежник поневоле.

Эти сложнейшие социально-психологические ситуации, как отмечалось в ряде исследований, были для Пушкина необходимы, чтобы поставить «вопрос вопросов» — о прошлом, настоящем и будущем народа, просвещенного дворянства, власти; куда реже рассматривалась одна, особенная причина этих поисков: влияние внутренних, личных мотивов самого Пушкина на «формирование» его героев,— и мы попробуем в том разобраться чуть позже, в VIII главе. Пока же вернемся к исторической связи 1830-х и 1770-х годов.

¹ См.: Петрунина И. Н. Указ. соч., с. 84—90.

Пугачевское время, несомненно, давало Пушкину большие простора для архивных изысканий, общих исторических рассуждений, нежели педавния современность; по притом пушкинскому «шекспировскому» историзму решительно претил аллюзионный метод, когда рассказ о восстаниях в 1770-х годах целиком сводился бы к прямолинейным намекам на последние бунты: для поэта важно, что существовала действительная, не умозрительная историческая связь; преемственность *тех и этих* событий, когда взаимодействие прошлого и современного обнаруживается как бы само собою.

Дистанция в 60 лет достаточно велика для уяснения — что и в какую сторону переменилось, но достаточно мала, чтобы сохранились основные действующие исторические силы, главные «проклятые» вопросы о крепостном праве, самодержавии.

ЧЕРЕЗ 60 ЛЕТ

Бунты 1831 года явились особым «введением» к «Истории Пугачевского бунта», а также — к секретным пушкинским «Замечаниям о бунте», опубликованным только через несколько десятилетий.

Чрезвычайное сходство 1770-х годов с 1830-ми было замечено, конечно, не одним Пушкиным¹, но вряд ли еще хоть один человек в стране мог представить, что вскоре «История Пугачева» будет написана и напечатана.

Тема Пушкин — Пугачев изучена неплохо, и последовательность событий в общем ясна.

Пушкина допускают в архивы, но первоначальный план — писать «Историю Петра» — вскоре откладывается на несколько лет, мысли постепенно возвращаются к недавним событиям. Шванович — Дубровский — снова Шванович; литературный интерес к пугачевским временам ведет поэта к историческим занятиям. Высказывались мнения, что «знакомство с архивными источниками, характеризующими начальный период восстания, дало новое направление творческой мысли Пушкина»; что у Пушкина, возможно, возникла «в процессе изучения архивных документов мысль предпослать будущему роману историческое введение о событиях крестьянской войны 1773—1775 гг., на фоне которой развертыва-

¹ Юный Лермонтов в это время пишет повесть «Вадим», где действие происходит во время «пугачевщины». См.: Пушкин. Исследования и материалы, т. IX. Л., 1979, с. 166—167.

ется повествование... И лишь позднее это введение переросло в самостоятельное историческое исследование о пугачевщине, которое по своей проблематике далеко вышло за рамки первоначального замысла»¹. Эти верные соображения хотелось бы только связать с особенностью пушкинского таланта, позволявшего взглянуть на события и «со стороны науки», и художественно; сам поэт это ясно сознавал, так же как и отличие своего подхода от предшествующей традиции.

В январе 1830 года Пушкин написал и тогда же напечатал в «Литературной газете» следующие слова: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Свою критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. <...> Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи» (XI, 120).

Как видим, поэт ощущает грань времен; конец одной эры писания истории — и начало совсем иной. *Последний летописец* — эти слова означают, что карамзинская манера, особое сочетание современной науки и старинной «иноческой простоты», более невозможны, уходят в прошлое.

Будущее за серьезной исторической критикой — Пушкин это ясно видит, но притом не скрывает сожаления об исчезновении «неизъяснимой прелести древней летописи». Поэт даже как будто завидует Карамзину, который мог еще *так* писать; и Пушкин бы хотел, но нельзя, поздно — эпоха другая, проблемы иные... Он работает над «Историей Пугачева» и над «Капитанской дочкой» отдельно, тогда как «по-карамзински» тут требовалось бы единое историко-художественное повествование.

Прервав работу над ранними планами «Капитанской дочки», оставив «Дубровского», Пушкин с начала 1833 года принимается уже за «Историю Пугачева». Одновременно, в переплетении с темой «1770 — 1830-е» (народный бунт тогда и теперь), появляется мотив «1790—1830-е годы»: Радищев, дворянская революция².

Известно, что, пока книга не была готова, Пушкин продолжал маскировать свои намерения: боялся, как бы на Пу-

¹ См.: Петрунина И. Н. Указ. соч., с. 84, 91.

² См.: Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина до «Записок охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959, с. 42—52, 73—76.

гачева, «преданного всякому проклятию», не наложили полного запрета. Отъезд в пугачевские края — Поволжье, Урал — был объяснен властям подготовкой нового романа, «коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани» (XV, 70). Как недавно установлено, Пушкин мистифицировал начальство нарочито неверными ссылками на свои архивные изыскания в Оренбургском, Нижегородском и других местных архивах, в то время как примерно 80 процентов материала для книги были «потихоньку» добыты из секретных документов Военной коллегии¹.

Осторожничая, Пушкин знал, что делал: когда книга вышла, министр народного просвещения Уваров «кричал», по словам Пушкина, о «возмутительном сочинении» (в те времена слово «возмутительный» еще сохраняло свой первоначальный смысл — «имеющий отношение или призывающий к возмущению»). Как сообщал Пушкину И. И. Дмитриев, в Москве «дивились, как вы смели напоминать о том, что некогда велено было предать забвению.— Нужды нет, что осталась бы прореха в русской истории» (XVI, 18). Даже через полвека, в 1888 году, цензурный комитет воспротивился изданию «Истории Пугачева» для народного чтения, ибо «оно может быть читано в кабаках, на всех публичных местах и послужить предлогом для разнообразных толков и суждений»². Впрочем, к тому времени власть имела больше оснований, чем в 1830-х годах, опасаться читающего «простолюдина».

Ясно понимая возможность всяких преград и придиорок, Пушкин решил воспользоваться дарованным ему правом на царскую цензуру. Рукопись была представлена Николаю I. 17 января 1834 года на балу царь заметил Пушкину по поводу Пугачева: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости Эрлингфосской» (XII, 319)³. В тот день Пушкин, кажется, впервые поверил, что царь может пропустить его труд в печать. Вскоре рукопись вернулась к автору с 23 собственноручными замечаниями императора, которые в основном требовали смягчения отдельных характеристик, эпитетов. Так, царю не понравилось, что Пугачев

¹ См.: Овчинников Р. В. Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»), с. 65, 72, 80.

² Чхеидзе А. И. «История Пугачева» А. С. Пушкина. Тбилиси, 1963, с. 157.

³ На самом деле не «за три недели», а за 9 месяцев до этого разговора умерла «от болезни и старости лет» дочь Пугачева Аграфена.

в одном месте назван «славным мятежником» (т. е. известным, знаменитым), что кое-где при описании побед Пугачева употреблены слова, невыгодные для престижа правительственные войск и т. п.¹.

Наиболее существенной поправкой царя была перемена названия: не «История Пугачева», ибо Пугачев, по мнению высших властей, не имел истории, а «История Пугачевского бунта». Пушкин не очень огорчался переменой названия; он, как это ни парадоксально, более соответствовало содержанию книги: здесь нередкий пример, когда цензурное вмешательство объективно сделало текст остree...

Возможно, это следует принять во внимание, размышая о точном, «настоящем» заглавии работы.

В общем, Пушкин, несомненно, ждал худшего: больших и важных сокращений (как это было, например, при редактировании царем поэмы «Медный Всадник») или требования коренной переделки (как это было с «Борисом Годуновым»). Однако царь разрешил публиковать «Историю Пугачева», еще и не прочитав рукопись до конца.

О причине такой снисходительности в наше время возникли ученые споры. Некоторые исследователи видели в Николае, пропустившем «Историю Пугачева», оплошного цензора (Г. П. Блок); Д. Д. Благой писал, что царь дал разрешение, «не разобравшись в существе пушкинского труда, удовлетворившись имеющейся в нем официальной фразеологией, словно бы свидетельствовавшей о политической «благонадежности автора»². Наконец, А. И. Чхеидзе замечает, что Пушкин ввел царя в заблуждение, складив некоторые острые места в представленной на высочайшее рассмотрение рукописи, а затем сделав ряд важных уточнений в корректуре.

Несколько лет назад, однако, сильно укрепилось иное объяснение событий. Н. Н. Петрунина сумела обосновать мысль, в свое время сформулированную еще М. Н. Покровским:

«Пугачев был совершенно определенной фигурой на шахматной доске Николая. Им пугали помещиков, не желавших поступиться своими правами на личность крепостного...

¹ См.: Зепгер Т. Г. Николай I — редактор Пушкина.— ЛН, т. 16—18. М., 1934, с. 524—533; Петрунина Н. Н. Вокруг «Истории Пугачева».— Пушкин. Исследования и материалы, т. VI. Л., 1969, с. 237—238.

² Благой Д. Д. Предисловие к книге А. И. Чхеидзе «История Пугачева» А. С. Пушкина». Тбилиси, 1963, с. 7.

Через пять лет после смерти Пушкина Николай, проводя в Государственном совете закон об «обязанных крестьянах», будет напоминать своим дворянам, совсем в стиле своего историографа, о Пугачевском бунте, показавшем, «до чего может достигнуть буйство черни». Николай, конечно, отнюдь не был против эксплуатации крестьянина помещиком, но даже и он понимал, что пора этой эксплуатации припять новые формы»¹.

Действительно, многие документы 1830-х годов и более поздних лет свидетельствуют, что царь, стремясь предотвратить очевидную для него угрозу новой пугачевщины, не раз предостерегал дворянство и говорил о «зле крепостного права», впрочем тут же поясняя, что «отмена его при настоящих обстоятельствах есть зло еще большее». Закономерным было также усиление интереса Николая I к опыту прошлого. С этим было связано и упорядочение государственных архивов в конце 1820-х — начале 1830-х годов, выявление и отбор документов по освободительному движению XVIII—XIX веков, а также другим разделам «засекреченного прошлого»: так, 9 июня 1835 года (в тот самый период, когда начала распространяться «История Пугачева») Николай I затребовал бумаги о вступлении на престол Екатерины II, о царствовании Петра II, о событиях 1740—1741 годов, а также «бумаги, относящиеся до Волынского»².

В течение 1836 года Д. Н. Блудов представил на царское рассмотрение разнообразные документы прежних царствований, и более всего — о событиях 1762 года³. Н. Н. Петрунина в своей статье цитирует речь Николая I перед депутатами новгородского дворянства (1831 г.): «Приятно мне было слышать, что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются... Положение дел весьма нехорошо, подобно времени бывшей французской революции. Париж — гнездо злодеяний — разлил яд свой по всей Европе, и мы получили его, но позже всех, вероятно, потому, что мы для них потяжелее всех. Не хорошо. Время

¹ Покровский М. Пушкин-историк.— Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 6-ти т., т. V. М.—Л., 1931, с. 13; см. также Петрунина Н. Н. Вокруг «Истории Пугачева», с. 229—232.

² Овчинников Р. В. Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»), с. 28.

³ ЦГАДА, р. VI № 574. 1835 г. Дело о рассмотрении гр. Блудовым препровожденных от министра юстиции Дашикова бумаг, найденных в сенатском архиве.

требует предосторожности». Николай I как бы принял бибиковскую формулу, дважды (в основном тексте и в приложениях) повторенную Пушкиным: «Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование». Царские опасения на руку Пушкину, глубинные мысли которого были иными, а иногда и противоположными воззрениям высочайшего редактора.

Вопрос о том, чего хотел Пушкин, слишком значителен, чтобы рассуждать об этом «между прочим» (некоторые соображения будут развернуты ниже, в связи с разбором пушкинских «Замечаний о бунте»).

Полтора года было затрачено на «Историю Пугачева», причем с выходом ее работа не заканчивалась... Пушкин хотел написать о том, что интересовало и волновало, поделиться с мыслящим обществом своими идеями насчет важнейших событий прошлого и настоящего («...одна только история парода может объяснить истинные требования опого» — XII, 18); наконец, он желал, может быть, хоть немного повлиять на сильных мира сего; поэт не упускал случая говорить «истину царям» с улыбкой или без улыбки... Прежде он добродушно посмеивался над няней, которая «70-ти лет... выучила наизусть новую молитву *о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости*, молитвы, вероятно, сочиненной при царе Иване»; посмеивался, но сам не раз пробовал «умилить» и «укротить» неумолимого владыку. В России, в ту пору и после, было немало умных, тонких людей, помнивших, что это ни к чему и поэту не управлять царями. Однако Пушкин надеялся хотя бы на один шанс из тысячи, к тому же, если бы и такой надежды не было, — все равно считал бы своим долгом откровенность (которая всегда при «великом характере») и продолжал бы преподносить «истину царям», хотя бы из чувства самоуважения.

В 1826 году, подавая Николаю I записку «О народном воспитании», он исходил из принципа, который позже изложил А. Н. Вульфу: «Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро»¹.

Согласно Дневнику Пушкина, во время уже упоминавшейся беседы 19 декабря 1834 года с великим князем Михаилом Павловичем «разговор обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра!» (XII, 335).

¹ Пушкин в воспоминаниях современников, т. I, с. 416.

Нельзя пропускать случая, «чтоб сделать добро», «хоть каплю добра!» — это как бы невидимые эпиграфы (не единственные, не исчерпывающие, но необходимые!) к «Истории Пугачева».

Само представление рукописи на просмотр царю было началом плана — «хоть каплю добра!». В худшем случае, если бы книгу запретили, она осталась бы «секретной запиской по крестьянскому вопросу»; почти все главные мысли, которые Пушкин несколько позже сконцентрирует в «Замечаниях о бунте», не предназначенные для печати, уже имелись в труде, отправленном в типографию.

Как известно, перед самым выходом книги М. М. Сперанский, наблюдавший за изданием, попросил подтвердить ранее данное царское соизволение на публикацию. Николай I отозвался, что тираж можно выдать Пушкину, «ежели ничего другого нет, как то, что я читал», после чего Сперанский представил в III отделение «для удобства сличения один печатный экземпляр сей истории». В работе А. И. Чхеидзе обращено внимание на малый срок (менее трех дней), который отделяет эту записку от окончательного разрешения на выпуск книги, и делается вывод, что «сопоставление текстов было не слишком тщательным», а «смелость Пушкина, очевидно, притупила бдительность даже Бенкендорфа»¹. Однако не исключено, что в этом случае шеф жандармов вообще не стал производить сличения, ограничившись честным словом Пушкина (ведь поэт рисковал головой, если бы царь обнаружил обман); закономерно, что не осталось никаких сведений о востребовании и возвращении Пушкину рукописи с царскими пометами. Если же беглое сличение все-таки было произведено, то Бенкендорф вполне мог поручить такую работу своему секретарю Павлу Ивановичу Миллеру, лицеисту, очень доброжелательному к поэту.

Однако еще до того, как из типографии II отделения Собственной его императорского величества канцелярии был получен весь тираж «Истории Пугачевского бунта», автор приготовил секретное дополнение к книге.

ЗАМЕЧАНИЯ

Первое упоминание о «Замечаниях...» находится в письме Пушкина к Бенкендорфу от 23 ноября 1834 года. Сообщая о том, что «История Пугачевского бунта» отпечатана,

¹ Чхеидзе А. И. «История Пугачева» А. С. Пушкина, с. 150.

автор просил разрешения представить первый экземпляр книги царю, «присовокупив к ней некоторые замечания, которых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для его величества» (XV, 201).

4 декабря 1834 года начальник III отделения А. Н. Мордвинов отвечал Пушкину примечательным слогом: «Его величество соизволил отзваться, что изволит назначить время, в которое угодно будет его величеству вас припять» (XV, 202).

Надо думать, что в этот период «Замечания...» уже были Пушкиным составлены почти в том виде, как они известны теперь: каждое из 19 замечаний сопровождается ссылкой к соответствующим страницам первого издания «Истории Пугачевского бунта». Работа, очевидно, была закончена поздолго до 23 ноября 1834 года, вскоре после того, как Пушкин получил первый отпечатанный экземпляр (или последнюю корректуру) книги. 9 декабря «Замечания...» прочтены А. И. Тургеневу¹.

«История Пугачевского бунта» поступила в продажу около 28 декабря 1834 года, между тем обещанной аудиенции автор не получил и первого экземпляра царю поднести не мог.

Придавая большое значение своим «Замечаниям...» как для дальнейшей работы, так и для определенного воздействия на Николая, Пушкин не стал дожидаться и переслал рукопись царю при известном письме к Бенкендорфу от 26 января 1835 года: «Честь имею препроводить к Вашему сиятельству некоторые замечания, которые не могли войти в Историю Пугачевского бунта, но которые могут быть любопытны. Я просил о дозволении представить оные государю императору и имел счастье получить на то высочайшее соизволение» (XVI, 7)².

Письмо это написано на бумаге совершенно того же типа, что и сами «Замечания...», и как бы составляет введение к ним.

Сообщая царю свои «секретные страницы», Пушкин надеялся на успех просьбы, высказанной в том же послании Бенкендорфу от 26 января 1835 года,— «о высочайшем доз-

¹ Ги лльсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977, с. 81—82. В этой работе высказано предположение, что «Замечания...» первоначально были сообщены Николаю I в частном порядке, через кого-либо из друзей.

² «Ясно, что разрешение было получено в обход Бенкендорфа» (Ги лльсон М. И. Указ. соч., с. 82).

волении прочесть Пугачевское дело, находящееся в архиве».

Успокаивая Николая I представлением ему некоторых материалов «не для печати», Пушкин как бы доказывал тем свою благонадежность и право на ознакомление с другими подобными материалами, «если не для печати, то по крайней мере для полноты моего труда, без того несовершенного, и для успокоения исторической моей совести» (XVI, 8).

Таким образом, происхождение рукописи «Замечаний...» связано с далеко задуманным планом — получить доступ к секретным закрытым архивохранилищам, где сосредоточивались материалы о последних периодах российской истории — XVIII и начале XIX столетия. Попытки Пушкина в этом отношении предвосхищают последующие исторические публикации Вольной печати Герцена и Огарева.

На пушкинском письме помета рукой Бенкендорфа удостоверяла получение рукописи царем: «Государь принял и велел его благодарить; позволяет Пушкину читать все дело Пугачева и просит сделать выписку для государя, дать знать где следует, должно быть министру юстиции» (XVI, 279). Помета Бенкендорфа сопровождается датой — «29 января 1835 г.».

«Замечания о бунте» оставались секретом не слишком долго: появилось несколько копий; затем, в России и за границей, — первые печатные фрагменты. Наконец стал известен полный текст, который уже около столетия помещается в собраниях пушкинских сочинений, но с пояснением, что публикуется по копиям, снятым разными людьми в разное время с «утраченного автографа». Только в 1972 году в Отдел рукописей Ленинской библиотеки поступил беловой автограф пушкинских «Замечаний...» из архива П. И. Миллера. Секретарь шефа жандармов Миллер оставил подлинник «Замечаний...» у себя с пометой, что он «получил их от Александра Сергеевича в 1836 году»¹.

Сейчас, почти через полтора века после того, как «Замечания...» были переписаны и отправлены к царю, они — перед нами. Обретенный автограф дает теперь повод заново прочесть «Замечания...» и заново подумать над каждой строкой.

Трижды упомянуто в пушкинских письмах и черновиках заглавие «Замечания о бунте» — но не «Замечания о Пуга-

¹ См.: Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. М., 1973, с. 217 и сл.

чеве»: Пушкин, обращаясь к царю, как бы принимает царскую формулировку — «История... бунта», но не уточняет (может быть, нарочно?), что «Замечания...» именно о «Пугачевском бунте». Действительно, в них много о бунте вообще — то, что относится не только к 1773-му, но и к 1831-му году — и последующим «бунтам».

19 отдельных замечаний Пушкин сопроводил «Общими замечаниями»¹.

Значительная их часть развивает те мысли о Пугачеве и народной войне, которые, по цензурным и другим соображениям, не могли быть достаточно широко представлены в основном тексте книги. Часть же замечаний внешне выглядит как соображения «к слову» и касается предметов, как будто мало или совсем не связанных с историей Пугачева. Получив редкую возможность довольно откровенно объясняться с царем по общим вопросам истории и политики, Пушкин, понятно, не зря пишет заметки, «не относящиеся к делу». Как будет показано в этой и следующих главах, поэт по существу предлагал царю целую программу разнообразных исследований, касающихся истории последнего столетия, и мы вправе расценить «Замечания о бунте» как своего рода «заявку» на несколько будущих, увы, несостоявшихся пушкинских работ.

Среди черновиков, сохранившихся в бумагах Пушкина, «Общие замечания» отсутствуют.

Возможно, Пушкин, придававший такое значение своему разговору с Николаем I, внес «резюме» сразу в беловую рукопись. При этом, судя по разному цвету чернил в завершающей части белового автографа, можно предположить, что «Общие замечания» создавались в два этапа.

Сначала были написаны первые два абзаца:

Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны. (NB. Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева. Шванвич один был из хороших дворян.)

Все и е м ц ы, находившиеся в средних чинах, сделали честно свое дело: Михельсон, Муфель, Меллин, Диц, Деморин, Дуве etc. Но все

¹ Подробный разбор их см. в книге «Герцен против самодержавия», гл. VII.

те, которые были в бригадирских и генеральских, действовали слабо, робко, без усердия: Рейнсдорп, Брант, Кар, Фрейман, Корф, Валленштери, Билов, Декалонг etc. etc.

По-видимому, на этом месте Пушкин первоначально хотел закончить свою работу, еще раз разделавшись с немцами «бригадирскими» и «генеральскими» (вероятно, намек на то, что они полезнее для Российского государства в «средних чинах»). Двойное «etc.» говорило об очень многих, действовавших «слабо, робко, без усердия», или о том, что вообще еще многое можно было бы высказать царю...

Возможно, в последний момент, когда «Замечания...», пролежавшие более двух месяцев, отправились к Николаю, появились два последних абзаца, отличающихся более светлыми чернилами:

Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мягкотелые избрали средства самые надежные и действительные к своей цели. Правительство со своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно.

Нет худа без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен, и в 1775 году последовало новое учреждение губерниям. Государственная власть была сосредоточена; губернии, слишком пространные, разделились; сообщение всех частей государства сделалось быстрее, etc.

В финальной части своей работы Пушкин ясно высказал те мысли, из-за которых во многом он и взялся писать «Историю Пугачева»: в стране две главные силы — правительство, народ; разумеется, общество, дворянство также принимается в расчет, но созидающие, разрушительные или консервативные возможности власти представляются в 1830-х годах неизмеримо большими (в письме к Чаадаеву — «правительство все еще единственный европеец в России...»).

Куда, в какую сторону направится эта сила, по Пушкину, вопрос еще не решенный: цивилизация, просвещение, европеизм — исторический курс, начатый реформами Петра I, дорог поэту, желающему сохранения и улучшения достигнутого. Но какова цена? Что народ скажет? Пушкин обнаруживает такие проблемы российского прошлого, которых почти «не существовало» лет за 10—15 до того в кругу как Карамзина, так и декабристов.

Поэт-историк рассуждает не о том, плох или хорош Пугачев, — но о существовании, не случайному, историческому, пугачевской правды, народного пугачевского энтузиазма, таланта, массовой энергии, народной нравственности, кресть-

янского взгляда на вещи («он для тебя Пугачев..., а для меня он был великий государь, Петр Федорович»).

В 1830-х народ «подавлен и раздражен», не дай бог привести его к последнему пределу — бунту, восстанию, пугачевщине.

Еще 26 июля 1831 года Пушкин замечал по поводу холерных беспорядков в столице: «Дело обошлось без пушек, дай бог, чтоб и без кнута» (XIV, 181).

В Дневнике 14 декабря 1833 года (по «страшному сближению» — ровно через 8 лет после другого 14 декабря):

«Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 па проормление своих голодных крестьян.— Эти четыреста тысяч останутся в их карманах. В голодный год должно стараться о спискании работ и о уменьшении цен на хлеб; если же крестьяне узнают, то они не станут работать, и никто не в состоянии будет отвратить от них голода <...> В обществе ролещут — а у Нессельроде и Кочубея будут балы (что также есть способ льстить двору)» (XII, 317).

История последних 60 лет свидетельствовала об усиливении стихии мятежей. Класс приказных и чиновников («разnochинцы») вырос численно, дворяне уже побывали «на площади»; черный народ — тот же... Что же нужно делать? Чего хотел Пушкин, принадлежавший к дворянству, обществу, находившийся на государственной службе и видевший, знаяший, слышавший мнение безмолвствующего пока народа?

Реформы, благодетельные реформы... Их перечень легко вычленяется из текста «Замечаний...» — два последних абзаца толкуют о них прямо: «Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен».

Дело не в том, что при Екатерине II последовали перемены «немногие», все больше по части укрепления государства и дворянства; 1773-й «доказал необходимость...», как и 1825-й, 1831-й. Нужны крестьянские реформы — ограничение, смягчение (очевидно, в будущем — отмена) крепостного права (в «Замечаниях...», впрочем, о том прямо не говорится). Необходимы также — законность («адвокаты», недопущение пыток);

гласность (вязкие публикации Оренбургского губернатора);

ограничение «подлой дерзости временщиков»;

в духе времени — усиление национального элемента в правительстве, ограничение роли немцев-сановников;

привлечение к управлению лучших, более независимых, более способных людей;
реформа церкви, духовенства...

«Необходимость многих перемен» — Пушкин намекает, просит, заклинает царя использовать свою гигантскую власть для существенных преобразований. Как вещая Кассандра, поэт видит вперед намного дальше, чем царь и правительство.

Между тем мы знаем теперь, что именно после 1830—1831 годов Николай надолго отказывается от сколько-нибудь серьезных реформ. Непосредственно после 14 декабря этот вопрос не был еще решен. Секретный комитет, образованный 6 декабря 1826 года, действительно рассматривал важные, коренные общественно-политические проблемы. Однако после российских, польских и западноевропейских потрясений 1830—1831 годов царь напуган возможными последствиями уступчивости и утверждается в мысли — в корне ничего не менять: констатируя российское зло и неустройство (крепостное право прежде всего), он находит, что решительные перемены «при настоящих обстоятельствах... зло еще большее».

Если же реформ не будет (или будет только серия частичных «исправлений»), тогда спокойствие крестьян, по Николаю, будет зависеть не от новых «ожидаемых» мер, но от помещиков; в этой-то обстановке правительство, царь все громче будут обращаться к дворянству, предостерегая против чрезмерного жестокосердия, чреватого новой пугачевщиной¹.

Хотя Николай I, в своих видах, считал полезной публикацию *предостерегающей* книги Пушкина, он шел при этом в другую сторону, нежели автор.

В «Истории Пугачева» и «Замечаниях о бунте» доказывается необходимость «многих перемен», царь же — не хочет (да отчасти и не может): Пушкин пишет для реформ — царь печатает (вообще затевает разговор на крестьянскую тему) *вместо реформ* (или точнее — как поощрение очень ограниченных преобразований).

Пушкин советует — царь помечает карандашом любопытные для него строки и возвращает рукопись. «Глас вопию-

¹ Мы сейчас не касаемся сложнейшей проблемы, насколько царь сам принял решение об ужесточении режима и насколько оно зависело от давления бюрократии, «аппарата», как менялся правительственный взгляд на вещи в 1830-х и 1840-х годах.

щего...» Впрочем, сам Пушкин вряд ли рассчитывал на большой эффект, но «не падобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро», «хоть каплю добра...».

Доказывая, что «История Пугачева» должна быть опубликована, Пушкин замечал: «Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства».

Рассматривая теперь семнадцать страниц беловой пушкинской рукописи «Замечаний о бунте», мы можем оценить это сочинение перефразированными пушкинскими строками: не могла быть затеряна для потомства литературная и историческая страница, на которой и близ которой встречаются люди и события целого столетия, десятки государственных, общественных и военных деятелей XVIII и XIX веков, Пугачев и его смысленные сообщники, крестьяне, казаки — все, соединенные светлой мыслью Пушкина. В этих же «Замечаниях...» Пушкин начинал борьбу за «рассекречивание» других важных потаенных эпизодов российского XVIII столетия.

ГЛАВА VI

«СЕМЕЙСТВО НЕСЧАСТНОГО...»

«Если в самодержавном правлении убийство может быть извинено государственностью необходимости...»

8. Императрица уважала Бибикова и уверена была в его усердии, но никогда его не любила. В начале ее царствования был он послан в Холмогоры, где содержалось семейство несчастного Иоанна Антоновича, для тайных переговоров. Бибиков возвратился влюбленный без памяти в принцессу Екатерину (что весьма не понравилось государыне)... (IX, 372)

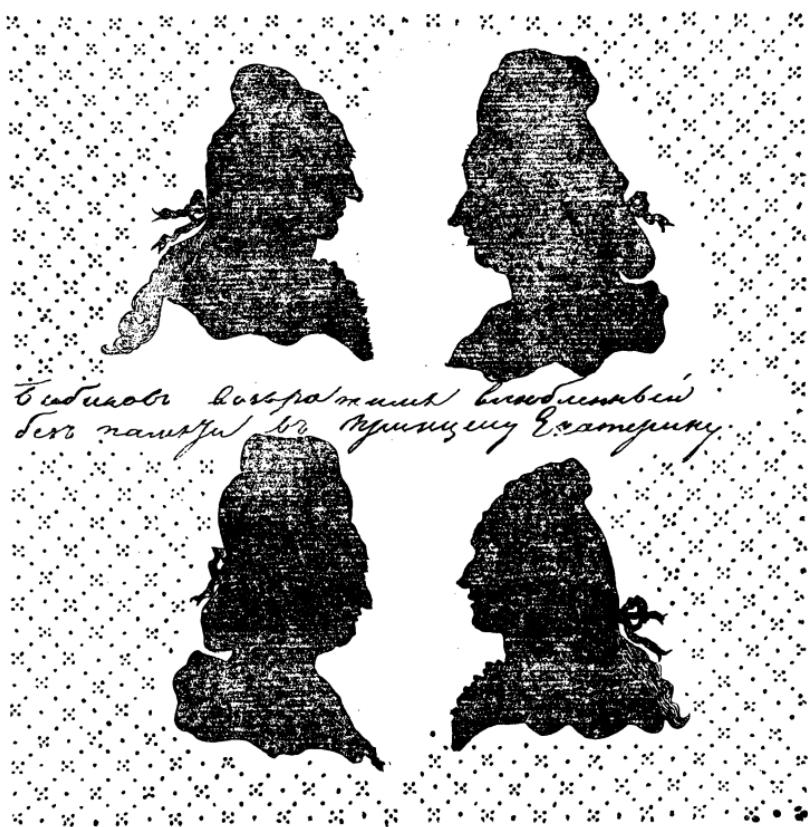
Мы обрываем после третьей фразы текст острейшего 8-го замечания о бунте: дальше следуют строки о более поздних делах, к которым и обратимся несколько позже.

В приведенном же фрагменте речь идет о последствиях исторической ночи с 24 на 25 ноября 1741 года, когда гвардейцы ворвались во дворец и провозгласили новую императрицу Елизавету Петровну. Переворот обошелся без сопротивления и крови; четыре члена императорского семейства были арестованы: прежде всего полуторагодовалый император Иоанн Антонович (Иван VI, по счету от Ивана Калиты, или Иван III по царскому счету¹), он мог столько же понять в происходящем, как и его младшая четырехмесячная сестра Екатерина (она, впрочем, пострадала больше других; солдаты уронили девочку, и, вероятно, оттого она стала глухнуть). Понятно, были взяты под стражу родители малолетних правнуков царя Иоанна Алексеевича (правнучатых племянников Петра Великого) — принцесса-правительница Апна Леопольдовна, реально царствовавшая более года, и ее супруг, принц, генералиссимус² Антон-Ульрих Брауншвейгский.

Обычный переворот, «один из многих», радостно встреченный гвардией и как бы символизировавший крушение це-

¹ На монетах 1740—1741 годов чеканилось имя «Иоанн III».

² Это звание он получил за 14 дней до переворота.



*Бывшево возвращение вновь назначен
бог памятъ во принцесъ Екатерину.*

мецкой партии в пользу отечественного окружения «дщери Петровой». О «брауншвейгском семействе» сначала было объявлено, что они отсылаются «в их отчество»; до декабря 1742 года их держат в Риге, затем в Динамюнде.

Слухи, реальные попытки «обратного переворота», освобождения узников увеличили политические опасения Елизаветы Петровны. Вместо отсылки в Германию принцев переводят в куда более глухой и дальний край — Холмогоры, в 70 верстах от Белого моря, выход к которому крепко заперт Архангельском.

К тому моменту, когда Пушкин писал о «семействе несчастного Иоанна Антоновича», приближалось столетие того переворота, но история по-прежнему оставалась как бы «не существующей». «Известная персона», документы «с известным титулом» — так принято было изъясняться о свергнутом малолетнем императоре. Когда декабрист А. О. Корни-

лович в 1820 году получил (по своей службе в канцелярии генерал-квартирмейстера Главного штаба) право на занятия в сенатском архиве, то по этому поводу возникла переписка его ведомства с министром юстиции и обер-прокурором Сената: «...главнейшим препятствием послужило наличие в сенатском архиве трех отделений с секретными делами: б. Тайной розыскных дел канцелярии и б. правления герцога Курляндского и принцессы Анны Брауншвейг-Люнебургской (1 секр. отд.) с делами «Известного титула» (2 секр. отд.) и, наконец, с делами, содержащими секретные именные указы, журналы, протоколы и др. акты, поступившие в сенатский архив уже в позднейшее время»¹.

Позже, в тюремных казематах, Корнилович рассказывал своим товарищам «о временах Анны и Елизаветы»².

Еще в 1816 году было пресечено распространение вполне благонамеренной книги А. Я. Яковлева «Жизнь принцессы Аны, правительницы России», хотя некоторые сведения о событиях 1741 года все же достигли печати³. Карамзин не может оторваться от попавших ему в руки потаенных документов и мемуаров о том времени; публикация же хотя бы отрывков «Записки о древней и новой России», откровенного обозрения истории страны с древнейших времен до начала XIX века, в 1836 году запрещена цензурой.

Дело Мировича, казненного в 1764 году за попытку освободить Иоанна Антоновича, было (вместе с приговором Пугачеву) впервые добыто из-под спуда в 1826 году, когда власть искала прецедентов для осуждения декабристов. Интерес же самих декабристов к «принцам-узникам», кажется, усиливается в заключении и в Сибири, когда стали ближе, понятнее страдания разных «товарищей по несчастью»: в тюрьме вспоминает об Иоанне Антоновиче В. К. Кюхельбекер (стихи «Тень Рылеева»); Лунин и Никита Муравьев упомянули Ивана VI, перечисляя перевороты, которые «не приносят у нас никакой пользы»⁴.

II. Бестужев создает в ссылке рассказ «Шлиссельбург-

¹ Грумм-Гржимайло А. Декабрист А. О. Корнилович.— В сб.: Декабристы и их время, т. 2. М., 1932, с. 331—332.

² Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907, с. 156.

³ См.: Манстейн. Записки исторические, гражданские и военные о России с 1727 по 1744 гг. М., 1823; Вейдемейер А. Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елизаветы Петровны, ч. 2. СПб., 1832.

⁴ См.: Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма. М., 1923, с. 71—77.

ская станция», где автор, глядя на стены крепости, думает «о завоевании Петра и смерти Ульриха — о вечном заключении несчастнейших жертв деспотизма»¹.

Пройдут, однако, еще десятилетия, прежде чем будут опубликованы работы о судьбе заточенных в 1741 году; эту тему, по недостатку информации и сравнительной удаленности от современных дел, не рассекретит даже Вольная печать Герцена. Только с конца 1860-х годов публикуется серия работ, обходящих, впрочем, некоторые острые и впечатляющие детали старинной борьбы за власть². Только в 1917 году началась, но оборвалась после первой статьи публикация капитального труда, полностью основанного на секретном деле Тайной канцелярии о «брауншвейгском семействе»³.

Работа была представлена в журнале как принадлежащая М. А. Корфу. Уже в наше время были, однако, обнародованы сведения об авторстве В. В. Стасова, а также новые извлечения из текста рукописи⁴.

К сожалению, этот интереснейший памятник, наиболее исчерпывающая история «брауншвейгского семейства», до сих пор не издан, а происхождение его недостаточно освещено. Между тем сохранилась неопубликованная переписка по поводу этой рукописи. Известный критик, искусствовед В. В. Стасов, более полувека служивший в императорской публичной библиотеке, долгое время возглавлял в ней Отделение искусств. Его непосредственный начальник, директор библиотеки М. А. Корф (бывший лицейский товарищ Пушкина), в 1840—1870-х годах разрабатывал ряд историко-политических тем специально для занятий и развлечений императорской фамилии.

¹ Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 543. Подразумевается гибель в этой крепости Ивана Антоновича (сына Антона-Ульриха).

² Соловьев С. М. История России с древнейших времен, т. 22. М., 1872; т. 26. М., 1876; Брикнер А. Г. Император Иоанн Антонович и его родственники (1741—1807). — «Русский вестник», 1874, № 10—11; Правительница Анна Леопольдовна, судьба ее семейства. 1740—1780, сообр. акад. А. А. Купника. — «Русская старина», 1873, т. 7; Дети правительницы Анны Леопольдовны в Горсепзее, сообр. акад. Грота. — «Русская старина», 1875, т. 12; Поленов В. Отправление Брауншвейгской фамилии в Данию. — «Русская старина», 1874, т. 9; Бильбасов В. А. Иоанн Антонович и Мирович. М., 1908 и др.

³ «Брауншвейгское семейство» гр. М. А. Корфа — с пометой, что «печатается с соизволения государя императора по рукописи, хранившейся в собственной е. и. в. библиотеке». — «Старина и новизна», кн. 22. П., 1917, с. 148—203.

⁴ См.: «Наука и жизнь», 1973, № 8.

С конца 1863 года, как видно из переписки Стасова и Корфа, последний постоянно требует новых материалов, «каких-нибудь эпизодов из Брауншвейгской работы»: так, 18 ноября 1863 года Корф извещает подчиненного, что в субботу идет с докладом к Александру II, и спрашивается: «не посмеет ли к тому времени хотя какой-нибудь отдельный эпизод из этой печальной драмы, который мог бы привлечь к себе любопытство государя?»¹

Подобные же обращения, вместе с обсуждением деталей брауншвейгской темы,— еще в ряде писем Корфа за 1863—1864 годы: ясно, что именно в это время Стасов, пользуясь разнообразными секретными документами, создает обширную работу для царского чтения (Корф торопится поднести готовые главы к рождеству, пасхе и другим праздникам).

Служебная переписка, а также сохранившаяся в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина полная черновая рукопись В. В. Стасова² как нельзя лучше представляют те чрезвычайные запреты, что окружали один из давних «дворцовых сюжетов»; запреты, которые, очевидно, мечтал преодолеть Пушкин, на что и прямо намекал в «Замечаниях о бунте». Сама же рукопись Стасова позволяет пойти от пушкинской «заявки» (трех фраз о «семействе несчастного Иоанна Антоновича») к реальным фактам.

В результате стасовские материалы становятся (по выражению В. Д. Бонч-Бруевича) «пушкинированными».

Сколько-нибудь значительных обращений поэта к тем же событиям в стихах и прозе как будто не наблюдается, и эпизод в конце концов довольно незначителен на фоне петровской ломки или пугачевского пламени... Однако великий поэт способен ведь сделать любой частный исторический факт художественно огромным; к тому же если история — перерывная цепь событий, единый процесс (а Пушкин последние годы постоянно думает об этом), — тогда не существует малого события вне связи с *большой историей*. И тут-то мы заметим, что даже «на периферии» пушкинских интересов сходится немало важных идей и образов.

Еще в «Некоторых исторических замечаниях» (1822) было два, впрочем, ярчайших абзаца о времени между Петром I и Екатериной II. Одна из причин такой краткости, как уже говорилось,— недостаток материала: о «безграмотной

¹ ПД, ф. 249 (В. В. Стасова), оп. 1, № 346, л. 64.

² ПБ, ф. 738 (В. В. Стасова), оп. 1, № 1.

Екатерине», «кровавом злодее Бироне», «сладострастной Елизавете», «гордых замыслах Долгоруких» приходилось писать понаслышике, по легенде, смутным иностранным известиям.

Впрочем, тогда в Кишиневе пушкинский взгляд на прошлое, близкий к декабристскому, резкие обличительные формулы, превращавшие «Исторические замечания» в политический памфлет,— все это (как отмечалось в гл. II) не очень требовало дополнительных ученых розысков, подкрепления новыми фактами: главное — сказано, оценки даны...

Иное дело, когда поэт обретает — с «Борисом Годуновым», Замечаниями на Тацита — новый историзм... Тут уже возникает острыя потребность — понять дух каждой эпохи, судить время Петра, Бирона, Елизаветы, Екатерины II прежде всего по тогдашней, а не позднейшей «силе вещей». Тут уж надобны факты и факты, архивы, свидетельства современников и очевидцев.

Снова напомним, что 21 июня 1831 года Пушкин писал Бенкendorфу о своем «давнишнем желании» — «написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III...». Верховная власть не торопилась допустить Пушкина к столь близким временам; однако, «прорвавшись» Пугачевым в 1770-е годы, поэт пробует расширить завоеванную территорию и предлагает Николаю I факты-заявки о временах до и после Пугачева, о жестокой борьбе за власть потомков Петра.

Попутно, не дожидаясь милостей сверху, Пушкин сам по крохам собирает потаенную историю и беспрерывно размышляет над нею.

1741—1762

Восьмого ноября 1740 года регент Бирон с согласия Ап-пы Леопольдовны арестован фельдмаршалом Михихом. Пушкин в последние годы осторожно примеряет эпитеты даже к тому, кого он прежде, по традиции, называл «кровавым злодеем». В черновике статьи «О ничтожестве литературы русской» поэт написал сперва по-старому — «кровавая власть Бирона», потом заменил: «последние заговоры старшего боярства, пресеченные мощною рукою Бирона» (XII, 498). В конце концов имя временщика было выведено из текста, но сам пушкинский поиск знаменателен.

Это еще не история — только предыстория занимающего

нас брауншвейгского эпизода; но уже определяется общий тон, смысл всех событий 1740—1741 годов.

Когда И. А. Лажечников напечатал свой «Ледяной дом», Пушкин упрекнул его за несоблюдение должностной исторической объективности — в частности за чрезмерную идеализацию А. П. Волынского и одностороннее очернение Бирона: на последнего (по мнению поэта) «свалили весь ужас царствования <Анны Иоанновны>, которое было в духе его времени и нравах народа» (XVI, 4).

В этих определениях — знакомое, обычное для пушкинского историзма неприятие односторонних, морализующих оценок. Любопытно, что Лажечников так и не смог понять пушкинской позиции (предвосхитившей важные размышления будущих историков); автор «Ледяного дома» отверг доводы, как ему казалось, «в защиту Бирона» и увидел здесь «непостижимую <...> обмolvку великого поэта»¹.

Полемика с Лажечниковым (несколько лет назад глубоко изученная Н. Н. Петруниной) стимулировала интерес Пушкина к событиям 1740-х годов и документам тех лет².

Эпизод с Бироном и Волынским — еще одно доказательство углубляющегося пушкинского историзма, непривычного, трудно переносимого даже весьма просвещенными собеседниками. Любопытно, что, споря с Лажечниковым, поэт, сам того не подозревая, полемизировал с высказанный примерно тогда же декабристской точкой зрения на «кровожадного и алчного временщика»³.

Пушкин в 1830-е годы старается еще не раз проникнуть в прадедовские времена: восшествие Елизаветы — благо, источник новой карьеры для прадеда Абрама Ганибала; но при этом свергнут, удален в Сибирь фельдмаршал Миних, прежний благодетель «арата Петра Великого» и будущий единомышленник Льва Пушкина, который

Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра...

Пушкин, как известно, отправил отца одного из своих героев в отставку «после 1762 года» («отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе

¹ «Русский вестник», 1856, т. 1, кн. 2, с. 621.

² См.: Петрунина Н. Н. Два замысла Пушкина для «Современника». — В кн.: Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина, с. 138—149.

³ См.: «Полярная звезда», кн. 5. Лондон, 1859, с. 70.

Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17... году»)¹. Некоторые исследователи догадались, однако, что Гриневу-младшему, родившемуся после отставки отца, как раз исполнилось бы к пугачевским временам (1773 г.) одиннадцать лет, чего явно недостаточно². Выходит, что в отставку пришлось уйти не с падением Петра III, а вместе с «брауншвейгским семейством» — в 1741 году. В то же время из текста «Капитанской дочки» известно, что дед героя «пострадал вместе с Волынским и Хрущовым» (т. е. в 1740 году) — и тем самым Гринев-отец еще раз переводится в более поздние времена. Как видно, Пушкину жалко было 1762 года: ведь в последнем случае обиженный старший Гринев станет особенно похож на родного деда, Льва Александровича Пушкина...

Итак, 1741-й, 1762-й — «домашние годы» поэта, и потому столь естественно сближение времен в известной дневниковой записи 17 марта 1834 г.: «Государь, ныне царствующий, первый у нас имел и право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать» (XII, 322).

Пушкин здесь сопоставляет казнь декабристов с тем, что Александр I не карал убийц своего отца (ибо сам замешан), а Екатерина II и подавно не карала убийц Петра III, убийц Ивана VI (более чем замешана!).

Издалека, как будто не очень интересуясь, глядит Пушкин на 1740 — 1760-е, но в библиотеке его за неимением других, более существенных трудов — трагедия на английском языке «Fate of Ivan» (Судьба Ивана)³, вышедшая в Лондоне в 1832 году, а в «Table-talk» внесена примечательная запись, сделанная за Натальей Кирилловной Загряжской⁴: «Когда родился Иван Антонович, то императрица Анна Иоанновна послала Эйлеру приказание составить гороскоп

¹ См.: Оксман Ю. Г. Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка». — В кн.: Пушкин А. С. Капитанская дочка. М., 1964, с. 164. Макагоненко Г. П. Указ. соч., с. 57—59.

² См.: Шкловский В. Б. Заметки о произведении Пушкина. М., 1937; Гилльельсон М. И., Мушина И. Б. Повесть Пушкина «Капитанская дочка», комментарий. Л., 1977, с. 68. Любопытные соображения об интересе Пушкина к судьбе «брауншвейгского семейства» содержатся в статье: Ремарчук В. В. Пушкин и Железная маска. — В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. X, Л., 1982.

³ Модалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. — Пушкин и его современники, вып. 9—10. СПб., 1910, с. 294, № 1191.

⁴ Ссылка на Загряжскую сохранена только в черновике (см. XII, 404).

новорожденному. Эйлер сначала отказывался, по принужден был повиноваться. Он занялся гороскопом вместе с другим академиком — и, как добросовестные немцы, они составили его по всем правилам астрологии, хоть и не верили ей. Заключение, выведенное ими, ужаснуло обоих математиков — и они послали императрице другой гороскоп, в котором предсказывали новорожденному всякие благополучия. Эйлер сохранил однако же первый и показывал его графу К. Разумовскому, когда судьба несчастного Ивана VI совершилась» (XII, 169).

Пушкин отдал этот любопытный рассказ-легенду в печать, явно желая напомнить публике о потаенном политическом эпизоде; однако при публикации в «Современнике» (1836 г.) цензура сократила несколько «опасных слов», и только в 1859 году Е. И. Якушкин сумел опубликовать отрывок полностью¹.

Таков был живой контекст исторических занятий Пушкина, где интерес поэта к «известным персонам» нашел свое место и даже был продемонстрирован царю в «Замечаниях о бунте».

О прибытии А. И. Бибикова в Холмогоры Пушкин еще прежде прочитал несколько любопытных страниц, основанных на документах и семейных рассказах, в воспоминаниях сына екатерининского генерала².

Генерал-майору Александру Ильичу Бибикову в 1762 году было 33 года, но он уже имел немалый жизненный опыт: толковый инженер, артиллерист (в этом сходство с А. П. Ганнибалом), деятельный участник Семилетней войны, где отличился при Цорндорфе, ранен при Куннерсдорфе и особенно прославился при Кольберге. Заслуженные награды были, однако, задержаны из-за перасположения сильного при дворе генерал-фельдцейхмейстера Петра Шувалова, а также (согласно Пушкину) из «чувства ревности» со стороны П. А. Румянцева.

С восшествием на престол Екатерины II дела Бибикова поправляются. При коронации он получает орден св. Анны

¹ «Библиографические записки», 1859, № 5.

² См.: Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова сыном его сенатором Бибиковым. М., 1817 (в 1865 г. вышло 2-е издание этой книги). Экземпляр, принадлежавший Пушкину, сохранил множество помет и других следов внимательного изучения. См.: Пушкин и его современники, вып. 9—10, с. 9—11; Петрунина Н. Н. Вяземский — биограф Фонвизина и Пушкин — историк Пугачева.— «Русская литература», 1980, № 4, с. 130—135.

и задание чрезвычайной государственной важности — то самое, о котором пишет Пушкин.

К этому времени брауншвейгская семья находилась в заточении уже 21 год (в том числе 17 — в Холмогорах); в тюрьме Анна Леопольдовна родила еще троих детей: дочь Елизавету (1743), сыновей Петра (1745) и Алексея (1746). Во время последних родов принцесса умерла, бывший же император Иоанн Антонович был на шестнадцатом году жизни, в 1756-м, отделен от семьи и переведен в Шлиссельбург. Таким образом, перед приездом Бибикова в Холмогорах, под надзором специального коменданта и команды, находился принц Антон Брауншвейгский с четырьмя детьми от 16 до 21 года.

В течение двадцати лет елизаветинского царства переписка по поводу «известных персон» (изученная Стасовым и другими исследователями) сравнительно певелика. Дети Антона-Ульриха и Аппы Леопольдовны вырастают, не зная мира, за оградой своей тюрьмы: летом гуляют по высоко огороженному саду, а зимой (согласно рапорту коменданта) «за великими снегами и пройти никому нельзя да и нужды нет». Все слуги, напятые для принцев, навсегда заперты в доме и никогда не выйдут за ограду «под опасением жесточайшего истязания»¹.

Заключенным, правда, выдается «приличное довольствие» — по шесть тысяч рублей в год, шелковые и шерстяные ткани, венгерское вино, гданская водка (за недостатком которой комендант порою доставляет Антону-Ульриху «поддельную водку из простого вина» (л. 239).

С 1746 года принцы, по словам Стасова, «попадают в руки пьяного, вороватого, беспутного и жестокого капитана Вындомского...» (л. 112). Назав это имя, мы можем предположить еще один капал, по которому рассказы, слухи и предания тех лет могли просочиться к Пушкину: сыном М. А. Вындомского был просвещенный литератор, ученик Новикова, знакомец Радищева Александр Максимович Вындомский²; он сам не успел побеседовать с Пушкиным, так

¹ ПБ, ф. 738, оп. 1, № 1, л. 286; далее ссылки на листы этого дела даются прямо в тексте. Автор вынужден здесь ссыльаться на архивную рукопись В. В. Стасова: многие приводимые им тексты использовались в работах Брикнера, Куника, Грота, Бильбасова и других исследователей, однако фрагментарность, неполнота большинства публикаций затрудняют цитирование.

² А. М. Вындомский — сотрудник «Беседующего гражданина»; о других его интересах говорит напечатанная двумя изданиями

как умер в 1813 году, но дочь этого литератора и впучка холмогорского коменданта Прасковья Александровна Вындорская (по первому мужу Осипова, по второму Вульф) — тригорская соседка и добрый друг поэта...

Однако вернемся в 1740—1750-е годы.

Царица Елизавета Петровна и ее окружение больше всего беспокоились насчет возможных заговоров в пользу «семейства», а также — любых слухов о принцах. Когда Анна Леопольдовна умирает, то из Петербурга требуют, чтобы принц Антон сделал собственноручное описание этой смерти: таким образом в руках правительства оказался политический документ, который можно предъявить Европе в случае любого самозванства. Любопытно, что Антону предписывается в том письме не сообщать о рождении сына Алексея, отнявшего жизнь у матери: лишние сведения о новых претендентах на престол царице не нужны. Когда Иоанна VI отдалили от родственников и перевезли в Шлиссельбург, это никак не отразилось на документации об «известных персонах», как будто принц оставался в Холмогорах. Так старались обмануть заговорщиков. Малейшее подозрение насчет офицеров охраны сразу ведет к замене: молодой подпоручик Писарев, в пьяном виде грозившийся сделать Вындорскому «рот на затылок», тут же переведен в Тобольск. В октябре 1761 года принц Антон просит у императрицы, чтобы его детей учили читать и писать, ибо «дети расстут и ничего не знают о слове божьем» (л. 238). Ответа не последовало; из дальнейшей переписки видно, что отец не умел или не желал систематически обучать пятерых (потом — четверых) детей, и они не знали иностранных языков, а говорили только по-русски с северным выговором.

Итак, имевшая на престол не меньше прав, чем брауншвейгские родственники, дочь Петра все же опасается заточенных принцев и принцесс. Ситуация еще более обостряется в 1762 году. Воцарение Петра III, а затем Екатерины II рождает надежды на освобождение после 20-летней изоляции. Антон-Ульрих пишет Екатерине II, называя себя «пылью и прахом», и снова ходатайствует, чтобы дети могли «чему-нибудь учиться».

Екатерина II написала ответ; неясно, знал ли Пушкин об

(1797 и 1800) «Записка, каким образом делать французскую водку». Юный сержант А. Вындорский в июле 1759 года, во главе команды в 18 человек прибыл на подмогу к отцу и видел холмогорских узников. См. также: Кашина И. И. Род Вындорских.— «Старина и познания», кн. XIII. СПб., 1909, с. 61—66.

этом удивляющем образце хитрой, просвещенно-гуманной лжи. В рукописи В. В. Стасова текст послания впервые был приведен по его черновому отпуску: «Вашей светлости письмо, мне поданное на сих днях (писала царица Антону), напомянуло ту жалость, которую я всегда о вас и вашей фамилии имела. Я знаю, что бог нас наипаче определил страдание человеческое не токмо облегчать, но и благополучно способствовать, к чему я особливо (не похвалившись перед всем светом) природною мою склонность имею. Но избавление ваше соединено еще с некоторыми трудностями, которые вашему благоразумию понятны быть могут. Дайте мне время рассмотреть оные, а между тем я буду стараться облегчить ваше заключение моим об вас попечением и помогать детям вашим, оставшимся на свете, в познании закона божия, от которого им и настоящее их бедствие сноснее будет. Не отчаявайтесь о моей к вам милости, с которой я пребываю» (л. 245).

В руках царицы в это время уже был ответ на недавний запрос Петра III: «знают ли молодые (принцы), кто они таковы и каким образом о себе рассуждают?» Надежда, что четверо взрослых детей не знают, «кто они», была, конечно, рассеяна отчетом коменданта; поскольку «живут означенные персоны в одних покоях и нет меж ними сеней, только двери, то молодым не знать им о себе, кто они таковы, невозможно, и все по обычаю называют их принцами и принцессами» (л. 241).

В этих-то политических обстоятельствах Бибикову и приказано ехать в Холмогоры. Нельзя попутно не отметить расчетливой хитрости Екатерины II, которая главный надзор за «брауншвейгским семейством» поручила Никите Панипу, воспитателю наследника Павла, а также близкому к нему А. И. Бибикову: не очень доверяя этим людям, как сторонникам ее «нелюбезного сына», царица хорошо понимала, что, поскольку панинская партия делает ставку на Павла, тем более усердно они будут пресекать любую интригу в пользу других, «брауншвейгских» претендентов.

Цель тайных переговоров Бибикова была представлена в секретной инструкции из девяти пунктов, подписью Екатериной II 19 ноября 1762 года. Этот текст был напечатан в книге Бибикова-сына: редкое, интересное исключение среди обычного сокрытия от печати такого рода политических документов¹.

¹ Недаром записки А. А. Бибикова были замечены лучшими читателями — П. А. Вяземским, Н. И. Тургеневым, который настоятель-

Смысл инструкции (и поясняющего рассказа А. А. Бибикова) в том, что Александру Ильичу велено отправиться в Холмогоры и, пробыв там, сколько нужно, осмотреть «содержание (принцев), все нынешнее состояние, то есть: дом, пищу и чем они время провождают, и ежели придумаете к их лучшему житью и безнужному в чем-либо содержанию, то нам объявить возвратясь имеете»¹. Однако главная задача Бибикова заключалась в том, чтобы уговорить принца Антона-Ульриха принять освобождение и уехать одному, «а детей его для тех же государственных резонов, которые он, по благоразумию своему, понимать сам может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли».

В переводе с гладкого языка инструкции на язык власти это означало, что захватившая престол Екатерина II опасается тех, кто несомненно имеет на него больше прав: прямых потомков Ивана V, правнучатых племянников и племянниц Петра Великого (к тому же носящих столь вызывающие царские имена — Иван, Петр, Алексей, Екатерина, Елизавета). Принц Антон не опасен — он имеет не больше прав, чем сама Екатерина II; он не потомок законных царей, а только супруг².

Царица, впрочем, серьезно не надеялась, что отец бросит детей, и Бибиков-сын справедливо замечает: «Главнейшая цель сделанного Александру Ильичу препоручения состояла в том, чтоб, вошед в доверенность принца и детей его, узнать способности, мнения каждого, о чем при начале еще не утвержденного ее правления, нужно было иметь сведения. Огнекровенность, веселый нрав и ловкое обращение уполномоченного доставили ему в сем совершенный успех. Но все усилия его склонить принца Антона разлучиться с детьми были напрасны, а потому Александр Ильич старался по крайней мере смягчить, даже некоторым образом уладить его состояние. Хотя все сие и действительно предписано в данной ему от человеколюбивой государыни инструкции, но особенная ревность его в исполнении сей статьи была такова, что отправился в обратный путь благословляем и осыпан живей-

но советовал брату Сергею прочесть их. См.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936, с. 245.

¹ Здесь и далее инструкция цитируется по книге А. А. Бибикова «Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова».

² Екатерина наставляла Бибикова «особливо примечать детей нравы и понятия».

шими знаками уважения и самой приязни от всех принцев и принцесс»¹.

Бибиков пробыл в Холмогорах несколько недель. Сын сообщает, что, «приехав в столицу, Александр Ильич изъявил к состоянию их искреннее участие; он подал императрице донесение о их добрых свойствах, а особливо о разуме и дарованиях принцессы Екатерины, достоинства коей описал так, что государыня холдностию приема дала почувствовать Александру Ильичу, что сие его к ним усердие было, по мнению ее, излишнее и ей неприятное. Холдность сию изъявила она столько, что он и испросил позволение употребить неблагоприятствующее для него время на исправление домашних его обстоятельств, и уехал с семьею своею в небольшую свою вотчину в Рязанской губернии»².

Любопытнейший текст, основанный, очевидно, на семейных рассказах. Пушкин же, передавая царю эти факты, дополняет и усиливает: «Бибиков возвратился влюбленный без памяти в принцессу Екатерину».

Откуда взята последняя подробность?³

И в «Истории Пугачева» (главы III—V), и в «Замечаниях о бунте» рассыпано еще немало рассказов и заметок о генерале Бибикове. Большая их часть явно заимствована из книги сына-сенатора. Таковы выдержки, приводимые Пушкиным из писем А. И. Бибикова — жене, Д. И. Фопвизину и другим корреспондентам. Однако некоторые детали, характеристики, относящиеся к Бибикову, имеются только у Пушкина, а в книге Бибикова-сына отсутствуют.

Сопоставим, например, два следующих текста (речь идет о событиях 1773 года):

А. А. Бибиков: «По успешному ли внушению его недоброжелателей или обыкновенною коловратностию дел придворных, Александр Ильич, по приезде в С. Петербург, принял императрицею с необычною для него холдностию; по неблагоприятственное сие время недолго продолжалось».

Пушкин: «Бибиков был холодно принят императрицею, дотоле всегда к нему благосклонной. Может быть, она была недовольна нескромными словами, вынужденными у него до-

¹ Бибиков А. А. Указ. соч., с. 19.

² Там же, с. 19—20.

³ В рукописи В. В. Стасова, а позже в биографии А. И. Бибикова, написанной для «Русского биографического словаря» М. Поливктовым, повторяется версия «Записок о жизни и службе...», что генерал «дал чересчур восторженной отзыв о старшей дочери принца Екатерине».

садою; ибо усердный на деле и душою преданный государыне, Бибиков был брюзглив и смел в своих суждениях. Но Екатерина умела властвовать над своими предубеждениями...» (IX, 32).

О «нескромных словах» и «брюзглиости» Бибикова сын, как видим, не сообщает ничего: поэт, скорее всего, узнал подробности стороною. В книге о Бибикове только в самой общей форме говорится про дружбу генерала с наследником Павлом; в пушкинских же «Замечаниях о бунте» приводятся яркие подробности о гневе и подозрениях Екатерины II (эта тема будет отдельно рассмотрена в следующей главе).

Пушкин, как видим, пользовался какими-то устными рассказами или неизвестными нам бумагами. Сенатор А. А. Бибиков, знавший, конечно, об отце неизмеримо больше, чем включил в «Записки...», скончался еще в 1822 году. Пушкин, однако, имел возможность опросить других потомков екатерининского генерала: Елизавета Михайловна Хитрово, близкий друг поэта, была племянницей А. И. Бибикова — ее мать, Екатерина Ильинична, урожденная Бибикова (1754—1824), была женой полководца М. И. Кутузова. Кроме родственников, сведения и предания о Бибикове могли передать поэту и такие информированные собеседники, как И. А. Крылов, И. И. Дмитриев и др. Недавно было установлено, что многие сведения о Бибикове Пушкин получил от П. А. Вяземского¹.

Теперь возвратимся к пушкинским строкам о генерале, «влюбленном без памяти» в узницу-принцессу. Они поражают романтическим драматизмом, и, наверное, художественное воображение поэта было затронуто.

В самом деле, посланец царицы смел, прямодушен, и это его качество Пушкин отметит еще не раз. Бибиков мог бы, конечно, сильно улучшить свою карьеру, если бы вел себя осторожнее, написал бы в отчете то, чего Екатерина II желала; если бы подыграл ее тайным помыслам. Однако Бибиков, судя по всему, слишком горячо вступился за несчастных узников и тем вторгся в запретную политическую область².

¹ См.: Петрунина Н. И. Указ. соч.—«Русская литература», 1980, № 4, с. 130—135.

² В. В. Стасов замечает по этому поводу: «Несмотря на все заверения и человеколюбивые фразы, императрица Екатерина II на самом деле никакого не заботилась и ничуть не помышляла об облегчении участия Брауншвейгского семейства и доставлении ему каких-нибудь других утешений, кроме возможности носить штофные робонды и

На расстоянии семидесяти с лишним лет ни поэт, ни потомки Бибикова, конечно, уже не различают многих подробностей. Однако предание о чувстве к принцессе сохранилось. Оно опирается на несомненный факт опалы Бибикова, продлившейся около года; после того императрица «уважала Бибикова и уверена была в его усердии, но никогда его не любила» (эта пушкинская фраза, открывающая 8-е замечание о бунте, затем ведь иллюстрируется холмогорской историей!).

Донесение генерала, о котором упоминает его сын, конечно, существовало в письменном виде, но не сохранилось даже среди секретнейших бумаг об «известном семействе»; не значится оно и среди солидного комплекса писем и депеш, полученных царицей в разные годы¹. Эта лакуна (отмеченная еще Стасовым) сама по себе говорит о стремлении царицы скрыть, уничтожить «ненужный» документ, объективно выдвигающий на передний план другую «привлекательную персону» царских кровей.

Что же была это за персона? Поэт, вслед за книгой о Бибикове и семейными преданиями, называет принцессу Екатерину. Конечно, чувства не подвластны логике, и Бибиков мог влюбиться в девушку, о которой всего за полгода до того говорилось (в докладе коменданта от 8 мая 1762 года), что она «сложения больного и почти чахоточного, а притом несколько и глуха, и говорит немо и невнятно, и одержима всегда болезненными припадками, нрава очень тихого» (л. 241); в то же время Бибиков-сын утверждает, что его отец доносил императрице «о разуме и дарованиях» принцессы. Разнообразные источники постоянно отмечают ум и красоту младшей принцессы, Елизаветы; в только что цитированной записке коменданта от 8 мая 1762 года сообщается, что 19-летняя Елизавета «росту женского немалого, и сложения ныне становится плавного, нраву, как разумеется, несколько горячего...» (л. 241). Пять лет спустя, в 1767 году, архангельский губернатор доносит: «Дочери [принца] большая, Екатерина, весьма косноязычна и глупа, зачем и в ни в какие разговоры не вступает, а притом, как лекарь мне объявил, что и больна гастроическими припадками <...> а меньшая, Елисавета, как и меньшой сын Алексей, наиболее по-

пить венгерское вино» (л. 248). Напомним, что это пишется для царского чтения!

¹ Они представлены в приложениях к книге А. А. Бибикова и в бумагах В. В. Стасова.

нятливы» (л. 254, 259). Сверх того Стасов цитирует английскую записку о «брауншвейгском семействе», составленную в 1780 году и хранящуюся в Британском музее,— где отмечается, что одна из принцесс «очень хороша собою» (л. 248). Вероятнее всего, героиня пушкинской записи — Елизавета.

Образ прекрасной принцессы, конечно, сильно действовал на воображение читателей, возвращая их в мир старинной сказки, где юная красавица ждет избавителя, а злобная колдунья тому препятствует...

Краткие пушкинские строки в этом случае содержат сдавленную, потенциальную энергию, готовую выйти наружи в стихе, прозе, драме, историческом исследовании.

Мы уверенно предполагаем разнообразнейшие чувства, мысли, ассоциации, сопутствовавшие трем фразам поэта о холмогорском путешествии Бибикова: здесь и природа власти, и трагедия детей, виновных только царским рождением (как Федор и Ксения Годуновы). Невозможно, немыслимо представить, чтобы поэт, заметивший живую, светлую человеческую черту меж темными рычагами власти (Бибиков, «без памяти влюбленный» при выполнении секретнейшей политической акции), не задал вопроса себе и другим: а что же дальше было?

Судьба Бибикова до самой его кончины представлена в «Истории Пугачева»; сочувствие Пушкина к этому деятелю, доходящее до идеализации,— несомненно; общие контуры, основные даты брауншвейгской истории поэту тоже известны: «страшный гороскоп» Эйлера обнаруживает не только направление пушкинских мыслей, но и более ранний, специфический интерес к потаенному событию у Н. К. Загряжской и других информаторов Пушкина.

Поэтому стасовская рукопись 1860-х годов как бы отвечает на вопрос, задаваемый пушкинским 8-м замечанием; а нам, конечно, нелегко определить, что именно знал Пушкин из потрясающей шекспировской летописи о жизни холмогорских узников после отъезда Бибикова, что он мог слышать, предположить, вообразить...

Положение «известных персон» с 1762-го, после отъезда Бибикова, в сущности, ухудшается. В предыдущие двадцать лет не было никаких перспектив на улучшение, теперь же Екатерина II подала узникам большие надежды. Меж тем секретность их содержания даже увеличивается. На всякий случай пишутся инструкции, как хоронить «любого умершего из семьи»: пастора не присыпать, отпевать почью — «и на молитвах и возгласах в церкви никак их не поминать,

как просто именем, не называя принцами» (л. 254). Когда понадобилось переделать печи в доме-тюрьме, Петербург строго предписывал, «чтоб печники известных персон не видали».

1764 год: попытка офицера Мировича освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича. Дело кончается гибелью бывшего императора на 25-м году жизни (а ведь попал в заключение полторагодовалым).

Мирович казнен; в Холмогорах же, вероятно, очень долго и не знали о гибели сына и брата! После этой истории (возможно, спровоцированной Екатериной II) шансы холмогорских принцев на освобождение сильно уменьшаются; время от времени архангельские власти получают из столицы предупреждения и даже приметы «вражеских шпионов», направляющихся в Холмогоры (л. 270).

В мире происходят разнообразные события: французское просвещение — Руссо, Вольтер, Дидро; американская революция; открытия Бугенвиля, Кука в Тихом океане... Однако принц Антон и его дети не имеют права всего этого знать... Меняются коменданты, охрана пьянистует, ворует, архангельский губернатор Головцын докладывает, что «каменные покой тесны и нечисты».

1767 год: ревизия губернатора, явно жалеющего узников. Принцесса Елизавета высказалась при нем «с живостью и страстью» и, «заплакав на их несчастную, продолжаемую и поныне судьбину, не переставая проливать слезы, произнесла жалобу, упоминая в разговорах и то, будто бы они кроме их произведения на свет никакой над собой винности не знают и могла бы она и с сестрою своею за великое счастье почитать, если б они удостоены были в высочайшую вашего императорского величества службу хотя взяты быть в каммер-юнгферы»; Головцын «их утешал, чтоб не отчаявались, и они повеселели» (л. 271).

Позже мягкосердечный губернатор изыщет оригинальный способ воздействия на царицу, Никиту Панина и других советников: в форме *донаса*, передавая разговоры, якобы подслушанные его агентами от принцев, он сообщает разные их *лестные* высказывания в адрес царицы.

Головцын верно рассчитал, что донос, секретная информация будут прочтены наверху быстрее всего, но — никаких облегчений не последовало.

25 мая 1768 г.: принц Антон обращается к Екатерине II. Он просится с детьми за границу и клянется «именем бога, пресвятой троицы и святым евангелием в сохранении вер-

ности вашему величеству до конца жизни»; при этом он вспоминает милостивое письмо Екатерины в 1762 году, «и в особенности уверения в вашей милости генерала Бибикова, чём мы все эти годы утешали и подкрепляли себя»; 15 декабря того же года Антон-Ульрих заклинает царицу «кровавыми ранами и милосердием Христа»; через два месяца еще одно письмо: никакого ответа не последовало (л. 272).

Вряд ли Бибиков узнал, шесть лет спустя,— как вдруг снова возникло в секретной переписке его имя. Вряд ли добрался до этих сведений и Пушкин— хотя ситуация была ему хорошо понятна: генерал от имени императрицы обещал, обнадеживал, сам искренне сочувствовал узникам,— но заточение продолжается.

Конец 1767-го — 1768 год: в секретной переписке, в доносах обсуждаются предметы совершенно необычные для такого рода бумаг: «принцесса Елизавета, превосходящая всех красотой и умом», влюбилась в одного из сержантов холмогорской команды (л. 273). Ее предмет — Иван Трифонов, 27 лет, из дворян, крив на один глаз, рыж, «нрава веселого, склонный танцевать, играя на скрипке, и всех забавлять».

В донесениях много печальных, лирических подробностей: что сержант подарил принцессе собачку, а «она ее це-
лует»; что Трифонов «ходит наверх в черных или белых шелковых чулках и ведет себя, точно будто принадлежит к верху»; наконец, принцесса «кидает в сержанта калеными орешками, после чего они друг друга драли за уши, били друг друга скрученным платком» (л. 273—274).

Не сообщая сперва обо всем этом в Петербург, комендант и губернатор все-таки удаляют Трифонова из внутреннего караула, после чего «младшая дочь известной персоны была точно помешанная, а при этом необыкновенно задумчивая. Глаза у ней совсем остановились во лбу, щеки совсем ввалились, при том она почернела в лице, на голове у нее был черный платок, и из-под него висели волосы, совершенно распущенные по щекам» (л. 275); после того принц Антон напрасно молит коменданта, чтобы сержанта Трифонова пускали наверх — «для скрипки и поиграть в марьяж», а сам сержант падает в ноги коменданту, майору Мячкову, умоляя: «не погубите меня!»

И вот — последняя попытка Елизаветы: из окошка в «отхожем месте», оказывается, можно было глядеть в окно сержанта! Однако уловка разгадана и меры приняты...

Больше принцесса никогда не увидит сержанта Трифонова: он вскоре образумится, будет произведен в офицеры,

там же, в Холмогорах, и женится... А принцесса тяжело заболевает: восемь месяцев «жестокой рвоты», «истерии». У отца ее все усиливается цинга. Лекарь лечит первобытно — в основном пусканием крови.

1770-е годы: новый самозваный призрак сотрясает империю — Пугачев. Страхи в Зимнем дворце усиливаются, и уж Никита Панин предостерегает, как бы не пагрянул в Архангельск «азартный прошлец» Мориц Бениовский, взбунтовавший недавно Камчатку и ушедший в океан на захваченном судне с русско-польским вольным экипажем. «Во время задержания его в Петербурге,— пишет Панин,— я видел его таким человеком, которому жить или умереть все равно — то из сего не без основания и подозревать можно, что не может ли он забраться и к порту Архангельскому, где ежели не силою отнять известных арестантов» (л. 288—289).

Опасения насчет Бениовского оказались напрасными — его сферой действия стал не Архангельск, а Мадагаскар. Между тем «Петр III — Пугачев» весомо напомнил о слабых правах Екатерины II на российский трон...

Посреди кампании против Пугачева умирает А. И. Бибиков. Пушкин отлично знал, что в одно время с пародийной войной продолжается бесконечное холмогорское заточение, однако, кроме чисто временной ассоциации (позволившей вспомнить о принцах в «Замечаниях о бунте»), иных сведений не было.

А холмогорский мирок все продолжал беспокоить хозяев Зимнего дворца. В связи с бракосочетанием наследника Павла, в конце 1773 года, принцесса Елизавета от имени большого отца, братьев и сестры, обращается к графу Н. И. Панину: «Осмеливаемся утруждать ваше превосходительство, нашего надежнейшего попечителя, о испрошении нам, в заключении рожденным, хоща для сей толь великой радости у ее императорского величества малая свободы» (л. 278).

«Малая свободы», однако, не последовало: царица панила, что прогулки за пределами тюрьмы могут вызвать «неприличное в жителях тамошних любопытство». Панин же, 3 декабря 1773 года, выговаривал губернатору Головцыну, что письмо принцессы писано слишком уж хорошим слогом и умно, в то время как «я по сей день всегда того мнения был, что они все безграмотны и никакого о том понятия не имел, чтоб сии дети свободу, а паче способности имели куда-либо писать своею рукою письма» (л. 282). Панин опасался, чтобы принцы не писали таким слогом и «в другие места»; запрашивал — откуда такое умение? — и получил по-

разительный ответ Антона-Ульриха, достойный того, чтоб его знал Пушкин. Оказывается, все четверо детей учились русской грамоте по нескольким церковным книгам и молитвам, а кроме того — «по указам, чelобитным и ордерам» (л. 283): канцелярско-полицейские документы, относящиеся к аресту и заключению брауншвейгской фамилии, оказывается, могут быть источником грамотности и хорошего слога!

Никита Панин, один из культурнейших людей века, завершает свой розыск полуироническим выводом — «что дети известные обучилися сами собою грамоте, тому уж быть так, когда прежде оное не предусмотрено» (л. 284).

4 мая 1776 г.: на 35-м году заключения умирает принц Антон, похороненный «во 2-м часу ночи со всякими предосторожностями». Перед смертью он просит «за бедных сирот его» и горячо благодарит своих главных тюремщиков — царицу и Панина. Екатерина II не выражает даже формального соболезнования (как это сделала Елизавета Петровна, узнав о смерти Анны Леопольдовны).

Начало 1777 г.: Головцын доносит, что принцесса Елизавета «сопла с ума <...> и в безумии своем много говорят пустого и несбыточного, а временами много и плачет, а иногда лежит, закрыв голову одеялом в глубоком молчании несколько часов...» (л. 285).

Потом молодая женщина (ей уже 34 года) приходит в себя...

Вскоре после того появляются на свет внуки Екатерины II: в 1777-м — будущий царь Александр I, в 1779-м — его брат Константин. Династия упрочена, и опасения пасчет брауншвейгских сильно уменьшаются...

Почти сорок лет миновало — и вот в Холмогоры прислан генерал-губернатор А. П. Мельгунов. Как Бибиков 18 лет назад, этот новый посланец опять проверяет — сколь опасны принцы? Сколь велика сокрытая в них «государственная угроза»? «Елизавета,— находим мы в докладе генерал-губернатора,— 36 лет, ростом и лицом схожа на мать <...>, кажется, что обхождением, словоохотливостью и разумом далеко превосходит и братьев своих, и сестру, и она, по примечанию моему, над всеми ими начальствует: ей повинуются братья, исполняя все то, что бы она ни приказала, например, велит подать стул — подают и прочее тому подобное». О старшей, Екатерине, писано, что она «38 лет, похожая на отца, весьма косноязычна, братья и сестра объясняются с нею по минам...» Другие принцы — «Петр 35 лет, горбат, крив; Алексей 34 года, белокур, молчалив, братья же оба не

имеют ни малейшей природной остроты, а больше видна в их робость, простота, застенчивость, молчаливость и приемы, одним малым ребятам приличные». Мельгунов нарочно притворился больным, чтоб лучше узнать этих людей, обедал с ними, участвовал в карточной игре (*трессет*) — «весьма для меня скучной, но для них веселой и обыкновенной» (л. 295).

Беседуя в основном с принцессой Елизаветой («выговор ее, так как и братьев, соответствует наречию того места, где они родились и выросли, то есть холмогорскому»), посланец Екатерины слышит, что прежде, когда был жив отец, они хотели, «чтоб дана им была вольность»; позже — «чтоб позволено было им проезжаться», а теперь — «рассудите сами,— говорила она мне,— можем ли мы иного чего пожелать, кроме сего удивления? Мы здесь родились, привыкли и застарели, так для нас большой свет не только не нужен, но и тягостен для того, что мы не знаем, как с людьми обходиться, а научиться уже поздно». Принцесса просила только о некоторых домашних и хозяйственных послаблениях: «из Петербурга присыпают нам корсеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем, для того, что ни мы, ни девки наши не знаем, как их надевать и носить: так сделайте милость,— промолвила она мне,— пришлите такого человека, который мог бы нас в них наряжать» (л. 296).

Еще и еще раз Мельгунов (точно так, как прежде Бибиков) уговаривает царицу, что «персон» нечего бояться; под его диктовку принцы свою любовь «поворгают к высокоматерным стопам»...

Миссия Мельгунова оказывается более счастливой, чем путешествие Бибикова. 18 марта 1780 года Екатерина II пишет вдовствующей королеве Дании и Норвегии Юлии-Марии, что «время пришло» освободить ее родных племянников, о которых родная сестра Антона-Ульриха все эти годы, конечно, опасалась спрашивать у могучей «северной Семирамиды». Екатерина II просит поместить двух сыновей и двух дочерей Антона и Аппы Леопольдовны в каком-нибудь внутреннем городе Норвегии (все же подальше от моря!). Королева отвечает, что ее глубоко трогают «доброта и великодушие, оказываемые вашим величеством несчастным детям покойного моего брата герцога Антона-Ульриха», и находит здесь «отпечаток великой и высокой души» (л. 299), но при том Екатерине II робко сообщается, что в Норвегии, к сожалению, не существует городов, далеких от моря, поэтому принцев лучше разместить во внутреннем датском городке Горсенсе.

Императрица не возражает.

Тут наступает последний акт драмы. Мельгунов приезжает в Холмогоры и приглашает двух принцев и двух принцесс на корабль. Они никогда в жизни не выходили за пределы собственного сада — и очень боятся, ожидая ловушки. Мельгунов для их успокоения помещает на фрегат собственную жену, за что после получит строгий выговор от царицы: нельзя посвящать в тайну лишних лиц.

В белую ночь с 26 на 27 июня специальное судно отправляется из Холмогор, минует Архангельск. Принцы каждую минуту ждут некоего подвоха...

В 2 часа пополудни с 29 на 30 июня 1780 года из Новодвинской крепости выходит корабль «Полярная звезда» под купеческим флагом. Тайна столь велика, что даже добрый губернатор Головцын не ведает, куда везут его бывших подопечных. Со всех свидетелей взята подпись — «и я,— заключает Мельгунов,— провожал их глазами до тех пор, пока судно самое от зрения скрылось» (л. 305).

Затем — эпилог. В Петербурге сильно волновались, долго не получая известий насчет прибытия «Полярной звезды» на место (противные ветры замедлили путь).

Петр, Алексей, Екатерина, Елизавета поселяются в Горсенсе, окруженные заранее назначенным штатом; получают от Екатерины по 8 тысяч рублей в год и богатые подарки. Тетка, датская королева, решила, однако, не встречаться с членянниками, боясь огорчить «петербургскую сестру». Русских путешественников к принцам и принцессам не допускают, за ними все время следят; датский городок глухой, четверо прибывших не знают языка. Вскоре русский посол в Копенгагене доложит своей императрице: все та же неугомонная Елизавета жалуется (в письме к тетке), что «не пользуется свободой, потому что не может выходить со двора, сколько того желает, не делает то, что хочет». Королева Юлия-Мария отвечала, что «свобода не состоит в этом и что она сама часто находится в подобном же положении».

23 ноября 1780 года королева-тетушка извещает Екатерину II, что принцы «пожалели о своих холмогорских лошадках и лугах, и нашли, что они менее свободны и более стеснены в нынешнем положении».

«Вот как сильны привычки на этом свете,— отвечала Екатерина II 2 декабря 1780 года на письмо датской королевы,— сожалеют иной раз даже и о Холмогорах» (л. 310, 313).

Да, эти четверо скучали по Холмогорам, по тамошним снегам, людям, языку, по дорогим могилам.

20 октября 1782 года новый приступ душевной болезни уносит 39-летнюю Елизавету, самую живую из четырех, героиню бибиковского отчета; скорее всего, ту, в которую влюбился без памяти «пушкинский генерал»...

Траура не было. Через пять лет скончался «младший принц» Алексей Антонович. О двух оставшихся почти позабыли в грохоте войн и революций.

Принц Петр Антонович умер в 1798 году, за год до рождения Пушкина. Осталась одна принцесса Екатерина, больная, глухая... Уж нет на свете Екатерины II, убили Павла I,— и тут в 1802 году 62-летняя Екатерина Антоновна пишет страшное письмо своему духовнику — трагический аккорд, завершающий всю эпопею:

«Преподобнейший духовный отец Феофан! Што мне было в тысячу раз лучше было жить в Холмогорах, нежели в Горсенсе. Што [меня] придворные датские не любят и часто оттого плакала <...> и я теперь горькие слезы проливаю, проклиная себя, что я давно не умерла» (л. 317).

Так жили они на родине, в тюрьме,— а потом, на свободе, плакали о той тюрьме. Екатерина Антоновна умерла в апреле 1807 года; незадолго до смерти она по памяти нарисовала свое холмогорское жилище и сохранила до конца неизвестно как доставшийся и спрятанный сувенир в виде серебряного рубля с изображением «императора Иоанна III», ее брата.

Мы привели, пользуясь трудом В. В. Стасова, подробности, конечно, не известные Пушкину во всем объеме. Считаем, однако, не случайным, что «если за Пушкиным пойти» — то есть последовать за его мыслью, поиском, намеком,— тогда обязательно открываются новые «пушкинированные» факты, материалы, образы. Впрочем, кто знает: если бы царь заинтересовался «Замечаниями о бунте», если бы Пушкин еще пожил — не нашел ли бы он путей к будущим «стасовским бумагам»?

Однако и в трех «холмогорских фразах» сильно проявился художественный взгляд, историческое чутье; уловлено трагическое сцепление политического и личного.

В раздумьях о тайнах XVIII века углублялись пушкинские идеи, гениально представленные еще в «Борисе Годунове». Поэт как бы приоткрыл двери секретнейшей сорока-летней тюрьмы, где томились дети — возможные соперники

не кровавого, своевольного деспота, но — просвещенной императрицы в просвещенное время...

Перед Пушкиным постоянно разворачивалась неумолимая «макиавеллическая» логика государственной необходимости — и вечное противоборство с нею личного, нравственного начала; того, о чём другой замечательный писатель папишет сто лет спустя: «Вот ты декламируешь передо мною о страданиях детей и ловишь меня на зевке. Но ведь речь твоя не ведёт ни к чему. Ты говоришь — «при таком-то наводнении утонуло десять детей», — но я ничего не смыслю в арифметике и не заплачу в два раза горше, если число пострадавших окажется в два раза больше. И к тому же с тех пор, как существует царство, умирали сотни тысяч детей, и это не мешало тебе быть счастливым и наслаждаться жизнью. Но я могу плакать над одним ребенком, если ты сможешь провести меня к нему по единственной настоящей тропе, и как через один цветок мне открываются все цветы, так и через этого ребенка я найду путь ко всем детям и заплачу не только над страданиями всех детей, но и над муками всех людей» (Сент-Экзюпери. «Цитадель»).

Так возникают в пушкинских мыслях и творчестве те исторические трагедии, что начались в 1740—1741 годах.

Куда более остро, зримо обозначены драматические коллизии 1762—1801 годов.

ГЛАВА VII

«В ПЕТЕРБУРГ, А НЕ В ГАТЧИНУ...»

Была ужасная пора,
Об ней свежко воспоминалье...

1. стр. 16. Пугачев был уже пятый Самозванец, принявший на себя имя императора Петра III. Не только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: жив ли мой отец?

2. стр. 18. Пугачев говорил, что сама императрица помогла ему скрыться.

Николаю I сообщаются между прочим подробности, которых он, скорее всего, не знает: Пушкин хорошо представлял объем, источники сведений своих современников о недавнем прошлом и, конечно, не стал бы подносить монарху заведомо известные факты.

В двух замечаниях затронуто несколько запретных мотивов, внешне далеких, но внутренне сплетающихся друг с другом.

Во-первых, самозванство, самозванческая стихия. Во-вторых, дворцовые тайны, перевороты, борьба за власть.

Хотя Пушкин отсылает Николая I к определенным местам своей книги и отдельные замечания, казалось бы, не связаны друг с другом, но автор «Истории Пугачева» понимает, что царь, скорее всего, не станет искать и перечитывать соответствующие страницы печатного издания. Поэтому отсылки к разным страницам, вернее всего, лишь повод для важных и в общем последовательных рассуждений; замечания можно читать подряд и не заглядывая при этом в «Историю Пугачева». Не случайно в беловом автографе Пушкин дважды забыл и после дописал «поверх строки» ссылки на соответствующие страницы книги.

Во 2-м замечании Пушкин снова пробует завести разговор «умного человека с умным человеком». Понятно, что мало-мальски осведомленному лицу версия Пугачева покажется смешным и вместе печальным парадоксом: Пугачев —



«злодей» (по официальной терминологии), по маскируется выдумкой об участии к нему той самой императрицы, которая на самом деле свергла с престола и подготовила убийство своего мужа Петра III (цареубийство же по законам империи — «высшее злодейство»!).

САМОЗВАНСТВО

Пушкин не первый рассуждает о «лжецарях»: в официальных бумагах XVII века «царь Дмитрий Иванович», просидевший 331 день на московском престоле, именуется «расстригой»¹; позже русские, а еще больше иностранные

¹ «В ту пору Гаврила Пушкин у расстриги в Москве на воровство напросился». (см.: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969, с. 111).

авторы толкуют о «славном»¹ обманщике, авантюристе. М. М. Щербатов, напечатавший в 1774 году (и переиздавший в 1778, 1791 гг.) «Краткую повесть о бывших в России самозванцах», дал первое более или менее научное описание этого удивительного явления российской истории. Впрочем, концепция дворянского консервативного историографа была проста: «Такая есть слабость народная, что <...> часто быв увлекаем легкомыслием и новостью, в злейшие себя несчастья ввергает».

Позже Карамзин пишет, что «россияне не могли благородумно верить воскресению царевича, но они — не любили Бориса! Сие несчастное расположение готовило их быть жертвою обмана».

Формула «несчастное расположение» — глубокая и плодотворная; может быть, даже более, чем подозревал историк. Проблема, как видим, «висела в воздухе», притягивала мыслителей, писателей; мы не знаем, как разрабатывал тему Лжедмитрия Михаил Лунин в своей драме, писавшейся в Париже², но скорее всего — в дерзком, декабристском духе; и если так, то самозванец, вероятно, рассcенивался положительно, «учил» потомков смело бороться за власть. Наконец, в «Борисе Годунове», прозвучали важные слова (поэт отдает их своему предку Гавриле Пушкину, перешедшему к Лжедмитрию):

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! мнением народным...

«Народное мнение» для Пушкина в 1825-м и позже — важнейший положительный критерий: это одна из высших исторических санкций, верный способ отыскивать правду в хитросплетениях лжи. И если так, то самозванец, с делом которого народ связывает веру и надежду (пусть ненадолго!), — этот самозванец имеет историческое *право*, временное, мимолетное, относительное, но — *право*: он «в природе вещей», он не Лжедмитрий, но «царь Дмитрий Иванович», в то время как Борис Годунов, отвергнутый народным мнением за злодейство, — вот «истинный самозванец»! Мнение народное и на стороне Пугачева. «Весь черный народ был за Пугачева», — пишет Пушкин в «Замечаниях о бунте»; сочув-

¹ Это слово — в смысле нашумевший, знаменитый, даже печально знаменитый — любил употреблять Пушкин.

² Из записок Ипполита Оже.— «Русский архив», 1877, № 5, с. 61.

ственпо цитирует письмо А. И. Бибикова Фопвизину: «Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование» (IX, 201), — это был совершенно новый исторический взгляд, далеко опережавший свое время.

Пушкин написал о пяти самозванцах, «принявших на себя имя Петра III». В капитальной работе К. В. Сивкова, вышедшей более 30 лет назад, выявлено более двадцати случаев¹. На сегодняшний день известно около сорока Лже-Петров III. Почти все они выступали против Екатерины II, отбравшей в 1762 году престол у своего супруга Петра III.

Однако даже после кончины императрицы, уже в царствование Павла (восстановившего почитание своего отца, чей прах торжественно перенесли из Александро-Невской лавры в Петропавловскую крепость), все же объявился в Быкове, близ Москвы, некий Семен Анисимов Петраков, назвавшийся «Петром III». Правда, он потребовал клятвы с посвященных — никому не открывать его тайны «до коронации нового государя», но дело все же открылось. Павел I 17 февраля 1797 года отправил своего лжеродителя Петракова «за обольщение простого народа» в Динамондскую крепость, «в работы навсегда»².

Последним из Лже-Петров был, очевидно, основатель скопческой ереси Кондрат Селиванов, который проживал в Петербурге в 1802 году и «не отказывался, хоть и не пастаивал» на отождествлении себя с Петром III, дедом царствовавшего тогда Александра I.

Своеобразные условия, вызвавшие в XVI—XIX веках три мощные волны самозванчества, были недавно глубоко проанализированы советскими исследователями³: речь идет о Лже-Дмитриях, Лже-Петрах III, Лже-Константинах, а также нескольких самозванцах под именем других царей.

Большое число самозваных царей, в основном происходивших из «низов», конечно, подкрепляет пушкинское наблюдение о «мнении народном», крестьянских интересах, проявившихся в столь своеобразных идеологических фор-

¹ Сивков К. В. Самозванчество в России в последней трети XVIII века. — Исторические записки, т. 31. М., 1950.

² ЦГАДА, р. 6, № 554.

³ См.: Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967, гл. I; Лотман Ю. М., Успенский Б. А. К семиотической типологии русской культуры XVIII века. М., 1974; Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII веке. Новосибирск, 1974; Клибальпин А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977.

мак. Для поэта и его просвещенных современников еще, правда, оставался неясным вопрос о субъективной стороне самозванчества: внутреннее побуждение дерзнувшего большей частью трактуется как обман, у даль, театральность; хотя, например, у Пугачева и пугачевцев «театр» — безумно смелый, где ставкой игры является жизнь. Так, перечисляя главных помощников Пугачева, Пушкин замечает: «Все они назывались именами вельмож, окружавших в то время престол Екатерины: Чика графом Чернышевым, Шигаев графом Воронцовым, Овчинников графом Паниным, Чумаков графом Орловым».

К этому месту 3-й главы «Истории Пугачева» следует авторское примечание: «Кажется, Пугачев и его сообщники не полагали важности в этой пародии. Они в шутку называли также Бердскую слободу — Москвою, деревню Каргале — Петербургом, а Сакмарский городок — Киевом» (IX, 102).

Современный исследователь вряд ли согласится, что тут пародия: скорее — такое смешение, где очень быстро теряется буквальный смысл географического или вельможного имени; к этому скоро привыкают и уже не хотят, даже не могут различать настоящие и *самозванные* образы; так же как, не веря, будто неграмотный казак Пугачев — это царь Петр III, приближенные его хотят верить, верят: эффект, хорошо описанный М. М. Бахтиным как *карнавальная стихия* — «веселая и вольная игра, но игра глубокого осмыслиния», где «народно-праздничные формы глядят в будущее и разыгрывают победу этого будущего <...>, победу всенародного изобилия, материальных благ, свободы, равенства, братства...»¹.

Нелепо, неисторично было бы упрекать Пушкина, что он не проник в такие глубины народного сознания; можно сказать, что Пушкин вплотную подошел в своих наблюдениях к тонкому психологическому рубежу, когда «Лже-Дмитрий» или «Лже-Петр» уже почти не чувствуют своей фантазии; когда осознанное историческое право на подобный поступок уже имеет обратное влияние на Отрепьева, Пугачева и заставляет самозванцев настолько «вживаться в роль», что фантом становится действительнее любой реальности.

Пушкинский Димитрий — Марине Мнишек:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,

¹ Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле. М., 1965, с. 224, 278.

Вокруг меня народы возмущали
И в жертву мне Бориса обрекла —
Царевич я.

Пугачев — Гриневу:

«Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».

Вспомним, к слову, резкое мнение Вяземского: «У нас не может быть революции за идею; у нас может быть революция только за имя»¹.

Другая очень важная мысль, почти не тронутая современным исследованием, угадывается, «просвечивает» сквозь первое пушкинское замечание о бунте: идея, уже художественно освоенная в «Борисе Годунове», которую можно было бы назвать *двойным самозванчеством*. Пушкин почти не теоретизирует, но дает огромный материал для теории.

Этот материал можно, полагаем, понять так:

Всякое самовластие — с точки зрения прав, законности — беззаконно по определению.

Мы подчеркнули «с точки зрения...». Если такой точки зрения нет (она неизвестна, не созрела или абсолютно не принимается во внимание) — если закона нет, то нет и беззакония. Во множестве тираний и деспотий так дело и обстоит. Разумеется, и там есть некий критерий — религиозный или династический, — но все же упрекать Ивана Грозного в беззакониях хотя и можно, по многое труднее, чем Екатерину II или Павла I. В XVI веке не признавали тех «правил», которые вынуждена провозгласить Екатерина, если переписывается с Вольтером и приглашает Дидро.

И тут-то всякое откровенное самовластие, столь «ребячески естественное» прежде, становится осознанным, то есть циничным.

Пушкинская интерпретация известного изречения мадам де Сталь — «правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою», — эта фраза предполагает сравнение российского самодержавного строя с представительным. В каждом из них некий институт ограничивает правление: там — парламент, здесь — удавка для зарвавшегося правителя. Сравнивать можно однородные понятия: подобная «шпилька» в адрес персидского шаха или китайского богдыхана формально тоже возможна, но все же — менее остры. Те и не помышляют «ограничивать» (т. е. уступать «свободе — пеминуемому следствию просвещения»), а в России о том

¹ Вяземский П. А. Поли. собр. соч., т. IX, СПб., 1884, с. 96.

немало говорят, тем кокетничают («Наказ Екатерины II») — и естественно задать вопрос, стимулированный самим просвещенным абсолютизмом: чем же ограничивать всесильного российского правителя?

Удавкою.

Самовластие, усилившееся после Петра, откровенно порабощающее, но притом со множеством просвещенных терминов о духе времени, благе, законах, — эта система порождает много поразительных несоответствий, игру в фантомы; самовластное, самовольное, самодержавное называние вещей не тем «именем»¹.

Что такое «мертвые души»? Формально — это живые люди, которых *нет*, но которые *есть* до следующей нескорой ревизии. Они (мертвые) — невольные самозванцы (одним фактом своего существования в бумагах), а их помешик и государство разыгрывают явившиеся отсюда «самозваные суммы». Чичиков — он же «Бонапарт», «капитан Копейкин», — так сказать, самозванец в квадрате, — куда менее удивителен, исключителен, чем многие полагают.

Споры о том, где мог найти Пушкин знаменитый сюжет, подаренный Гоголю, кажется, надо решительно прекратить. Сюжет был «всеобщим». В раскольническом документе о «Петре-Антихристе» (конец XVIII — начало XIX века) между прочим отмечается: «Так и начал той глаголемой «так называемый» бог без меры возвышатися, учинил описание народное, исчислил вся мужеска пола и женска старых и младенцев, живых и мертвых и облагая их данями великими, не токмо живых, но и с мертвых дани востребовал»².

Мертвые души — из мира цивилизованного обмана, так сказать *верхнего самозванчества* (в отличие от «пизового», нижнего, *пугачевского*, связанного с народными чаяниями).

И кто же «ревизор», как не самозванец (Гоголь, вслед за Пушкиным, как видим, большой знаток этой истинно русской проблемы)? Хлестаков и не хотел, но ситуация буквально заставляет самозванствовать...

Самозваная царевна (не из народа — из просвещенных), «дочь Елизаветы», княжна Тараканова — чем она хуже своей противницы Екатерины II? Ведь самозванчество на троне едва ли не формула — и вспомним хотя бы о холмогорских принцах. Французский посол Беранже докладывал своему правительству в 1762 году: «Что за зрелище для на-

¹ Далее автор сокращенно излагает соображения, более полно представленные в его книге «Грань веков». М., 1982, с. 35—48.

² См.: Щапов А. П. Сочинения, т. I. СПб., 1906, с. 568—569.

рода, когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внуk Петра I был свергнут с престола и потом убит; с другой — как внуk царя Ивана увядает в оковах, в то время как Ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование!»¹

К этому добавим, что едва ли не о каждом императоре, умершем естественной смертью, говорили, что его (или ее) «извели». «Особенно замечательно, как сильно принялось это мнение в народе, который, как известно, верует в большинстве, что русский царь и не может умереть естественно, что никто из них своей смертью не умер»².

Притом почти каждому монарху приписывали *не того* родителя (например, Екатерине II — Бецкого)³ — и таким образом умершие цари самозванно оживали, а живых «самозванцо» усыновляли, удочеряли или убивали — и царь, считавший самозванцами крестьянских «Петров III», был в их глазах правителем «самозванным-незваным»⁴. И так все запуталось, что в правительственные декларациях Пугачева однажды нарекли *ложесамозванцем*, что, как легко догадаться, было уж чуть ли не крамольным признанием казака — царем...

В первом пушкинском замечании как раз причудливый пример перекрещивания «нижнего» и «верхнего» самозванчества, связанного с Петром III.

Настолько все неверно, зыбко, самозванно, что даже наследник престола, дожив до 42 лет, все же допускал, что отец его жив! И, вступив на престол, Павел спрашивал о том не случайного человека, но Андрея Ивановича Гудовича (1741—1820), близкого к Петру III, за это выдержанного длительную опалу при Екатерине, в 1796 году вызванного и обласканного Павлом. Пушкин имел достаточное число высокопоставленных, осведомленных собеседников, которые легко могли бы передать рассказ Гудовича. Как тут не заметить, например, что граф Андрей Иванович был женат на Прасковье Кирилловне Разумовской, родной сестре «бабушки-собеседницы» поэта Натальи Кирилловны Загряжской!

Глубокая тайна переворота при официальной версии о

¹ Цит. по: Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 14, с. 372—373.

² Добrolюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. 4. М.—Л., 1937, с. 438.

³ См.: Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 742 (комментарии).

⁴ Клибапов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977, с. 155.

смерти Петра III от «геморроидальной колики» была потенциальной основой для появления Лже-Петров III и как бы соединяла воедино две характерные черты тогдашней политической жизни: самозванчество и «переворотство».

Оба самозванчества, верхнее и нижнее, невзирая на их огромную, «полюсную» противоположность, порою парадоксально связаны и даже переходят друг в друга.

Лже-Дмитрий, попачалу представляющий «имение патрдное», свергает неправедных, «самозваных» Годуновых; однако в последней сцене толпа не выполняет приказа кричать: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Народ безмолвствует: «законный царь» Дмитрий теряет в народном мнении и начинает на глазах превращаться в нового «верхнего» самозванца, обреченного на участь Годуновых.

Пугачев объявляет, что он Петр III; реальный же Павел Петрович, великий князь, сын настоящего Петра III, согласно пушкинским «Замечаниям о бунте», «долго верил или желал верить» (какая прекрасная формула, объясняющая успех российского самозванства!)...

Верил или желал верить, что отец его жив, а не удавлен в июле 1762 года.

Позже открылись любопытнейшие исторические материалы, показывающие точность пушкинского отбора фактов и взгляда на вещи. Дело в том, что своеобразной особенностью самозванства 1770-х годов было использование крестьянским Петром III, Пугачевым, образа, имени реально существующего царевича Павла (Пушкин об этом хорошо знал).

В самом деле, если Пугачев — Петр III, то его сын и наследник, естественно, Павел. Этот элемент агитации использовался повстанцами не раз¹. Согласно показаниям одного из предавших своего вождя, Ивана Федулева, Пугачев кричал: «Кого вы вяжете? Ведь если я вам ничего не сделаю, то сын мой Павел Петрович ни одного человека из вас живого не оставит!» И так его связать поопасались².

Сам Пушкин во время путешествия на Урал был свидетелем причудливых, фантастических противоречий в одних и тех же биографиях: когда-то в юности сторонники «паря-самозванца» — теперь представители «законной власти»³.

¹ См.: Дубровин И. Пугачев и его сообщники, т. 2. СПб., 1884, с. 143.

² См.: Овчинников Р. В. Над «Пугачевскими страницами» Пушкина. М., 1981. Ср. Пушкин, IX, с. 77.

³ См.: Овчинников Р. В. Указ. соч., с. 132.

Легкая шутка Пушкина в стихах, обращенных к Денису Давыдову, приобретает неожиданный, дополнительный пародоксальный смысл в духе только что отмеченных «пересечений»:

Бот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой!
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

«Верхнее самозванчество», придворная борьба сторонников Екатерины и Павла — все это было еще очень мало известно в 1830-х годах, и Пушкин стремится заинтересовать монарха подробностями, спошьи пурпурными в устном предании.

Бибикова подозревали благоприятствующим той партии, которая будто бы желала возвести на престол государя великого князя. Сим призраком беспрестанно смущали государыню и тем отравляли сношения между матерью и сыном, которого раздражали и ожесточали ежедневные, мелочные досады и подлая дерзость временщиков. Бибиков не раз бывал посредником между императрицей и великим князем. Вот один из тысячи примеров: великий князь, разговаривая однажды о военных движениях, подозревал полковника Бибикова (брата Александра Ильича) и спросил, во сколько времени полк его (в случае тревоги) может поспеть в Гатчину? На другой день Александр Ильич узнает, что о вопросе великого князя донесено и что у брата его отымают полк. Александр Ильич, расспросив брата, бросился к императрице и объяснил ей, что слова великого князя были не что иное, как военное суждение; а не заговор. Государыня успокоилась, но сказала: скажи брату своему, что в случае тревоги полк его должен идти в Петербург, а не в Гатчину (IX, 372—373).

Самое большое из всех замечаний — напоминание о пользе для государства своеобычных, независимых деятелей: для пушкинского времени это люди вроде обиженного, отставленного Ермолова и других подозрительных, «не по ранжиру» лиц, преследуемых «подлой дерзостью временщиков».

Это и другие замечания, где присутствует А. И. Бибиков, представляют, как уже отмечалось, образ положительного, по мнению Пушкина, государственного мужа. Напомним, что характеру Бибикова уделено немало места в основном тексте книги, но в «Замечаниях...» нарочито кое-что повторено¹. «...Бибиков был брюзглив и смел в своих суждениях,— писал между прочим Пушкин.— Но Екатерина умела властвовать над своими предубеждениями. Она подошла к нему на придворном бале, с прежней ласковой улыбкой

¹ В 18-м замечании о бунте Пушкин противопоставляет бескорыстного Бибикова завистливому Румянцеву. В 13-м замечании снова о «подлой дерзости» временщиков: Бибиков в опале, на подозрении,

кой, и, милостиво с ним разговаривая, объявила ему новое его назначение. Бибиков отвечал, что он посвятил себя на службу отечеству, и тут же привел слова простонародной песни, применив их к своему положению:

Сарафан ли мой, дорогой сарафан!
Везде ты, сарафан, пригождаешься;
А не надо, сарафан, и под лавкою лежишь».

(IX, 32)

Пушкин, как видим, сочувственно пишет о «партии великого князя», презирает «подлых, дерзких» временщиков; подчеркивает (может быть, умышленно смягчая острые углы): партия Павла «будто бы» желала свергнуть Екатерину II, что это был *призрак*... Имена других сторонников Павла не названы; мы, однако, легко выясняем, кого подразумевал поэт: в книге Бибикова-сына не раз подчеркивается значение братьев Паниных в жизни Бибикова-старшего.

Говорится о походе 1760 года: «В сию кампанию узнал он графа Петра Ивановича Панипа; знакомство сие обратилось в тесную дружбу, которая доставила ему таковую же с графом Никитой Ивановичем Паниным, и взаимная сия связь сохранилась неразрывно до его кончины»¹.

В другой раз Петр Иванович Панип назван «другом и благодетелем» Бибикова².

Неприязнь Екатерины к братьям Паниным доходила до прямых политических подозрений, распространяясь, конечно, и на Бибикова. Письма юного Павла Петровича к Бибикову, которые были помещены в книге «Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова», также не оставляют сомнений в дружеской близости их отношений³. После приятной для Бибикова истории с холмогорскими узниками он был, правда, избран в 1767 году маршалом (председателем) «Уложенной комиссии» (точнее — утвержден императрицей из числа знатнейших особ, получивших наибольшее

способный Голицын убит на дуэли прописками Потемкина — разные способы удаления нежелательных людей.

¹ Бибиков А. А. Указ. соч., с. 11.

² Там же, с. 17.

³ 28 февраля 1772 года Павел писал: «Я думаю, что долгое наше знакомство дало вам время узнать, что я не пременен в дружбе моей к вам. Я же, с моей стороны, уверен, что вы не отнесли столь долгое мое молчание перемене чувств моих к вам. Я тот же, каковым вы меня здесь знали. Время докажет вам, что говорю я совершенную правду, а теперь надеюсь, что вы мне поверите, что я буду на всегда верным другом». 5 июля 1772 года наследник торопится писать, «чтобы исполнить долг, которым обязывает взаимная наша дружба, и иметь удовольствие писать. Переписка наша, заступая место преж-

количество голосов). Вскоре, однако, последовала новая высочайшая немилость: согласно записям В. Д. Давыдова, когда депутаты спросили Бибикова в конце заседаний, станет ли Екатерина II их созывать для издания новых законов,— Бибиков отвечал, что не знает ее воли, но что она «вероятно уж не приступит к какой-либо важной мере касательно интересов всех, не собравши снова депутатов. Не успел кончить свой ответ, как услыхал за ширмами с шумом отодвинутое кресло и шуршание удаляющегося платья императрицы. С тех пор она стала холопна к Бибикову, и он был вызван на политическое поприще только ввиду развития и опасности Пугачевского бунта»¹.

В этом историко-политическом контексте заметим, что именно сторонники Павла и недоброхоты Екатерины — Бибиков, Петр Панин — отправлены на черное, кровавое дело подавления Пугачева. Парадоксальность русского XVIII века проявлялась здесь в том, что Панин, например, свою дворянскую оппозицию Екатерине облекал едва не в столь же резкие выражения, как Пугачев — свою крестьянскую ненависть; царица при начале восстания велела московскому главнокомандующему М. И. Волконскому «приглядывать за Паниным»: явно опасалась, что он как-то использует события в своих целях (как прежде подозревалось «подстрекательство» Петра Панина в Чумном бунте 1771 года). Выходило, что Бибиков, Панин (и косвенно — Павел) должны были, подавляя восстание Пугачева, доказать тем свою благонадежность. Эти генералы, таким образом, шли на крестьян, защищая дворянские, классовые интересы и вдобавок «реабилитируя» самих себя. Бибиков отличился в подавлении, а Петр Панин, мы знаем, очень старался и рвал бороду у захваченного Пугачева².

Однако мы не можем не считаться с двумя последствиями «пребывания Павла» в лагере Пугачева, и здесь обнаруживаются поразительные примеры сложного пересечения двух самозванств.

них наших разговоров, о которых весьма часто с крайним удовольствием вспоминаю, служит мне истинным утешением в разлуке нашей» (см.: Бибиков А. А. Указ. соч., с. 93).

¹ См.: Давыдов В. Д. Памятные заметки.— «Русская старина», 1871, № 6.

² Тем не менее на Урале рассказывали в 1780-х годах, будто староверам покровительствуют наследник «и господин генерал Петр Панин, его высочеству отец крестный». См.: Покровский И. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII веке. Новосибирск, 1974, с. 384.

Во-первых, народная молва, известная популярность павловского имени — хотя бы как редкого мужского после долгой гипекратии, женского правления.

Распространение Лже-Петров III рождало определенные фантастические надежды на Павла. Крайне любопытно, что, перечисляя прегрешения Павла, генерал Л. Л. Беннигсен между прочим сообщал в 1801 году:

«Павел подозревал даже Екатерину II в этом умысле на свою особу. Он платил шпионам, с целью знать, что говорили и думали о нем, и чтобы проникнуть в намерение своей матери относительно себя. Трудно поверить следующему факту, который, однако, действительно имел место. Однажды он пожаловался на боль в горле. Екатерина II сказала ему на это: «я пришлю вам своего медика, который хорошо меня лечил». Павел, боявшийся отравы, не мог скрыть своего смущения, услышав имя медика своей матери. Императрица, заметив это, успокоила сына, заверив его, что лекарство — самое безвредное и что он сам решит, принимать его или нет. Когда императрица проживала в Царском Селе в течение летнего сезона, Павел обыкновенно жил в Гатчине, где у него находился большой отряд войска. Он окружал себя стражей и пикетами; патрули постоянно охраняли дорогу в Царское Село, особенно ночью, чтобы воспрепятствовать какому-либо неожиданному предприятию. Он даже заранее определял маршрут, по которому он удалился бы с войсками своими в случае необходимости; дороги по этому маршруту, по его приказанию, заранее были изучены доверенными офицерами. Маршрут этот вел в землю уральских казаков, откуда появился известный бунтовщик Пугачев, который в 1772 и 1773 гг. сумел составить себе значительную партию, сначала среди самих казаков, уверив их, что он был Петр III, убежавший из тюрьмы, где его держали, ложно объявив о его смерти. Павел очень рассчитывал на добрый прием и преданность этих казаков. Его матери известны были его безрассудные поступки, но она только смеялась над ними и оказывала им так мало внимания, что держала в Царском Селе для охраны дворца и порядка в городе лишь небольшой гарнизон, не превышавший двадцати человек казаков»¹.

¹ «Исторический вестник», 1917, № 5—6, с. 546. Этой часто встречающейся версии (безразличие Екатерины к «потешным полкам» Павла) как раз противоречит авторитетное пушкинское замечание о подозрениях царицы насчет Бибикова и его брата.

Еще интереснее (и свободнее) Беннигсен развивал эту версию перед своим племянником фон Веделем. Повторив, что Павел собирался бежать к Пугачеву, мемуарист добавляет: «Он для этой цели производил рекогносцировку путей сообщения. Он намеревался выдать себя за Петра III, а себя объявить умершим»¹.

Строки о «бегстве на Урал», даже если это легенда,— весьма примечательны как достаточно распространенная версия (Беннигсен в 1773 году только поступил офицером на русскую службу и, наверное, узнал приведенные подробности много позже). Заметим в этом рассказе довольно правдиво представленную причудливую «логику самозванчества», когда сын решается называться отцом, чтобы добиться успеха (иначе он, по той же логике, должен подчиниться «Петру III» — Пугачеву).

Переплетение разных типов самозванчества тут весьма отчетливо.

Как видим, Павел I в пушкинских «Замечаниях...» представлен гонимым, страдающим, привлекающим определенное сочувствие².

Император Николай I, как известно, относился с интересом и симпатией к своему отцу, все более склоняясь к его методам управления и отрицая «просвещенный абсолютизм» Екатерины II и Александра I.

Пушкин, хорошо это понимая, разумеется, не просто «подыгрывает» императору, но выставляет вперед те исторические суждения, где его собственный взгляд может приблизиться или совпасть с царским. На Павла и павловское правление поэт смотрит теперь, конечно, не так, как в 1822 году. Тогда был «Калигула», усмиренный «удавкою»; тогда преобладала общепринятая в просвещенных кругах насмешка над «курносым злодеем». Однако, как уже отмечалось, и тогда взгляд юного Пушкина (близкий к позиции Н. Тургенева и других декабристов) был не прост: противоречивая, многоплановая информация свидетелей, современников о Павле и его гибели отозвалась в гениальном образе оды «Вольность»:

Падут бесславные удары,
Погиб увенчанный злодей...

¹ Записки Веделя.— В сб.: Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. Изд. 2-е, СПб., 1908, с. 159.

² Вяземский примерно тогда же замечает, что царствование Павла «вероятно излишне очернено. Довольно и того, что было» (Вяземский П. А. Записные книжки, с. 271).

Что же произошло между поэтом и тем императором, который с малыша Пушкина «велел снять картуз... и пожурил няньку», — что произошло после 1825 года, когда обозначились новые идеи?

ТИРАН — ПАЛАЧИ...

В конце 1820-х годов в X главе «Онегина» появляются потаенные, позже зашифрованные и сожженые строки:

Потешный полк Петра Титана,
Дружины старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей...

Здесь, как видим, сохранена и развита давняя мысль из «Вольности»:

там — «увенчанный злодей», тут — тиран;
там — «бесславные удары», здесь — «свирепая шайка палачей»...

Правда, кроме убийц и убитого, появляется еще полк, «предавший тирана», Семеновский полк: солдаты, верные шефу полка наследнику Александру, стояли во внешнем карауле Михайловского замка: время переворота, низложение Павла было специально перенесено с 10-го на 11 марта, день семеновского дежурства.

Согласно одному мемуаристу, часовой-семеновец, увида «колонну убийц», сделал знак — «проходи»¹. В оде «Вольность» — «молчит неверный часовой...». После четырех сохранившихся строк онегинской строфы «Потешный полк Петра Титана...» в X главе шли десять строк нам неизвестных: там, конечно, упоминалась «семеновская история» 1820 года: гвардия, предавшая некогда тирана, теперь поднималась уже против тирании...

Справедливое возмущение семеновцев, арест и ссылка в армейские полки солдат-гвардейцев — еще один трагический элемент российской истории.

Убийство тирана, свирепые палачи, наказанный полк...

Мы, конечно, здесь смутно угадываем ход пушкинских рассуждений; однако имеем известное право на гипотезы, касающиеся между прочим и одного еще *не прочитанного сочинения*.

¹ Записки А. Н. Вельяминова-Зернова.— Исторический сборник Вольной русской типографии, кн. I. Лондон, 1859, с. 53.

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ

В бумагах Пушкина сохранился список из десяти названий (на обороте стихов 1826 года «Под небом голубым страны своей родной...»):

Скупой
Ромул и Рем
Моцарт и Сальери
Дон Жуан
Иисус
Беральд Савойский
Павел I
Влюбленный бес
Димитрий и Марина
Курбский¹

Часть этих заголовков хорошо известна: позже написаны три «маленькие трагедии» («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость»); «Влюбленный бес» связывается с «Уединенным домиком на Васильевском» (записанным по рассказу Пушкина В. П. Титовым); *Беральд Савойский* — замысловатый сюжет из средневековой жизни со сложной системой подмены влюбленных персонажей²; о замыслах еще нескольких пьес слышал от Пушкина С. П. Шевырев (в 1826—1827 гг.):

«Еще был у него проект драмы «Ромул и Рем», в которой одним из действующих лиц намеревался он вывести волчицу, кормилицу двух близнецов»³; кроме того — «Пушкин сам говорил, что намерен писать еще «Лжедимитрия» и «Василия Шуйского» как продолжение «Годунова» и еще нечто взять из междуцарствия: это было бы в роде шекспировских хроник»⁴.

Если не трактовать слова Шевырева буквально, то к «шекспировским хроникам» подходят (из списка десяти пьес) «Курбский», «Димитрий и Марина»; Ю. М. Лотман пытался реконструировать замыслы «Иисуса»⁵.

Наконец — «Павел I».

Согласно дневниковой записи (19 февраля 1827 года) польского общественного деятеля Франтишека Малевского, он был у Полевого с Мицкевичем, Пушкиным, Вяземским, Дмитриевым, Соболевским, Баратынским и Полторацким.

¹ Рукою Пушкина. М.—Л., 1936, с. 276.

² Там же, с. 499—501.

³ См.: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899, с. 351.

⁴ Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 40.

⁵ Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982, с. 15—27.

Наиболее запомнились в тот вечер интересные рассказы И. И. Дмитриева о Державине, Суворове, Потемкине; Пушкин делился своими идеями: после интересных строк о замысле «Вечного жида» Малевский записывает: «Трагедия Павла, Мельник»¹.

Т. Г. Цявловская, комментируя текст, замечает: «Эти три слова говорят о задуманных Пушкиным драмах «Павел I» и «Русалка». Мы узнаем, что драма о Павле I (заглавие которой было известно по записи самого Пушкина в перечне задуманных им драм) не только смутно рисовалась великому поэту, но как-то уже воплощалась в его сознании; иначе едва ли бы стал он говорить о своем замысле в широком писательском кругу»².

Можно ли хотя бы в самой общей форме представить пушкинский замысел? Полагаем, что можно: для этого сам Пушкин предлагает по меньшей мере две «подсказки». Во-первых, если приглядеться к только что приведенному списку из 10 названий, легко заметить, что многие из них как бы посвящены отдельной страсти или «смертному греху». Разумеется, любая «маленькая трагедия» вмещает много разнообразных чувств, мотивов — но сам Пушкин первоначально озаглавил трагедию «Моцарт и Сальери» — *Зависть*. Обозначена «доминирующая страсть» и в другом названии — *Скупой*. Если попробовать таким же образом определить *страсти*, соответствующие другим пьесам, то получим (разумеется, условно):

Ромул и Рем — братоубийство или борьба за власть;
Дон Жуан — любовная страсть;
Беральд Савойский — ложь, «двойничество»;
Влюбленный бес — искушение, разврат;
Димитрий и Марина — честолюбие, властолюбие³;
Курбский — измена.

Нравственные оценки, повторяем, весьма условны. Куда более определенным, вероятным является характер конфликтов в «маленьких трагедиях»: там нет однотонного противопоставления порока и добродетели; великий мастер наделяет и носителя роковой страсти (например, Сальери) чертами немалой правоты, доводами «за»... И тогда сталкиваются в непрорешимом трагизме известные моральные права каждого из

¹ ЛН, т. 58, М., 1952, с. 266.

² Там же, с. 264.

³ Возможно, предполагалось появление Лжедмитрия II, которого Марина Мнишек, как известно, признала «тем же самым» царем Димитрием...

противостоящих героев: Дон Гуана и Командора, Вальсингама и Священника, Скупого и его сына; вероятно, также Лжедимитрия и его противников, Курбского и Грозного, Ромула и Рема.

Угадывается и столкновение двух правд в «Павле»: то самое, что дважды появляется в сочинениях Пушкина — один раз примерно за 10 лет до списка «маленьких трагедий»:

Падут бесславные удары,
Погиб увенчанный злодей...

Другой раз — позже замысла «Павел I»:¹

Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей...

Тиран ужасен, палачи — «бесславные», свирепые. Их всаждь, наследник, в сущности, отцеубийца — по страна облегченно вздохнет: «дней alexандровых прекрасное начало...»

Вот возможные контуры созревавшего пушкинского замысла.

Большего мы не можем, не имеем права предполагать...

Относительно редкое обращение к павловским мотивам до начала 1830-х годов объясняется и осторожностью поэта, и тем, что он еще только подходил к своему XVIII столетию, еще сосредоточивался на двух полюсах — декабристском и петровском («Полтава»).

Когда же явятся Пугачев, «Медный Всадник», тогда все последнее столетие сделается объектом особого напряженного внимания: трагедии народного бунта, переворотов, власти, самозванчества, маленького человека — все включится в круг идей поэта-историка.

После обращения к власти насчет своего желания писать русскую историю «от Петра I до Петра III» (1831) поэт рассказывает о своих планах Языковым; Николай Михайлович Языков извещает Погодина (3 октября 1833 года): «Пушкин собирается <...> писать историю Петра, Екатерины 1-й и далее вплоть до Павла Первого (между нами)»¹.

Хотя обращение поэта к материалам Суворова в 1833 году — это «определенный тактический ход для получения доступа к совсем иным архивным материалам»² (к материалам о Пугачеве!) — нельзя, конечно, исключать, что интерес к

¹ ЛИ, т. 16—18, М., 1934, с. 715.

² См.: Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959, с. 9.

Суворову развивался и «сам по себе», в связи с желанием Пушкина писать о конце XVIII столетия.

Все крутые повороты, трагические обстоятельства российской истории от Петра до сегодняшнего дня воспринимались как единый, требующий глубочайшего осмыслиения процесс. Тут было самое время еще раз обратиться к последнему четырехлетию прошлого века.

«РОМАНТИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТОР»

В Дневнике 1833—1835 годов о Павле I и его времени не меньше десяти записей¹ и еще больше, если принять во внимание близкие к Дневнику заметки «Table-talk». Подсчитывая же число исторических персонажей павловской эпохи, проходящих или хотя бы мелькающих в Дневнике, мы обнаруживаем множество важных «действующих лиц» — А. Ф. Ланжерона, Я. Ф. Скарятина, Д. Н. Бологовского и др. В библиотеке поэта находились разнообразные редкие издания (в основном западные, отчасти русские), относящиеся к личности Павла и его времени². Конечно, по этим данным мы еще не можем судить о широте познаний Пушкина на счет «павловских дел»: многое запоминалось без всяких записей, к услугам поэта были и сведения, добытые друзьями; так, например, можно оценивать сохранившиеся в записных книжках П. А. Вяземского³ обширные извлечения из западноевропейских работ (в основном относящихся к убийству Павла I). В декабре 1835 года А. И. Тургенев добывает для Пушкина «собрание писем Екатерины II к разным osobам во время Пугачева» и между прочим «длинное письмо о кончине и о болезни первой супруги императора Павла»⁴.

Что же Пушкин искал и находил в позапрошлом царствовании?

¹ В 1834 году 28 февраля, 8 марта (две записи), 17 марта, 21 мая, 2 июля, 9 августа; 8 января 1835 года. Кроме того, косвенные оценки (сравнения «того и этого времени» и т. п.) мы видим в строках от 19 и 30 ноября, а также в начале декабря 1833-го (о Записках Марии Федоровны).

² Таковы книги Кастера, Рюльера, Массона, издания «Начертание путешествия их императорских высочеств государя Великого князя Павла Петровича и государыни Великой княгини Марии Федоровны под именем графа и графини Северных...» (СПб., 1783); «Торжество...» (по поводу бракосочетания Павла Петровича и Марии Федоровны). М., 1776 и др.

³ См.: Вяземский П. А. Записные книжки, с. 171—173, 427—428. Ряд историй в записях обоих писателей совпадают, например, об Александре I на похоронах Уварова и др.

⁴ ЛИ, т. 58. М., 1952, с. 118.

2 июня 1834 года в Дневник записано между прочим:
«Вчера вечер у Екатерины Андреевны <Карамзиной>. Она едет в Таицу, принадлежавшие некогда Ганнибалу, моему прадеду. У нее был Вяземский, Жуковский и Полетика.— Я очень люблю Полетику. Говорили много о Павле I-м, романтическом нашем императоре» (XII, 330).

Много говорили — о чем же? Дело, конечно, не только в деталях, но и в той общей идее, которую Пушкин-художник прекрасно чувствовал сквозь частности.

Речь идет прежде всего о несбыточной, благородно звучавшей павловской программе: «романтический» для Пушкина 1830-х годов имеет слегка насмешливый, отчасти уничижительный смысл.

Все это затронуто в 8-м замечании о бунте — о том, как тяжела была юность будущего императора, как его «раздражали и ожесточали ежедневные мелочные досады и подлая дерзость временщиков». Однако возвышенное, романтическое презрение к низким «реалистам», Орлову, Потемкину, было только предысторией. Главное же — самое правление Павла.

Романтической была так называемая «рыцарская идея». Когда Николай I отдает проворовавшегося офицера на суд дворянству (вместо того чтобы судить по закону), Пушкин записывает (29 ноября 1833 года):

«Конечно, со стороны государя есть что-то рыцарское, но государь не рыцарь... Или хочет он сделать опять из гвардии то, что была она прежде? Поздно!» (XII, 315).

Пушкин не без иронии пересказывает сетования царской фамилии на упадок гвардии: ясно, что дело не в шарфах и плафоках, а в свободе, «общем мнении», которые были приговорены 14 декабря 1825 года вместе со своевольными гвардейцами — Луниными, Муравьевыми, Якушкиными... Сходную мысль 3 ноября 1830 года заносит в свою записную книжку П. А. Вяземский: «Как мы пали духом со времени Екатерины, то есть со времени Павла»¹.

Пушкин вспоминает «своевольных, заносчивых» гвардейцев «при Екатерине... в начале царствования Александра» (XII, 315).

Имя Павла здесь «затерялось» между матерью и сыном; разумеется, гвардия не могла утратить в 1796 году на четыре павловских года свой «прекрасный дух» и потом быстро его возвратить в 1801-м; она и не утратила, что выразилось в

¹ Вяземский П. А. Записные книжки, с. 202.

сопротивлении, оказанном Павлу. Но притом именно Павел в своем стремлении к «консервативной утопии» видел в государстве рыцаря, старался навязать гвардии и свою систему чести, а для того возглавил мальтийский орден, искал высший смысл в теократической идеи, в повышенной роли этикета, парада, стиля...

Здесь была идея рыцарства — в основном западного, средневекового — и оттого претензия не только на российское — на вселенское звучание «шowego слова»; рыцарства с его исторической репутацией благородства, бескорыстного служения, возвышенности, храбрости.

Павел мечтал поднять рыцарство против якобинства. Облагороженное неравенство — против «злого равенства»¹.

В то же время Пушкин неоднократно обращался к другому «парадоксу» российского самодержавия: «Вы истинный член своей фамилии,— говорит поэт великому князю Михаилу Павловичу,— все Романовы революционеры и уравнители» (XII, 385).

Позже Герцен назовет самодержавие XVIII—XIX веков «деспотическим и революционным одновременно»; Павел у него действует, «завидя, возможно, Робеспьеру», в духе «Комитета общественного спасения»².

Разумеется, политика Павла по своему социальному содержанию отнюдь не была уравнительной, антикрепостнической, поэтому замечания насчет «якобинцев, терроризма» относятся более всего к форме правления, впрочем весьма неудобной для правящего сословия и в конце концов затрагивавшей реальные дворянские права и гарантии.

Своебразная «террористическая уравнительность» Павла была по-своему понята народом, примеру чему яркая, «характеристическая» история, зафиксированная в мемуарах Петра Ивановича Полетики. Именно этот эпизод, по убедительному предположению И. Л. Фейнберга³, был пересказан Пушкину и также «невидимо» подкрепил формулу: «Павел — романтический император».

«Это было в 1799 или 1800 году,— рассказывает Полетика.— Я завидел вдали едущего мне навстречу верхом императора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была тогда для всех предметом страха... Я успел заблаговременно

¹ Подробнее см.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1982, гл. III.

² Герцен А. И. Собр. соч., т. VII, с. 149, т. XX, с. 532.

³ См.: Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина, с. 402—403.

укрыться за деревянным обветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь. Когда, смотря в щель забора, я увидел проезжающего государя, то стоявший неподалеку от меня инвалид, один из сторожей за материалами, сказал: «Вот-ста наш Пугачев едет!» Я, обратясь к нему, спросил: «Как ты смеешь так отзываться о своем государе?» Он, поглядев на меня, без всякого смущения отвечал: «А что, барин, ты, видно, и сам так думаешь, ибо прячешься от него». Отвечать было нечего...»¹

Итак, царя Павла охотно сравнивают с Емельяном Пугачевым (упирая на метафорическое звучание известной фамилии: *Пугачев — пугает*). Перед нами еще один образчик того «двойного самозванства», верхнего и нижнего, которым насыщена идеология XVIII столетия: поиски подлинного царя в мужике (Петра III в Пугачеве) — и тут же иронически развенчивающее сравнение с мужиком реального царя...

Вопрос же о конечной истине, настоящем царе — открыт, сомнителен.

КОНЕЦ ЦАРСТВОВАНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II

21 мая 1834 года Пушкин записывает за П. И. Полетикой насчет Екатерины II: «Конец ее царствования был отвратителен. Константин уверял, что он в Таврическом дворце застал однажды свою старую бабку с графом Зубовым. Все негодовали; по воцарился Павел, и негодование увеличилось» (XII, 329).

Итак, «отвратительный конец царствования Екатерины» — негодование против Павла — затем критика Александра (далее, в той же записи, уже упоминавшиеся слова Ламберона, сочувствовавшего Александру-наследнику, но после — готового «развязать ... собственный шарф», то есть удушить Александра-царя).

После трех царей — четвертый, сегодняшний: Николай I. Полетика и сочувственно слушающий Пушкин как будто отдают должное: «он положителен: у него есть ложные идеи, как у его брата, но он не столь мечтателен»². Однако завершается разговор фразою: «Кто-то сказал о государе: «В нем много от прaporщика и немного от Петра Великого» (XII, 33, оригинал по-франц.).

¹ Воспоминания Петра Ивановича Полетики.— «Русский архив». 1885, № 11, с. 319—320.

² На неточность принятого перевода «фантастичен» (франц. visionnaire) указал автору С. Г. Бочаров.

Быстрый художественно-исторический очерк четырех царствований: после жизненного «реализма» Екатерины — «романтический» сын; затем Александр, в котором было «много детского», наконец, «не столь мечтательный» Николай...

Вот — как бы открытый финал рассуждений о «романтическом императоре»; такой же, как безмолвствующий народ в «Борисе Годунове»; как вопрос «где опустишь ты коньта?» в «Медном Всаднике».

Романтизм — в прошлом; но в нем было и нечто положительное, позже утраченное.

Что же в будущем?

Здесь-то сразу резко обозначается проблема пути, способов, методов.

Романовы — «уравнители, революционеры»; Павел — «Пугачев»; разоряющееся дворянство — своеобразный российский аналог западного «третьего сословия». «Эдакой стихии мятежей нет и в Европе», — замечает поэт в беседе с Михаилом.

За этими словами — пристальное внимание Пушкина к «горячим точкам» последнего столетия, где менялись правители, лилась кровь, затворялись тюрьмы. Подразумевается, конечно, и недавнее: 14 декабря, уже резко отличное по своим идеям и целям от прежних переворотов.

Еще ближе — крестьянские и поселенные бунты 1830—1831 годов — историческое эхо великого бунта 1773—1775 годов.

Кроме этих двух способов взрывать действительность есть еще и третий: преобразования в духе Петра, который «Россию вздернул на дыбы...». Конечно, «революция сверху» — совсем не то, что Пугачев или Пестель; но для поэта-историка все ураганы бушуют над одной землею, порою неотделимы друг от друга; и ведь недаром в замечаниях о Пугачеве так много обращений к 1741-му, 1762-му, 1801-му.

1801

17 марта 1834 года Пушкин заносит в Дневник: «Сидя втроем с австрийским посланником и его женою, разговорился я об 11-м марте» (XII, 322).

Эти же разговоры, очевидно, предшествуют почти всем «павловским записям» поэта: последний дворцовый переворот, случившийся уже на пушкинском веку, особенно инте-

ресен и характерен¹. Так же как мы способны кое-что услышать из разговора о «романтическом императоре», — угадываем и некоторые любопытные мотивы насчет *11 марта*.

Сведем воедино несколько фрагментов.

8 марта 1834: «Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон (куда я не явился, потому что все были в мундирах) цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-ое марта. Они сели. В эту минуту входит государь с гр. Бенкендорфом и застает наставника своего сына, дружелюбно беседующего с убийцею его отца! Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I-го» (XII, 321).

Там же: «На похоронах Уварова покойный государь следил за гробом. Аракчеев сказал громко (кажется, А. Орлову): «Одип царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит? (Уваров один из цареубийц 11-го марта)».

«Недавно на бале у него <австрийского посланника> был цареубийца Скарятин; Фикельмон не знал за ним этого греха. Он удивляется странностям нашего общества. Но покойный государь окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины. В Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать» (XII, 322).

О негодовании в отношении Павла: «Лагарп показывал письма молодого великого князя (Александра), в которых сильно выражается это чувство <негодование в адрес Павла>. Я видел письма его же Ланжерону, в которых он говорит столь же откровенно. Одна фраза меня поразила: «Я вам пишу мало и редко, потому что я под топором» (XII, 329)².

Названы важнейшие свидетели: цареубийца Скарятин, один из главных мемуаристов Ланжерон, Полетика. Поскольку сохранились записи А. О. Смирновой и П. И. Полетики насчет цареубийства 1801 года, мы имеем весомые основания предположительно назвать еще несколько «анекдотов», которые слышал Пушкин; правда, соответствующие записи Смирновой-Россет сделаны не ранее 1840-х годов³, но почти

¹ Много важных наблюдений об этом см. в кн.: Фейерберг Илья. Читая тетради Пушкина. М., 1981, с. 315—325.

² Ориг. письма по-франц.

³ В Дневнике А. О. Смирновой запись о беседе с Полетикой — 31 марта 1845 года. См.: Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. Сост. и примеч. Л. В. Крестовой. М., 1929, с. 293.

полное совпадение некоторых мотивов у Пушкина и Смирновой позволяет ввести в круг «пушкинированных» фактов и рассказов еще и следующие: «А. О. Смирнова удивляется осведомленности французского историка Тьера об убийстве Павла — «верные и подробные известия, совершенно изустные до сих пор у нас». Полетика в ответ дает интересный и верный «разбор источников». В рассказе звучат имена пушкинских знакомцев, Бологовского и Ланжерона; у последнего, как уже отмечалось, поэт многое узнал о 1801 году, Бологовского же (в 1823 г.) ошарашил внезапным «здравлением» в день 11 марта...¹

Кроме этого рассказа Полетики мы знаем и то, что он посещал «главного цареубийцу» Палена в его курляндском имении (фактической ссылке при Александре I)²; что брат П. И. Полетики, Аполлон Иванович, вечером 11 марта 1801 года служил (как камер-паж) у вечернего стола Павла I и, «возвратясь домой в 11 часу, рассказывал <...>, что за ужином употреблен был в первый раз новый фарфоровый прибор, украшенный разными видами Михайловского замка. Государь был в чрезвычайном восхищении, многократно целовал рисунки на фарфоре и говорил, что это был один из счастливейших дней в его жизни. Через час или два его не стало»³.

Затем П. И. Полетика был свидетелем «общей радости, когда сама природа, как бы участвуя, изменилась в погоде, которая, быв до 12 марта сырья и пасмурная, совершенно прояснилась...». Он запомнил, как «показались на улицах круглые шляпы и фраки, строго до того запрещенные» (и подумал, что «для многих перемена одежды была главным наслаждением в последовавшем событии»). Приводит Полетика также острую шутку сына русского генерала (и немецкого писателя) Ф. И. Клингера, который, увидев Беннигсена, одного из главных цареубийц, сказал: «Вот наш Тезей, скоро увидим Минотавра (и после того вошел в комнату, где лежало тело императора в мундире на походной кровати»⁴.

Наконец, в «Автобиографии» А. О. Смирновой мы находим не только любопытные факты о тех же делах, но и взгляд мемуаристки, явно сходный с позицией Пушкина: это рассуждения, отличающиеся от упрощенной, распространенной в разных общественных кругах версии о «сумасшедшем дес-

¹ См.: Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 300.

² Там же, с. 294.

³ «Русский архив», 1885, № 11, с. 322.

⁴ Там же, с. 322—323.

поте»; в них следы здравого историзма, переходящие иногда даже в чрезмерное обеление Павла I.

«Нет сомнений,— записывает мемуаристка,— что несчастный Павел был подвержен припадкам сумасшествия. Но кого же он сделал несчастным? Он ссылал в Москву, в дальние губернии. При нем не было рекрутского набора, нового налога, не было войны. Россия была покойна. Я раз говорила князю Дмитрию Александровичу Хилкову, что император Павел навел страх на всю Россию. «Скажите — на Петербург. Страх божий начало премудрости».

После страшной распущенности царствования Екатерины нужна была строгая рука. Он разогнал толпу и оставил при себе Куракина, который вполне заслуживал его доверие. Павел был человеком религиозным и нравственным. Павел получил столовый фарфоровый сервиз от прусского короля. Никогда не был так весел, как в этот вечер 11 марта, щутил с Нарышкиным, разговаривал о Наполеоне и его войнах. Он сказал великие слова: «Мне кажется, что государи не имеют права проливать кровь своих подданных. Надо ввести «божии суды» старых времен и биться один на один в открытом поле». Павел был рыцарь в полном смысле этого слова.

Кстати или некстати в Петербург приехал из деревни старик Скарятин и был на бале у гр. Фикельмона. Жуковский подошел к нему и начал расспрашивать все подробности убийства: «Как же вы покончили наконец?» Он просто отвечал, очень хладнокровно: «Я дал свой шарф, и его задушили». Это <...> рассказывал мне Пушкин¹.

Заниси самого Полетики, а также Смирновой — со слов Полетики и других осведомленных лиц — все это пушкинский интерес, пушкинские разговоры, и многое (если не все) идет к поэту, а также отчасти приходит от него: кроме истории со Скарятиным Смирнова помнит и пушкинские слова, что после гибели Павла «в несколько часов не было ни одной бутылки шампанского, совершив такое глупое дело, все ликовали»².

Непросто, однако, уловить все изгибы пушкинской мысли: поэт лучше других видит сравнительные черты разных царствований, удивляется по поводу бесстыдного пребывания Скарятина во дворце, жадно интересуется 11 марта, стремится осмотреть событие «шекспировским взглядом», найти доводы «за Павла», не забывая действительных, а не выду-

¹ Смирнова А. О. Автобиография. Подгот. к печати Л. В. Крестовой. М., 1931, с. 223—224.

² Там же, с. 223.

манных *против*; ощущает связь времен — особенно 1801-го и 1825-го.

В дни суда и казни декабристов у многих современников возникли мысли о более счастливой судьбе прежних заговорщиков. Императрица Мария Федоровна, как известно, надеялась, что Николай I четверть века спустя накажет еще живших убийц Павла вместе с декабристами; в буквальном смысле этого не случилось, но можно сказать, что декабристы платили и за 11 марта.

Пушкин хорошо понимал разницу двух исторических событий, сопоставляя *удачу 1801 года* с «необъятной силой веющей» в 1825-м; постоянно обдумывал роль случая в цепи исторических законов... Ироничную версию автора «Графа Нулина» (о пощечине, которая если бы дана была Тарквинию, то изменила бы ход мировой истории) В. Э. Вацуро тонко сопоставляет с неизвестным прежде свидетельством В. А. Соллогуба:

«Пушкин рассказывал, что, когда он служил в Министерстве иностранных дел, ему случилось дежурить с одним весьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее.

Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: «Указ ё иператорского> в<еличества>» — и кинул чернилами. Поспешно схватил он другой лист, снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начала приказания и боялся начать с середины, сидел ни жив ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего.

— Что ж государь? — спросил Пушкин.

— Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел.

— А что же диктовал вам государь? — спросил снова Пушкин.

— Хоть убейте, не могу сказать. Я до того был испуган — что ни одного слова припомнить не могу».

В. Э. Вацуро справедливо замечает, что именно к 1833—1835 годам — времени интенсивных записей о Павле — «в памяти Пушкина и всплывает забытый анекдот, характеризующий данное направление интересов, и он прекрасно включается в общий контекст других услышанных или рассказанных им тогда же анекдотов-новелл на близкие темы». Глубинный смысл истории, скрытый за «пародийностью внешнего содержания», — проблема случая, «несостоявшейся истории»¹.

Столкновение случая с «необъятной силою вещей», разнообразные стремления овладеть этой силой, направить ее в желаемую сторону — все это отразилось и в нескольких еще почти не изученных пушкинских заметках о давних, несостоявшихся планах *ограничения самодержавия*.

Поэт в 1830-х годах — не конституционалист; вместе со своим героем Гриневым он находит, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения правов, без всяких насильственных потрясений».

Он не видел реальных сил, способных свергнуть много вековое самодержавие, а потом еще удержаться на конституционной почве. Не случайно, думаем, в сочинениях и заметках последних лет Пушкин так много толкует о восстаниях, народной стихии, «революции сверху» — и так мало о разных конституционных попытках. Кроме того, что о них почти нет материала, — поэта удерживает скепсис насчет той исторической линии, что обозначается уже в 1730 году, не прекращается при всех почти политических переворотах XVIII века и совсем на новой основе является в планах декабристов. Пушкин не верит, кажется, что все это в российской «природе вещей». Отрицая в ранней работе (1822) «гордые замыслы Долгоруких», он, как уже отмечалось, почти не меняет этого взгляда позже — и даже находит прогрессивные стороны в бироновском укрощении мятежного «боярства».

Бибиков, Панины, партия наследника Павла, — этим людям поэт-историк сочувствует как личностям, но совершенно не касается их конституционных планов. Трудно, правда, сказать, насколько поэт представлял эти замыслы: ведь первый проект Н. И. Панина (1762 г.) был сначала обна-

¹ См.: Вацуро В. Э. Из разысканий о Пушкине.— Временник Пушкинской комиссии. 1972. № 1974, с. 100—104.

ружен 14 ноября 1826 года Николаем I в бумагах Александра I и строго засекречен почти на полвека¹. Однако более поздние «панинские бумаги», связанные со славным именем Д. И. Фонвизина, читались и изучались современниками Пушкина. В I главе «Онегина» «Фонвизин — друг свободы» — если не об этих документах, то уж в связи с ними... Многосторонние познания П. А. Вяземского о потаенной политической деятельности Фонвизина не оставляют сомнений, что и Пушкин о том знал; так, в записную книжку Вяземского заносятся строки о вручении Павлу I «Непременных законов» Д. И. Фонвизина². Текст фонвизинского конституционного сочинения был в распоряжении Вяземского. В пушкинских же материалах к «Истории Пугачева» мелькают любопытнейшие выписки из книги Феррана «История трех разделов Польши», где речь идет именно о панинской конспирации против Екатерины в начале 1770-х годов: «Сальдерн пишет проект переворота в пользу великого князя — Панин его прочел, разорвал, бросил в огонь и продолжал пользоваться услугами Сальдерна»³ (IX, 807).

Таким образом, попытки ограничения самовластия в 1762, 1770, 1780 годах были отчасти известны Пушкину, но не попали в круг его основных исторических интересов.

Первые его «конституционные наблюдения» (не считая реплики о Долгоруких) относятся к истории 1801 года и заслуживают специального разбора.

ПАНИН — МУРАВЬЕВ

Осенью 1834 года Пушкин сделал запись, вошедшую в его «Table-talk» и ввиду ее характера полностью опубликованную лишь в 1881 году: «Дмитриев предлагал имп. Александру Muравьеву в сенаторы. Царь отказался начисто и, помолчав, объяснил на то причины. Он был в заговоре Палена. Пален заставил Muравьеву писать конституцию,— а между тем произошло дело 11 марта. Muравьев хвастался в последствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на рево-

¹ См.: Сборник Императорского русского исторического общества (РИО), т. 7. СПб., 1871, с. 217.

² См.: Вяземский П. А. Записные книжки 1813—1848. М., 1963, с. 411; Петрунина Н. Н. Указ соч.— «Русская литература», 1980, № 4.

³ О связях Н. И. Панина с авантюристом Сальдерном см.: сб. РИО, т. 19. СПб., 1876, с. 399—402; Шильдер Н. К. Император Павел I, с. 77—78.

люцию, как с тем, чтобы наследник подписал хартию. Вздор.— План был начертан Рибасом и Паниным. <...> Паденье Панина произошло от того, что он сказал, что все произошло по его плану. Слова сии были доведены до государыни Марии Федоровны — и Панин был удален (слышал от Дмитриева)» (XII, 161).

Эта запись до сих пор отчасти таинственна. Очевидно, современникам нелегко было доискаться истины; даже такому важному человеку, как поэт Иван Иванович Дмитриев, который был при Павле обер-прокурором Сената, при Александре I — министром юстиции. Его память, к которой нередко обращался Пушкин, занимаясь потаенной русской историей, была точна. Начало эпизода до слова «вздор» кажется довольно верным воспроизведением разговора с царем, происходившего, скорее всего, между 1810 и 1812 годами: именно в это время министр юстиции много занимался составом Сената¹; позже царь уехал на войну, Дмитриев попал в немилость, в 1814 году попросился в отставку и почти безвыездно жил в Москве.

Итак, Александру донесли, что Иван Матвеевич Муравьев (отец трех будущих декабристов Муравьевых-Апостолов) «хвастался». «Вздор» — эта оценка, скорее всего, принадлежит Дмитриеву, потому что пушкинское пояснение «слышал от Дмитриева» относится ко всему эпизоду. «Вздор», — говорит Дмитриев и, вероятно, соглашается Пушкин. Дмитриев и Пушкин знают, что царь говорит о Муравьеве вздор, потому что план заговора (регентство, конституция) принадлежит Панину и Рибасу. Смысл же воспоминания Дмитриева в том, что не Пален с Муравьевым, а Панин все придумал. Но ведь И. М. Муравьев-Апостол, посланник в Копенгагене, именно Паниным был повышен и летом 1800 года переведен в Петербург, в Иностранную коллегию: известно, что он был заодно именно с Паниным, «преданная Панину душа». Естественно было бы услышать царское негодование по поводу слов «Пален — Муравьев»... Но Дмитриев настаивает: вздор! не Пален — Муравьев, а Панин — Рибас.

Притом в записи Пушкина за И. И. Дмитриевым содержалось любопытное утверждение престарелого писателя и бывшего министра: «План был начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал, раскаясь и будучи осыпан милостями Павла» (XII, 161).

¹ См.: Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866, с. 184—243.

Раскаяние Рибаса — откуда это знал И. И. Дмитриев, информировавший Пушкина? В конце концов, «все знал» только лидер заговора П. А. Пален.

На исходе ноября 1800 года, когда попавший в немилость Н. И. Панин уезжает из столицы, разворачиваются драматические события. Кушелев, командующий флотом и один из безусловно преданных Павлу деятелей, тяжело заболевает. Докладчиком по морским делам, т. е. фактически исполняющим обязанности морского министра, делается Рибас (возможно, не без участия Палена). Однако через несколько дней, 2 декабря 1800 года, один из первых заговорщиков умирает на 50-м году жизни.

Это обстоятельство обросло позже подробностями и вымыслом (например, о том, что Рибас должен был ударить царя отравленным стилетом, но вдруг захворал, в предсмертном бреду каялся и т. п.)¹.

Куда менее фантастическим представляется рассказ о Рибасе историка, писавшего в начале XX века и располагавшего какими-то данными, не известными по другим источникам: «Ловкость докладчика, его уверенность в счастливом исходе войны <с Англией> и сделанные им предположения об обороне Кронштадта очень понравились Павлу, и он тотчас же начал оказывать ему благоволение; говорили, что коварный Рибас, польщенный этим, думал уже открыть императору планы заговорщиков»².

Действительно, заговор в критической точке: Панин удален, а тут карьера идет сама в руки аморального авантюриста. Далее легенда-версия утверждает, будто Рибаса отравили накануне важных признаний: «Есть известие, что <Рибасу> было подано «по ошибке» вредное лекарство», и Пален неотлучно находился при умирающем, чтобы «не дать ему проговориться даже на исповеди»³.

Сходство двух совершенно разных рассказов в том, что яд — средство, которым будто бы хотел действовать сам Рибас, — обращается против него самого. Не явились ли «эмоциональным отзвуком» эпизода меры предосторожности против отравы, принятые Павлом как раз в это время (если судить по депеше датского посланника Розенкрапца от 17 декабря 1800 г.)⁴.

¹ См.: Головина В. Н. Мемуары. М., 1913, с. 252.

² Шумигорский Е. С. Император Павел I. Жизнь и царствование. СПб., 1907.

³ Там же, с. 196—197.

⁴ ПБ, ф. 859, к. 24, № 3, л. 94.

Так или иначе, но со сцены сходит второй из организаторов конспирации. Отныне все нити были исключительно в руках Палена.

Позже Пален не скрывал от Ланжерона, что с самого пачала сочувствовал «крайним мерам»: «Надо было устраниТЬ Павла — Рибас высказался за яд, Пален — в пользу переворота, может быть из-за необходимости открыть свои планы великому князю Александру и заручиться его согласием, убедив его, что хотят только заставить его отца отречься от престола и заточить его, но что жизнь его будет пощажена, в чем не могли бы обнадежить его, если б говорили ему об отравлении»¹.

Другой источник, не зависимый от записок Ланжерона, но опирающийся на ценные агентурные сведения, поступавшие к Наполеону, также свидетельствует: «Первым, кто задумал и предложил убить Павла, был Рибас»².

Однако вернемся к нашей истории, записанной Пушкиным за Дмитриевым.

Возможно, блок «Пален — Рибас» не противоречит тому, что и Муравьев в конце 1800-го и начале 1801 года работал с лидером заговора (тем более что у Палена, очевидно, тоже была идея — ввести «хартию», конституцию).

В пушкинской записи угадываются два разговора Дмитриева с Муравьевым-Апостолом: после первого Дмитриев ходатайствует, царь отказывает. Дмитриев сообщает об отказе Ивану Муравьеву, тот объясняет события по-своему. Важной параллелью к этим сведениям служит известное письмо-исповедь И. М. Муравьева-Апостола Г. Р. Державину от 10 сентября 1814 года, где между прочим находились следующие строки: «Я родился с пламенной любовью к отечеству; воспитание еще возвысило во мне сие благородное чувство, единое достойное быть страстию души сильной; и 44 года не уменьшило его ни на одну искру; как в двадцать лет я был, так точно и теперь готов, как Курций, броситься в пропасть, как Фабий, обречь себя на смерть; но отечество не призыва-

¹ «Revue britannique», 1895, № 7, с. 68 (на франц. яз.). В книге «Цареубийство 11 марта», (СПб., 1907, с. 113) первые три строки этого отрывка искажены при переводе или затемнены цензурой: план Рибаса представлен без слов насчет яда, и от этого делается непонятной последняя строка отрывка «об отравлении».

² D'Allonneville. Mémoires, tirés des papiers d'un homme d'état, v. 8. Paris, 1834, p. 81.

ет меня; итак безвестность, скромные семейственные добродетели — вот удел мой. Я и в нем не вовсе буду бесполезным отечеству: выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию.— Благодарю Всеизыншего! Как золото в горниле, так душа моя очистилась несчастием: прежде могло ослеплять меня честолюбие, теперь же любовь моя к отечеству чем бескорыстнее, тем чище; пылает — не ожидая ни наград, ни даже признательности¹.

Сказанное, недосказанное, даже не высказанное в этом письме, самый стиль его позволяют кое-что угадать и понять. В послании мелькают образы: «любимец счастья», «призраки честолюбия», «поприще, усыпанное цветами» — и так до 35 лет. Затем — крушение и муки; муки жестокие: восемь лет «раны сердца» не закрывались и, кажется, к 1814 году еще не совсем закрылись. Что же случилось?

В разных местах послания находим: «Великое училище злополучия», «тернии», «гнусная клевета», «несправедливое обо мне заключение»...

Очевидно, Иван Муравьев незадолго перед тем объяснялся с И. И. Дмитриевым насчет Сената и царской немилости, а теперь страдает из-за клеветы — будто он писал конституцию под пажимом Палена и хвастался, что не принимал 11 марта «без хартии»... Но дело, кажется, не только в этом. В письме четырежды говорится о честолюбии («излишнем честолюбии»). Почему-то оно названо даже «ненавистным призраком»: раньше, как можно попять, опо столь было сильным у Ивана Матвеевича, что «ослепляло», рождало сны вместо ощущения жизни и радости бытия. Создается впечатление, что не только клеветников, но и себя винит автор письма; та клевета как-то даже вытекает из его честолюбия: «отечество не звало», но он сам что-то предлагал отечеству! Вероятно, И. М. Муравьев когда-то проявил чрезмерное усердие, полагая, что это полезно для отечества, надеясь на «награду и признательность», и это усердие могло быть истолковано как стремление к собственной карьере.

1800—1801 годы, конец павловского царствования, дружба с Паниным, предложения заговорщиков — вот тогда, очевидно, и было проявлено это усердие, позже криво истолкованное, поднесенное Александру определенным образом.

Таинственность эпизода, его характерность для политической атмосферы начала века, понятный интерес к нему вид-

¹ См.: сочинения Г. Р. Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. VI. СПб., 1871, с. 298.

тых деятелей литературы и общественной мысли — все это позволяет связать данную цепь событий и с будущим формированием мыслей, чувств у детей оскорбленного И. М. Муравьева-Апостола, «достойных умереть за Россию».

Чем же собирались ограничить самовластие в 1800 году Панин, Пален, Муравьев?

Обсуждалась (как видно из воспоминаний Беннигсена) важная роль Сената¹. Непрерывные удары, которым подвергалось это учреждение при Павле, объяснялись несовместимостью существовавших там, пусть слабых, элементов обсуждения, голосования с идеей предельного самовластия.

Во время переворота 1762 года роль Сената, сенатских объявлений была довольно велика; на Сенат, как на вполне авторитетное национальное собрание, опиралась и ссылалась тогда Екатерина II, узаконивая свои сомнительные права на престол. Во время своего царствования императрица рассмотрела и ряд проектов расширения прав Сената; проекты остались на бумаге, но мысль о необходимости усиления этого учреждения не умирала.

Практический Пален, однако, с недоверием смотрел на гражданских лиц: «Мы лишь хотели заставить государя отречься от престола, и граф Панин одобрил этот план. Первой нашей мыслью было воспользоваться для этой цели сенатом; но большинство сенаторов болваны, лишенные души и способности отдаваться идеям высшего полета»².

В свою очередь важные гражданские персоны осуждали позже Палена за грубость, военное решение тонких, требующих «обсуждения и взвешивания» проблем³.

Серьезные расхождения двух лидеров заговора в средствах не противоречат тому, что, по-видимому, оба считали ситуацию удобной и необходимой для введения конституции; только Панин видел повод для этого в регентстве, а Пален — в уничтожении Павла I. Более того, Панин позже будет намекать, что арестованный Павел дал бы лучший повод для хартии, определенного ограничения царской власти, регентского совета, — нежели царь, убитый и замененный другим, «хорошим» (и оттого «не нуждающимся» в конституционном ограничении!).

¹ Из записок графа Беннигсена.— В сб.: Цареубийство 11 марта 1801 года. СПб., 1907, с. 117.

² Из записок графа Ланжерона.— В сб.: Цареубийство 11 марта 1801 года, с. 258.

³ См., например, письмо С. Р. Воронцова Н. П. Панину от 6/18 мая 1801 года (Архив князя Воронцова, т. XI, с. 186, на франц. яз.).

Вопрос столь же важный, сколь и темный. То, что не сбылось, имеет, естественно, немалый исторический интерес, как одна из возможностей, как тенденция, как признак существования некоей силы, определенного мнения, пусть и не победоносного...

ТРОЩИНСКИЙ

Основной рассказ об интересующих нас событиях принадлежит Беннигсену, который за несколько часов до переворота 11 марта «часов в 10 приехал к Платону Зубову. Я застал у него только его брата, графа Николая, и трех лиц, посвященных в тайну. <...> Князь Зубов сообщил мне условленный план, сказав, что в полночь совершится переворот. Моим первым вопросом было: кто стоит во главе заговора? Когда мне назвали это лицо,— я не колеблясь примкнул к заговору»¹. Назвали, понятно, наследника, великого князя Александра.

Однако кто же были те *три лица*, которых Беннигсен встретил в одном из главных центров заговора? «Одно было из сената (Трощинский), и ему предназначалось доставить туда приказ собраться, лишь только арестуют императора». В сборнике «Цареубийство 11 марта 1801 года» в соответствующем месте фамилия *Трощинский* пропущена, но восстановлена в полной публикации письма великим князем Николаем Михайловичем². Имя Трощинского вносит в число заговорщиков и племянник Беннигсена фон Ведель, записывающий со слов дяди³. Наконец, принц Евгений Вюртембергский помещает в свой дневник «документ, составленный из воспоминаний генерала фон Беннигсена, личных рассказов князя Платона Зубова (которого я встречал в 1810 и весной 1812 под Вильню у Беннигсена) и из личных воспоминаний многих других участников заговора»⁴.

Так вот, по словам главных свидетелей, «тайный советник Трощинский составил манифест, в котором император по болезни передавал власть великому князю **Александру**»⁵.

¹ Сб.: Цареубийство 11 марта 1801 года, с. 117.

² «Исторический вестник», 1917, № 5—6, с. 555.

³ Сб.: Цареубийство... Изд. 2-е, СПб., 1908, с. 166.

⁴ Aus dem Leben des kaiserlich Russischen Generals der Infanterie Prinzen Eugen von Württemberg, aus dessen eigenhandigen Aufzeichnungen, so wie aus dem schriftlichen Nachlaß seines Adjutanten, gesammelt und herausgegeben von Freiherrn von Helldorf. Th. I. Berlin, 1861, S. 135.

⁵ Там же, с. 140. О том, что Трощинский был вполне осведомлен насчет предстоящих событий, писал И. Л. Фейнберг («Незавершенные работы Пушкина», с. 402).

Эпизод непростой и пушкинский...

9 августа 1834 года Пушкин заносит в свой Дневник следующую запись: «Трощинский в конце царствования Павла был в опале. Исключенный из службы, просился он в деревню. Государь, ему на зло, не велел ему выезжать из города. Трощинский остался в Петербурге, никуда не являясь, сидя дома, вставая рано, ложась рано. Однажды, в 2 часа ночи является к его воротам фельдъегерь. Ворота заперты. Весь дом спит. Он стучится, никто неайдет. Фельдъегерь в протаявшем снегу отыскал камень и пустил его в окошко. В доме проснулись, пошли отворять ворота — и поспешно прибежали к спящему Трощинскому, объявляя ему, что государь его требует и что фельдъегерь за ним приехал. Трощинский встает, одевается, садится в сани и едет. Фельдъегерь привозит его прямо к Зимнему дворцу. Трощинский не может понять, что с ним делается.— Наконец, видит он, что ведут его на половину великого князя Александра. Тут только догадался он о перемене, произшедшей в государстве. У дверей кабинета встретил его Панин <так!>, обнял и поздравил с новым императором. Трощинский нашел государя в мундире, облокотившимся на стол и всего в слезах. Александр кинулся к нему на шею и сказал: будь моим руководителем. Тут был тотчас же написан манифест и подписан государством, не имевшим силы ничем заняться» (XII, 331—332).

Понятно, речь идет о событиях, случившихся несколькими часами позже и, казалось бы, никакого отношения к вечеру у Зубовых не имеющих.

В пушкинской записи соединились сведения исторически довольно точные, но явно переданные в виде устного предания.

Б. Л. Модзалевский предположил (имея в виду осведомленных «общих знакомых» Трощинского и Пушкина), что, «быть может, именно Гоголь (а может быть, Сперанский) рассказал Пушкину про памятную ночь 11—12 марта 1801 г.¹, когда Трощинский был вызван в Зимний дворец и здесь был встречен главою заговора против Павла — петербургским военным губернатором графом Петром Алексеевичем фон-дер-Паленом»².

¹ Трощинский, как известно, покровительствовал своему дальнему родственнику Н. В. Гоголю; М. М. Сперанский был связан с Трощинским по службе.

² См.: Дневник Пушкина 1833—1835, под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.—П., 1923, с. 208.

Пушкинская ошибка или описка («Панин» вместо «Пален») естественна при тогдашнем уровне таинственности и запретности темы 11 марта. Однако всему образованному кругу пушкинской поры было известно, что именно Троцкий написал знаменитый манифест о восшествии на престол Александра I, что ему принадлежали сильно прозвучавшие в 1801 году строки, где царь отрекался от политики Павла I и торжественно клялся «управлять богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей государыни Екатерины Великого»¹. Не для того, чтобы повторить всем известное, занес Пушкин в дневник приведенный отрывок: его, естественно, занимают выразительные историко-художественные подробности — страшная ночь, камень в окошке, неведение Троцкого... Последнее, ножалуй, главный мотив рассказа. И от кого бы ни узнал его поэт, явно слышен голос первоначального рассказчика, самого Троцкого. Это ему, старому многоопытному савовнику, на закате дней (а прожил он с 1747-го по 1829-й) нужно подчеркнуть свою непричастность к убийству Павла: «просился в деревню», и если бы Павел «на зло не велел», то уехал бы; в столице «пикуда не является», — «сидя дома, вставая рапо, ложась рапо». Это постоянное подчеркивание своего алиби — почти назойливо. Тема продолжается: в то время как во дворце меняют царя, в доме Троцкого все спят, «никто пейдет», даже во дворце сенатор еще «не может понять, что с ним делается»...

Пушкин, никогда, по-видимому, не говоривший с Троцким, прекрасно улавливает главный мотив версии (пусть дошедшей и через посредника) и не имеет оснований в ней сомневаться; но именно талантливой передачей старого рассказа поэт позволяет нам заглянуть в «подтекст», в исторические глубины, скрытые даже от современников.

11 марта 1801 года Троцкому уже 53 года, и он успел к тому времени прожить многосложную жизнь: выходец из мелкой украинской шляхты (простые казаки просили позже разрешения хотя бы просто взглянуть на «одного из своих», вознесшегося до министерских должностей!), он окончил Киевскую духовную академию и выдвинулся, блестяще ведя канцелярию — сначала у генерала Н. В. Репнина, затем — у А. А. Безбородки, наконец, у Екатерины II (в последние годы он был ее статс-секретарем). При Павле I его биография, как эхо, отразила перипетии карьеры шефа, покровите-

¹ Шильдер И. К. Император Александр I, т. 2. СПб., 1897, с. 6.

ля и земляка — Безбородки; в 1797 году, при коронации Трощинскому пожаловано 30 тысяч десятин и 2 тысячи душ, а в 1799-м он на время сходит с политической сцены. Именно 6 апреля 1799 года, в день смерти Безбородки, Трощинского увольняют с должности президента Главного почтового управления, а 14 октября 1800 года отправляют в отставку «по прошению»¹.

Далее идут пять месяцев жизни, о которых мы знаем по дневниковой записи Пушкина: Трощинский в Петербурге и якобы ни во что не входит. Но за несколько часов до роковых событий во дворце, за 4 часа до того, как окно в доме Трощинского будет разбито фельдъегерем, мы вдруг обнаруживаем (благодаря рассказу Беннигсена), что Дмитрий Прохорьевич находится на тайном совещании заговорщиков высочайшего ранга в доме Зубова!

Как же так?

Понятно, опорных документов почти нет — и приходится выдвигать гипотезы. Взгляды бывшего статс-секретаря Екатерины II нам известны. Близкий к Безбородке (и Кочубею), он, несомненно, разделял мысли этих деятелей насчет необходимости «умеренного правления», был сторонником либерального, просвещенного варианта самодержавной власти. Трощинский был в курсе «конституционных мечтаний» наследника Александра и его молодых друзей, и мимо него не прошли тайные контакты этой группы с Безбородкой в 1798—1799 гг. (когда канцлер, вероятно с помощью Трощинского, составлял для Александра записку о своих принципах)².

Позже, в царствование Александра I, Трощинский занимает высокие государственные посты (министр юстиции и др.), в конце концов «не приемлет» Аракчеева, оказывается в оппозиции, и его имя привлекает как украинских патриотов, так и широкие круги декабристов. В знаменитых Кибницах, полтавском имении Трощинского, среди постоянных

¹ См.: «Русская старина», 1882, № 6, с. 646—647. Первоначально нарастающая немилость Павла, впрочем, чередовалась с актами благоволения: 8 апреля 1799 г. Трощинскому дали орден св. Александра Невского, а 8 ноября 1800 г. он пожалован почетным командором Ордена св. Иоанна Иерусалимского. См.: ПД, ф. 538 (Трощинского), оп. 1, № 144.

² См.: Шильдер Н. К. Император Александр I, т. 1, с. 171—172; Эйдельман Н. Я. Первый заговор против Павла.—«Вопросы истории», 1981, № 1, с. 109—110; Сафонов М. М. Записка А. А. Безбородко о потребностях Империи Российской.—В сб.: Вспомогательные исторические дисциплины, т. XIV. Л., 1983, с. 180—194.

гостей — декабристы либо люди декабристского круга: братья Муравьевы-Апостолы, Капнисты, Бестужев-Рюмин. «Первый декабрист» В. Ф. Раевский в своих воспоминаниях замечает: «Власть Аракчеева, ссылка Сперанского, неуважение знаменитых генералов и таких сановников, как Мордвинов, Троцкий, — сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшения, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества»¹.

Но какова же была позиция Троцкого в начале 1801 года?

Историко-биографический контекст этих событий — между десятилетиями «Екатерины — Безбородки» и годами либеральных надежд, декабристского соседства.

Вечером 11 марта 1801 года Троцкий приглашен к Зубовым — очень возможно, что по указанию наследника; что это — отзыв его старых контактов с Безбородкой, Кочубеем...

Зачем же позвали сенатора?

Беннигсен помнит, что Троцкому «предназначалось доставить другим сенаторам приказ собраться, лишь только арестуют императора <Павла>»². Это весьма правдоподобно. Однако главная цель «гражданского обеспечения» операции — подготовить нужный документ, *манифест*.

Сохранилось немало свидетельств того, что в следующие часы Пален и Зубов располагали какой-то важной бумагой: именно тем листом, который через час будет показан широкому собранию офицеров, а позже — предъявлен Павлу I...

Историк, писавший в начале XX века, сомневался: «Проект отречения — выдумка, имевшая целью смягчить впечатление цареубийства в глазах нового императора и общества»³. Однако не все тут просто: кое-что слышали о документе Саблуков, Коцебу, позже — Михаил Фонвизин. На память приходит и манифест, тайно набросанный Чарторыйским по воле Александра еще в 1797-м⁴. Наконец, последний весомый довод в пользу того, что документ существовал: не таков был граф Пален, чтобы упустить малейший способ воздействия на заговорщиков, сенаторов и подданных разного ранга... Та же логика, которая привела к приказу — всем лидерам заго-

¹ ЛН, т. 60, кн. I, с. 117.

² Сб.: Цареубийство... СПб., 1907, с. 117.

³ Шумигорский Е. С. Император Павел I. Жизнь и царствование, с. 209.

⁴ См.: Шильдер Н. К. Император Александр I, т. 1, с. 166—167.

вора явиться при параде, в лентах, орденах¹, — требует, чтобы под руками был звучный текст, манифест, явно одобренный наследником и придающий событиям вид максимальной законности. Изготовить подобный документ на день-два раньше противоречило бы паленскому принципу открывать карты в последний момент; но и без грамоты — нельзя: наиболее удобный момент для ее рождения — на квартире Зубова около 10 часов вечера (это, разумеется, не противоречит тому, что автор бумаги получил предварительный сигнал Палена и что наследник вполне осведомлен).

Все это, конечно, очень выбко — но если идти по аналогии, то и в 1762 году, и в 1825-м действиям предшествовало создание «опорных документов». Надо думать, они существовали и в ночь на 12 марта 1801 года.

То, что за Трощинским пошли еще раз через четыре часа, не только не опровергает, но подтверждает его особую роль.

Дело в том, что в 10 вечера требовалась одна бумага, а в два часа ночи — совсем другая.

На квартире Зубова — независимо от того, что «держат в уме» главные заговорщики, — планируется операция по той схеме, что обещана наследнику: Павла арестовывают, запирают, объявляют сумасшедшим, Александр провозглашается регентом или императором. Без сомнения, при этом упоминалась воля Екатерины II, ее желание передать престол внуку: тот самый мотив, который наутро, в измененном виде, даст формулу и для следующего манифеста — «управлять по законам и по сердцу августейшей бабки нашей».

Итак, *документ об отречении*, объясняющий высшими государственными соображениями низложение Павла; документ того же типа, который некогда обосновал низложение Петра III (в тот день еще живого — убитого через неделю). Вот что, по всей видимости, было принесено на квартиру Зубовых или там сочинено.

Дальнейшая логика поведения Трощинского кажется ясной: он не пойдет на самое последнее сбощище офицеров-заговорщиков (на квартире Талызина) — там дело военное; его задача — оповестить сенаторов (очевидно, тех, на которых можно положиться), чтоб они были готовы съехаться и утвер-

¹ Ср. в пушкинской оде «Вольность»:

Он видит — в лентах и звездах,
Вином и любой упоенны,
Идут убийцы потаенны...

дить (как в 1762-м) случившиеся перемены: одобрить «манифест № 1».

Конечно, Троцкий не может избежать мысли — что будет, если переворот провалится и Павел возьмет верх? Скорее всего, именно на этот случай в его доме особенно крепко заперли ворота, наглухо замкнули двери — и «никто ничего не знает»... Стук в ворота, а затем — камень в окошко не «планировались»; шум, очевидно, вызывает ужас Троцкого, который решает, что все провалилось. Рассказ, записанный Пушкиным, передает многие из тех чувств, которые действительно владели сенатором, пока его везли во дворец в третьем часу ночи.

Оказалось же, что нужен «манифест № 2», отражающий страшный поворот событий той ночи — убийство Павла. Александр не случайно посыпает именно за Троцким, а не за каким-либо другим сенатором или «законником»: ведь министр уже в заговоре, он все понимает, вдобавок — он серьезный свидетель важного для Александра факта; что убийство не «предполагалось», что именем Александра сначала составлялся другой манифест, предусматривающий другую ситуацию.

Разумеется, все, что сказано выше о роли Троцкого — гипотеза. Документа нет — он был истреблен или глубоко запрятан в государственные архивы. Сохранять его было невыгодно заговорщикам, ибо выходило, что они «превысили полномочия». Александра же, вскоре потребовавшего полного молчания вокруг 11 марта, обжигало любое документальное свидетельство, тем более документ, составленный, конечно, «от его имени».

Кстати, имя И. М. Муравьева-Апостола тоже мелькает в документах о последних совещаниях заговорщиков¹; и он гражданский заговорщик (как мы знаем, тесно связанный с первым гражданским основателем заговора — Н. П. Паниным).

О «конституции 1801 года» больше всего говорит «лицо заинтересованное», но появившееся в столице только через два года после событий 11 марта, — декабрист Михаил Фонвизин пересказывает то, что сам «слышал от графа Петра Александровича Толстого, который был при Павле I генерал-адъютантом».

Со слов Толстого Фонвизин указывает на «одно важное обстоятельство, мало известное, но которое он, будучи тогда

¹ См.: D'Allonne. Указ. соч., т. 8, с. 84, 89.

в Петербурге, мог знать по своим близким сношениям с заговорщиками». Речь идет об «Акте конституционном», которым будто бы «Пален, Панин и другие вожди заговора» хотели с первой минуты ограничить власть Александра. Смешение лиц и времен в рассказе декабриста (упомянут отсутствующий в столице Панин) позволяет думать, что речь идет о более ранней стадии заговора (вспомним о существовании конституционных планов 1800 года). Но далее Фонвизин прибавляет, что «это намерение известно было и генералу Талызину, тогдашнему командиру Преображенского полка, одному из главных участников заговора и человеку, искренно преданному Александру. Талызин и предупредил его, что в решительную минуту от него потребуют принятия и утверждения конституционного акта, и убеждал его ни под каким видом не давать на то согласия, обещая ему, что гвардия, на которую Талызин имел большое влияние, сохранит верность Александру и поддержит его. Александр последовал внушенным Талызиным и устоял против настоятельных требований и Панина и Палена»¹.

Рассказ полулегендарен; но мы должны помнить и то, что, поскольку речь идет о преображенском полковом командире Талызине, свидетельство его ближайшего подчиненного, Толстого, довольно весомо.

Так или иначе, ни «манифеста № 1» Трощинского, ни «конституции Панина — Палена» в архивах обнаружить не удалось. Мы можем лишь гадать — не было ли двух параллельных процессов: пока Трощинский занимался ближайшей задачей, не воплощал ли, например, Иван Муравьев «панинские заветы», проект ограничения самодержавия,— и не отсюда ли будущая к нему немилость?

Современный исследователь справедливо замечает, что «все мемуаристы задним числом приписывают заговорщикам некоторую общественно-политическую программу. В то же время обращение к документам и критическая проверка мемуарных свидетельств показывает, что реально эти замыслы не шли дальше рассуждений»².

В общем, программа-максимум заговора остается куда более туманной, чем программа-минимум — ликвидация Павла.

¹ Фонвизин М. А. Сочинения и письма, т. II. Иркутск, 1982, с. 145—146.

² Степанов В. П. Убийство Павла I и «Вольная поэзия». — В сб.: Литературное наследство декабристов. Л., 1975, с. 89.

«Из заговорщиков,— запишет много лет спустя декабрист Никита Муравьев,— желавшие только перемены государя были награждены, искавшие прочного устройства отдалены на век»¹.

Замечание справедливое не в буквальном смысле, по — в целом. Александр I в разные периоды своего царствования обращался к разным умеренным конституционным проектам (Платона Зубова — в 1802 г.; Сперанского — около 1810 г., Новосильцева — в 1818-м). Поэтому опала, удаление из столиц Палена, Панина, И. Муравьева, Яшвиля объясняется не просто их конституционными взглядами, а прежде всего нежеланием императора принять хартию «из их рук», под их давлением; стремлением — когда-нибудь ввести ее самому, то есть диктовать, а не писать под диктовку...

В этом и смысл сохранившихся рассказов, достоверных или легендарных, о том, что ряд влиятельных деятелей (Талызин, Новосильцев) настоятельно советовали Александру I пресечь попытки некоторых заговорщиков ввести конституцию именно сейчас, в 1801 году. Поскольку же никакого конституционного ограничения самодержавия Александр I так и не допустил (опровергая тем самым и собственные либеральные идеи), декабристы имели право, перед восстанием и в Сибири, печально оценивать итоги 11 марта: «...искавшие прочного устройства отдалены на век»...

С трудом отыскивая отдельные факты, смутные эпизоды из потаенной истории 1801 года, Пушкин включает их в общую систему своих рассуждений и ощущений насчет прошлого, настоящего и будущего страны: видит жестокое и могучее самодержавие, опирающееся на «силу вещей», видит пугачевские, радищевские, декабристские, паконец, антипавловские попытки борьбы, мечтания о существенных реформах; ищет положительного выхода, новых положительных героев...

¹ «Полярная звезда», кн. 5. Лондон, 1859, с. 71.

ГЛАВА VIII

ВОЙНЫЧ

Нащокин... одна моя отрада.

В третьей главе «Истории Пугачева», толкуя о «мерах правительства» при известии о первых впечатляющих успехах восстания, Пушкин между прочим замечает: «Генерал-майор Кар <...> находился в Петербурге, при приеме рекрут. Ему велено было сдать свою бригаду генерал-майору Нащокину и спешить к местам, угрожаемым опасностию» (IX, 474—475). Легко заметить, что упоминание Воина Васильевича Нащокина было здесь совсем не обязательным: речь шла ведь о войне с Пугачевым, в которой этот генерал не участвовал: мало ли кто в ту пору заменил лиц, отправлявшихся воевать на Урал! Однако Пушкин назвал В. В. Нащокина неспроста: во-первых, это был отец любимейшего друга, Павла Воиновича Нащокина, а во-вторых, единичное и мимолетное упоминание дало повод — еще раз, подробнее, представить эту фамилию в «Замечаниях о бунте».

Вот какие строки в начале 1835 года царь прочитал в пятом по счету замечании Пушкина:

Сей Нащокин был тот самый, который для пощечину Суворову (после того Суворов, увидя его, всегда прятался и говорил: «Боюсь, боюсь! Он дерется!»). Нащокин был одним из самых странных людей того времени. Сын его написал его записки: отроду не читывал я ничего забавнее. Государь Павел Петрович любил его и при восшествии своем на престол звал его в службу. Нащокин отвечал государю: «вы горячи и я горяч; служба впрок мне не пойдет». Государь пожаловал ему деревни в Костромской губернии, куда он и удалился. Он был крестником императрицы Елизаветы и умер в 1809 году (IX, 371)¹.

Похвала Пушкина запискам, «забавнее которых... отроду не читывал», была рассчитана, конечно, на то, что царь заинтересуется и пожелает ознакомиться с воспоминаниями

¹ У Пушкина в дате ошибка или описка: В. В. Нащокин умер в 1806 году.



(которые к тому времени уже были записаны рукою Пушкина и находились в его распоряжении). Николай I, однако, не поинтересовался; карандаш, выделявший на полях отдельные пушкинские наблюдения, не коснулся замечания о Нащокине.

Тем не менее Пушкин сумел ознакомить высочайших особ с рассказами Павла Воиновича о своем отце: извлечение насчет ссоры с Суворовым было вскоре преподнесено великому князю Михаилу Павловичу¹.

¹ В книге А. Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов» (т. III. СПб., 1884, с. 427) сообщается: «По удостоверению редактора-издателя исторического сборника «Русский архив» П. И. Бартенева, существовала записка А. С. Пушкина, написанная им по поручению в. к. Михаила Павловича и излагавшая факт личного оскорбления Суворова генералом Нащокиным. Записка эта была составлена нашим великим поэтом со слов его друга Нащокина-сына и должна была

Для чего же понадобилось Пушкину так «рекламировать» записки своего друга? Конечно, тут был умысел — как-то помочь Павлу Воиновичу, который как раз тогда женился, скрывался и бедствовал: вдруг царь призовет, спросит о Нащокине-отце, а также о своем отце, Павле I, вдруг наградит, поощрит...

Были у Пушкина, разумеется, и другие существенные соображения, заставившие снова, как бы «к слову», соединить пугачевские мотивы с непугачевскими, в данном случае — с нащокинскими, и коснуться записок отца, «одного из самых странных людей», писанных необыкновенным сыном.

ПЕРВЫЕ ЗАПИСКИ

Павел Воинович Нащокин не любил писать и жаловался на то «удивительному Александру Сергеевичу»¹: «Как жаль, что я тебе пишу — наговорил бы я тебе много забавного. <...> Я все мольчу — а иногда и отмальчиваюсь — и скоро разучюсь говорить — а выучусь писать — дай бог, я бы очень этого желал» (XIV, 173).

Пушкин наслаждался «нащокинскими разговорами»: в одном письме признавался, что «забалтывается с Нащокиным», в другом — что «слушает Нащокина», в третьем — что «Нащокин мил до чрезвычайности <...>, смешит меня до упаду». Во время холеры Пушкин просит передать Павлу Воиновичу, «чтоб он непременно был жив <...>, что, если он умрет, не с кем мне будет в Москве молвить слова живого, то есть умного и дружеского» (XIV, 128). Нащокинскими разговорами и воспоминаниями начинались или обогащались пушкинские замыслы: так, «Дубровский» и «Домик в Коломне» были «рассказаны» Нащокиным. Когда же сюжеты Павла Воиновича встречались в общей беседе с необыкновенными «байками» Михаила Семеновича Щепкина, то в этой «смеси» уж виднелись гоголевские силуэты².

находиться в бумагах в. к. Были принятые две различные дороги к отысканию записки, но обе они привели к полной неудаче: записка, если существовала, то пропала».

¹ Самобытная орфография Нащокина (иногда — «Александр Сергеевич», чаще — «Сергеевич» и т. п.) в этой главе по возможности сохранена.

² Н. В. Гоголь писал с Нащокина своего Хлобуева (второй том «Мертвых душ»). О Гоголе и Нащокине см.: Гершензон М. О. Друг Пушкина Нащокин.— В кн.: Гершенсон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919, с. 222—229.

Несравненному рассказчику, однако, не давали только рассказывать — его заставляли еще и писать, писать же было хлопотно: русская грамматика хромала, а безжалостный Пушкин вдобавок взял с Павла Воиновича слово — отправлять послания, как вышли из-под пера, без всяких подчисток, в первозданной прелести. «Письма мои, делай милость, рви, — просил однажды Нащокин, — ибо им можно будет со временем смеяться, этому <письму> тем более, ибо оно совершенно писано слогом нежной московской кузины, но этому виноват ты, не позволив мне писать пачерию» (XIV, 167).

Как не понять Пушкина, читая письма «Войныча» — пеграмотные и талантливые, наивные и глубокомысленные, — причем все названные свойства находились в столь тесной зависимости, что если бы прибавилась грамотность и убавилась наивность, то непременно уменьшились бы и талантливость, оригинальность. Вот, например, нащокинские будни, описанные хозяином:

«Народу у меня очень много собирается, со всяким надо заниматься, а для чего, так богу угодно: ни читать, ни писать времени нет — только и разговору здравствуйте, подай труппу, чаю. Прощайте — очень редко — ибо у меня опять почуют, и поутру, не простясь, уходят» (XV, 41).

Про смерть от холеры князя Н. Б. Юсупова (пушкинского «Вельможи»): «Не знаю почему, а мне было его жаль — вреда, кажется, он никому не делал, ибо никто не жаловался, а про добро не знаю, — умер же умно и равнодушно, как мне рассказывали. <...> Ныне смерть поступает и решает жизнь человеческую уже не гражданским порядком, а военным судом — т. е. скоро и просто» (XIV, 191—192).

Может быть, лучшая характеристика Чаадаева, сделанная его современником, принадлежит Павлу Воиновичу, который вообще-то ученого и таинственного Чаадаева несколько опасался и судить о нем избегал, зная, что Александр Сергеевич этих суждений не одобряет. Однако когда Пушкин попросил Нащокина снести с Чаадаевым по делу, то вскоре получил следующий отчет:

«Чедаев всякий день в клубе, всякий раз обедает, — в обхождении и платье переменил фасон, и ты его не узнаешь, — я опять угадал — что все странное в нем было ни что иное, как фантазия, а не случайность и плод опытного равнодушия ко всему. Еще с позволения Вашего скажу (ибо ты не любишь, чтоб я о нем говорил), рука на сердце говорю прав-

ду,— что он еще блуждает, что он еще не нашел собственной своей точки, я с ним об многом говорил — основательности в идеях нет — себя [так!] часто противоречит. Но что я заметил — и это мне приятно — человек весьма добрый, способен к дружбе, привяцив, честолюбив более чем я, себя совсем не знает, потому и часто себя будет нужно изменять, что ничего не доказывает — тебя очень любит — но менее, чем я...» (XIV, 230).

В 23 сохранившихся письмах Нащокина к Пушкину неизменно проявляются ум и одаренность писавшего. В одном из эпистолярных рассказов Павла Воиновича между прочим сообщается о житье-бытие его брата и родни:

«Жена брата в деревне и утешается свободно — ходит гулять с камердинером бывшим князя Грузинского: щеголь, в куртке, в плисовых шароварах, весь в бронзовых цепях и говорит басом. <...> Камердинер Петрушка все еще ничего, а от <кучера> Кирияна житья нет никому. Вот главные лица, владельцы той усадьбы, откуда мой отец чванно выезжал, где он и похоронен. Если там, где он теперь, душа также чувствует и понимает, как и здесь — так вот Ад; наказание за суетность» (XIV, 251).

Эти строки имеют уже прямое отношение к Запискам П. В. Нащокина, где много рассказывается о «чванных выездах» покойного отца. К тому же Записки были составлены по настоянию Пушкина, который не остался равнодушным и к «бронзовым цепям» басистого щеголя («Письмо твое о твоем брате,— заметил поэт,— ужасно хорошо»).

Как видно, нащокинские воспоминания зарождались в разговорах и письмах; воспоминания, которых еще не представлял сам мемуарист, но уже видел и требовал Пушкин¹. «Удивительный Александр Сергеевич», как известно, любил поймать и усадить за писание воспоминаний друга или бывшего человека (а еще случалось, что оба соединялись в одном лице!); поэт терзался от того, сколько примечательных людей, событий проходит бесследно, ибо мы «ленивы и нелюбопытны», и, кажется, употреблял три способа для превращения чужого рассказа в «меморию»: во-первых, писал заглавие и даже первые несколько строк чужих записок

¹ М. О. Гершензон, кажется, первый заметил связь между «живой изобразительностью» нащокинских писем и стремлением Пушкина получить записи («мемории») Нащокина. Однако М. О. Гершензон ошибался, утверждая, что, «разумеется, мемории остались неписанными». См.: Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919, с. 219 и др.

«для затравки» — так пушкинской рукой были начаты записки А. О. Смирновой (Россет), М. С. Щепкина¹; второй способ — записать самому интересные рассказы собеседника: так появились, например, «Разговоры Загряжской»; конец, третий прием: заставить бывалого друга изложить свои воспоминания в письмах на имя «любезного Александра Сергеевича»...

Пушкин хорошо понимал, как трудно посадить за стол перед чистым листом бумаги Павла Воиновича, и поэтому применил к нему сначала способ второй: записывал сам.

Так появился первый эскиз воспоминаний — «Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве, 1830».

Эти несколько листков, написанных рукою Пушкина, были найдены после гибели поэта в его тетради (позже названной плещевско-гровской) и вскоре напечатаны под замаскированным заглавием: «Старинные русские странности. Отрывки биографии»². (Мы не можем попутно не заметить «странныго сближения»: воспоминания Нащокина печатаются в том же издании, где и посмертные Записки самого Пушкина, вызвавшие гнев Сергея Львовича.)

Записки рассказывали о детстве Павла Воиновича и сокращали колоритные подробности о его отце, известном екатерининском генерале Воине Васильевиче Нащокине (1742—1806).

Вскоре после первой записи нащокинских разговоров Пушкин переселился в Петербург и уже не мог регулярно преследовать Павла Воиновича «с пером в руке». Зато Нащокину пришлось писать письма (которые и навели поэта на мысль, что его корреспонденту следует обязательно составлять мемуары самому и таким образом сохранить тот естественный стиль и склад, которые даже пушкинский пересказ не мог полностью воспроизвести). Очевидно, в сентябре 1832 года, во время посещения Пушкиным Москвы, с Павла Воиновича было взято слово — приступить к работе над «мемориями». В первом же письме по возвращении в столицу, 2 декабря 1832 года, Пушкин спрашивал, будто продолжая начатый разговор: «Что твои мемории? Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне.

¹ Любопытно, что именно на квартире Нащокина «Пушкин написал первые строчки к воспоминаниям М. С. Щепкина» (запись Д. В. Гарина-Виндинга со слов Веры Александровны Нащокиной, вдовы Павла Воиновича). См.: Раевский Н. А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин. Л., 1977.

² Посмертное издание собр. соч., т. XI. 1841, с. 185—189.

Это будет и мне приятнее, да и тебе легче. Незаметным образом вырастет том, а там поглядишь — и другой» (XV, 37). 10 января 1833 года Нащокин отвечал, что «мемории не начинал, некогда» (XV, 40). Некогда было и в следующие несколько лет, когда в жизни Павла Воиновича случились крупные происшествия: он женился на Вере Александровне Нарской, для чего покинул красавицу цыганку Ольгу Андреевну, но, опасаясь ее ревнивой мести, оставил ей дом с имуществом и надолго скрылся с молодой женой в Тульской губернии; там сидел без гроша и писал Пушкину:

«Не могу, силы нет описать тебе могущее быть уничижительное мое положение, не то чтобы не умел, в мемориях я в своих опишу, но теперь какая-то русская амбиция мешает» (XV, 131). Впрочем, непрерывные просьбы о деньгах (вовремя не доходившие к Пушкину) и другие трудные обстоятельства не испортили «нащокинского стиля» (из Тулы, например, он пишет: «Жена моя брюхата — без причут <т. е. причуд>, только не любит табаку — знать, будет старовер» (XV, 135).

К 1835 году жизнь Нащокина наконец наладилась, он вернулся с женой в Москву, получил и тут же растратил какое-то очередное наследство и спокойно зажил, все такой же, как был. Пушкин в начале 1835 года писал ему: «Рад я, Павел Воинович, твоему письму, по которому я вижу, что твое удивительное добродушие и умная, терпеливая схождительность не изменились ни от хлопот новой для тебя жизни, ни от виновности дружбы перед тобою» (XVI, 4). Слова «виновность дружбы» подразумевали сожаление Пушкина, что — не смог помочь Павлу Воиновичу в его передрягах.

Когда жизнь устроилась, снова были вспомянуты «мемории», задуманные за три-четыре года до того. Нащокин, человек высокой чести и обязательности, про свое обещание помнил и при случае — выполнил.

В мае 1836 года Пушкин в последний раз приехал в Москву и в последний раз «забалтывался с Нащокиным» (домой писал: «Нащекин¹ здесь одна моя отрада», «любит меня один Нащекин»). 27 мая, уже из Петербурга, Пушкин сообщал Павлу Воиновичу: «Я забыл взять с собою твои записки; перешли их, сделай милость, поскорее» (XVI, 121). Нащокин, пенявший перед этим Пушкину за известную необязательность («виновность дружбы»), разумеется, исполн-

¹ Пушкин писал то «Нащокин», то «Нащекин».

нил просьбу с той же точностью, с какой исполнял все другие поручения (добывая денег, встречаясь с Чаадаевым, приглашая В. Г. Белинского в «Современник»¹).

МЕМОРИИ

Итак, летом 1836 года к Пушкину попал «второй вариант» нащокинских «меморий» — на этот раз писанных самим автором. Этот текст (как и «Записки 1830 года») хорошо известен и в свое время был тщательно проанализирован Л. Б. Модзалевским².

Главные вехи в истории «вторых записок» таковы:

1. После 27 мая 1836 года Пушкин получил несколько страниц воспоминаний Нащокина, написанных в виде письма к «любезному Александру Сергеевичу» (на этот раз — именно «Сергеевичу», а не «Сергеевичу»).

2. После смерти Пушкина в его бумагах находят эти странички, которые поэт начал редактировать, немало исправляя и в то же время сохраняя и усиливая все «неповторимо-нащокинское». Вероятно, «мемории» друга предназначались для публикации в «Современнике». Это видно, между прочим, из того, как Пушкин торопил Нащокина с окончанием и присылкой рукописи.

3. Записки Нащокина с поправками Пушкина оставил себе на память Василий Андреевич Жуковский, просматривавший бумаги умершего поэта (Жуковский испросил разрешения у Нащокина, а тот согласился, вероятно, потому

¹ П. В. Нащокин и после смерти Пушкина поддерживал отцовства с В. Г. Белинским. 3 марта 1846 года Д. П. Иванов писал своему двоюродному дяде В. Г. Белинскому из Москвы в Петербург: «Поручения твои исполнены в точности <...> Боткину 700 р. Нащокину 200 ...<...> Сочинения графини Толстой переданы Нащокиным Константипу С. Аксакову, следовательно, ты от него должен получить их. Нащокин на твои извинения о просрочки отзывался обыкновенно, что деньги эти не стоят твоего беспокойства, и благодарил тебя за присыпку» (ЛБ, 5184, № 14). Это письмо было ответом на следующие строки Белинского (21 февраля 1846 г.): «О жительстве Нащокиных узнай через Щепкиных и деньги (200 руб.) сам отнеси. Скажи ему, что прошу у него извинения за просрочку и что как скоро узнаю от тебя о получении денег, то буду сейчас же писать к нему. Да скажи ему, что я жду от него сочинений графини Сарры Толстой. Нельзя ли тебе их переслать? Нащокин добрый и прекрасный человек, он примет тебя ласково» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI. М., 1956, с. 459—460).

² См.: Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 124—127.

что после гибели Пушкина был подавлен горем и не видел никакого смысла в продолжении «меморий»).¹

4. Сын Жуковского подарил пушкиниану своего отца известному коллекционеру и собирателю пушкинских автографов А. Ф. Otto («Онегину»), обосновавшемуся в Париже; затем собрание Онегина попадает в Пушкинский Дом.

5. Рукопись Нащокина с поправками Пушкина была опубликована в 1935 году².

Итак, до последнего времени были известны воспоминания Нащокина, записанные Пушкиным в 1830 году (назовем их условно *первой редакцией*), и воспоминания, написанные самим Нащокиным, но отредактированные Пушкиным (1836 год, *вторая редакция*). Л. Б. Модзалевский, однако, догадывался, что, может быть, еще не все нащокинские записи обнаружены. Ведь П. И. Бартенев, посетив Нащокина 10 октября 1851 года, отметил: «Отрывки биографии *** — самого Нащокина. Он показывал мне свои записи, которые Пушкин сократил и переделал в этих маленьких отрывках»³. Как уже отмечалось выше, «Отрывки биографии ***» — это «первая редакция» записок Нащокина (1830 г.), опубликованная в 1841 году в XI томе посмертного издания сочинений Пушкина. Однако из слов Бартенева следует, что у Нащокина дома хранилась еще какая-то рукопись его записок. М. А. Цявловский, комментируя это сообщение, писал: «Рукопись записок Нащокина, которую он показывал Бартеневу, теперь неизвестна»⁴.

«Неизвестную рукопись», понятно, можно было считать пропавшей вместе с некоторыми другими нащокинскими бумагами, имевшими прямое или косвенное отношение к пушкинскому наследству: «Войныч», свято храня и оберегая память Пушкина, сочетал это бережение с характерным, чи-

¹ Жуковский познакомился с Нащокиным 3 августа 1837 года и посетил его через три дня. См.: Раевский И. А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин, с. 99—101.

² См.: Рукою Пушкина, с. 116—124; Пушкин А. С., т. XII, с. 287—292.

³ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым. Вступ. статья и примечания М. А. Цявловского. Л., 1925, с. 40.

⁴ Там же, с. 106. Запись Бартенева, как видим, свидетельствует, что записи самого Нащокина Пушкин «сократил и переделал в этих маленьких отрывках» (т. е. создал «первую редакцию» записок — 1830 г.). Здесь ошибается либо Нащокин, либо Бартенев: ведь спачала появилась первая редакция, записанная Пушкиным, и лишь через несколько лет сам Нащокин стал составлять свои «мемории». Однако есть в этой путанице и доля истины, о чем будет сказано позже.

сто нащокинским небрежением. Павел Воинович относился к одной из двух категорий пушкинских современников, внутренне совершенно противоположных, но внешне парадоксально сходных: к категории людей, чье отношение к Пушкину было независимо (или мало зависимо) от его литературного таланта. Первая группа таких людей — верхи, «свет». Там в Пушкине видели не столько гениального поэта, сколько «камер-юнкера», «светского человека», «мужа Натальи Николаевны», иным — симпатичного, другим — безразличного, третьим — ненавистного. Нащокин, конечно знаяший и тонко ценивший пушкинские сочинения, все же несравненно больше знал и любил Александра Сергеевича «как такового». Может быть, Пушкину не хватало именно таких друзей, которые любили бы его книги, но еще больше — его самого...

Эти два полюса любви и нелюбви к Пушкину, конечно, представлены здесь несколько упрощенно, но они существовали. А поскольку наши недостатки — продолжение наших достоинств, то из особенного взгляда Нащокина на Пушкина вытекает и своеобразный его взгляд на пушкинские рукописи. «Память Пушкина,— писал П. В. Нащокин М. П. Погодину,— мне дорога не по знаменитости его в литературном мире, а по тесной дружбе, которая нас связывала, и потому письма его, писанные ко мне с небрежностью, но со всей откровенностью дружбы, драгоценны мне, а в литературном отношении ценности никакой не имеют, но еще могут служить памяти его укоризною»¹.

Нащокин, дорожа дружбою ушедших лет, полагал, что его переписка с Пушкиным касается лишь их двоих. Другим, если они любопытствовали, он был готов показать, почитать письма, но все же их дело — сторона...

Рассуждая подобным образом о страницах Пушкина, Нащокин, понятно, еще меньше значения придавал собственным рукописям и воспоминаниям. Многое исчезло безвозвратно за сто с лишним лет, минувших после смерти Нащокина,— многое, но, к счастью, не все...²

¹ Письмо от 4 декабря 1851 года (ЛБ, ф. 231 (Погодина), оп. 2, п. 121, № 120).

² Рассказы Нащокина о Пушкине использованы П. В. Анненковым, П. И. Бартеневым и другими исследователями XIX века. Однако время от времени обнаруживаются новые любопытные детали. Наиболее полная сводка рассыпанных по литературе материалов, вместе с привлечением новых, интересных документов,— в книге Н. А. Раевского «Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин». Прибавим еще несколько подробностей. Из записей известного библиографа С. Д. Полторацкого,

Та самая рукопись, которую, вероятно, видел у Нашокина П. И. Бартенев, еще один, самый крупный фрагмент нащокинских «меморий», случайно попала в Саратов в конце 20-х годов к историку, известному специалисту по Петровской эпохе, Елене Петровне Подъяпольской. Она передала нащокинские «мемории» в Отдел рукописей Ленинской библиотеки и любезно предоставила возможность их опубликовать автору данной книги¹.

Рукопись представляет собою большую тетрадь (размером 23×37 см), в которой написанный чернилами текст занимает 24 страницы, а 20 страниц (уже разлинованных и занумерованных рукой Нашокина) остались чистыми. В тексте около 38 600 знаков (т. е. приблизительно печатный

кажется, никогда не публиковалась следующая: «Нашокин (Павел Воинович) много знает о Пушкине. Много есть писем. В одном о Николае Филипповиче Павлове: «Старайся с ним не встречаться: его физиономия наводит уныние». Вдове Ник. Ник. Раевского не дали пенсии: Пушкин упросил Государя и пенсия производилась, 12 тыс. ассигнациями. Оболенский за шалость выслан из Москвы на Кавказ с казацким офицером. Оболенский бежал. За это офицер разжалован в урядники. Когда Пушкин был в Ерзуруме, этот разжалованный был у него денщиком. Судьба! — Пушкин выпросил ему прощение и возращение чина.

Москва, вторник, 14 июня 1849-го» (ЛБ, ф. 233, к. 37, № 9).

Все описанные эпизоды известны, но в несколько иных редакциях. По записям Бартенева было, например, неясно, какого Оболенского выслали (М. А. Цывловский ошибочно полагал, что речь идет о декабристе Е. П. Оболенском. См. «Рассказы о Пушкине...», с. 89). По-видимому, речь идет об известном московском картежнике Оболецком; до сей поры не было известно ни о каком пушкинском «денщике» во время поездки в Арзрум. В архиве С. Д. Полторацкого в ЛБ хранится также писарская рукопись «Знакомство мое с Безнином» с интересными примечаниями С. Д. Полторацкого, датированными 11 августа 1851 года (ЛБ, ф. 233, к. 10, № 39). Согласно этим примечаниям, автор рукописи — П. В. Нашокин, текст же ее (подписанный «*** Симбирск») был напечатан в журнале «Москвитянин», 1844, № 5, май, часть 3, с. 61—73 (в рукописи отмечены несколько отрывков, не попавших в печать). Комичные приключения молодого чиновника в некоей губернии, очевидно, были хорошо понятной для современников пародией на поэта Н. Ф. Павлова (чья физиономия, по мнению Пушкина, наводила уныние); С. Д. Полторацкий сопроводил рукопись следующим пояснением: «Статья <...> была выдрана Ник. Фил. Павловым во многих экземплярах, но находится в экземпляре Английского клуба». Действительно, в нескольких экземплярах журнала «Москвитянин», находящихся в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина, статья «Знакомство мое с Безнином» отсутствует, хотя указана в оглавлении.

¹ Воспоминания Павла Воиновича Нашокина, написанные в форме письма к А. С. Пушкину (публикация Н. Я. Эйдельмана). — В сб.: Прометей. М., 1974, с. 275—292; соврем. шифр рукописи ЛБ ф. 218, № 1319.3.

лист); на страницах тетради чередуются два почерка: первый, основной, несомненно, П. В. Нащокина; второй — почерк его жены В. А. Нащокиной (рукою Нащокина сделана вся правка). Павлу Воиновичу случалось, видимо, не раз диктовать своей жене или отдавать для переписки свои черновики (М. П. Погодину он сообщал однажды: «Пишу Вам ответ не своею рукою, чтобы не ввести Вас в такое же затруднение, в какое Вы меня и многих других ставите Вашим почерком»¹). Водяные знаки бумаги свидетельствуют, что записки составлялись не ранее 1833 года².

Наиболее интересный вопрос — каково соотношение ново найденных записок Нащокина со старыми, то есть прежде известными двумя редакциями.

Около 40 процентов текста (с. 1—11) почти полностью совпадает со второй редакцией нащокинских «меморий». Начиная с 11-й страницы до страницы 24 идет новый текст, однако несколько эпизодов из этой никогда не публиковавшейся части записок известен в пушкинском изложении, по первой редакции мемуаров («Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве, 1830»). Это обстоятельство, как сейчас увидим, не уменьшает, а, наоборот, повышает значение нового текста³.

История рукописи, очевидно, такова. Нащокин составлял ее в Москве в 1835—1836 гг. в виде письма к Пушкину. Написал в несколько приемов, с черновиками, которые затем перебелял сам и с помощью жены. Вероятно, предполагалось, что тетрадь останется у Нащокина для продолжения работы, пока «незаметным образом вырастет том, а там поглядишь и другой». Но Пушкин ждал начала «меморий», напоминал о них, и Павел Воинович принялся переписывать для друга уже готовые отрывки, а после мая 1836 года отправил в Петербург копию первых одиннадцати страниц

¹ ЛБ, ф. 231, оп. 2, п. 121, письмо № 8.

² На левой половине листа в дворянском щите — «ЕБ», т. е. Е. Баштевой; на правой половине — «КУУФ». Внизу «1833». Бумага эта неизвестна специалистам (см. описание 271 сорта бумаги в работе С. А. Клепикова «Филиграны и штемпели бумаг русского производства XVIII—XIX веков», в кн.: Записки отдела рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени В. И. Ленина, вып. 13. М., 1952, с. 57—122).

³ Известное совпадение его с первой (пушкинской) редакцией записок и еще большее — со второй («нащокинско-пушкинской») редакцией объясняет ошибку П. И. Бартенева, перепутавшего последовательность редакций и ошибочно утверждавшего, что Пушкин «скратил и переделал» (в 1830 г.) более полные записи Нащокина (1836 года!).

своей тетради (из содержавшихся в ней двадцати четырех); возможно, в письме больше не поместилось, и остальную часть предполагалось послать особо, а может быть, автор просто хотел еще поработать над текстом.

Если сравнить вторую редакцию записок Нащокина, попавшую к Пушкину, и соответствующие страницы, оставшиеся у Павла Воиновича, то можно заметить, что Нащокин непрерывно изменял, исправлял, дополнял первоначальный текст. Так, в копии, ушедшей к Пушкину, кое-что переработано, новая рукопись исправляет некоторые места той, которую читал Пушкин, а кое-что и «ухудшено» — появились новые ошибки, описки.

Мало того, уже после отсылки Пушкину начала «меморий» Нащокин продолжал делать в тексте некоторые исправления.

Рукопись обрывается почти на полуслове. Целого тома, а там и другого, о которых мечтал Пушкин, не получилось, хотя рассказов и воспоминаний у Нащокина хватило бы на верняка...

В одном из последних писем к Павлу Воиновичу Пушкин писал:

«Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и смерти... (последнее слово Пушкиным зачеркнуто и заменено словом «старости»). — Н. Э.) и старости нечего бояться».

До смерти же оставалось в ту пору меньше года.

АВТОР И СОАВТОР

В нащокинской тетради ни слова о Пушкине (кроме обращения). Но пушкинское присутствие ощущимо. Здесь слышатся отзвуки последних разговоров, когда Александр Сергеевич «забалтывался» с Павлом Воиновичем над жженкой (которую, по словам Нащокина, Пушкин «называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок»). По тетради Нащокина угадываются немногие счастливые минуты последнего года пушкинской жизни. Именно эти воспоминания поэт читал и слыхал от «Войнича». Он хотел это напечатать, он видел в этом нечто несравненно большее, чем «еще один исторический документ», он был вдохновителем, чуть ли не соавтором этих записок, которые и родились-то в виде письма к «удивительному Александру Сергеевичу...».

Попробуем положить рядом с наиболее объемистыми нащокинскими записками их самую краткую и самую раннюю, чисто пушкинскую редакцию — «Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве, 1830».

Как уже говорилось, Пушкин успел в 1830 году записать со слов Павла Воиновича несколько эпизодов, которые находятся как раз на тринадцати «новых страницах»; кроме того, в «первой редакции» есть несколько эпизодов и фактов, которые сам Нащокин, несомненно, изложил бы, но просто не успел к ним подступиться.

Уже давно исследователи отметили, что не следует буквально понимать пушкинский заголовок «Записки П. В. Нащокина, им диктованные...»: достаточно сопоставить стиль, язык двух редакций нащокинских записок. Возможно, конечно, что Пушкин, слушая Нащокина, сохранил какие-то характерные обороты рассказчика, а также и последовательность повествования; но при том Александр Сергеевич так обработал слышанный им рассказ, что получился истинно пушкинский отрывок со всеми чертами пушкинской прозы. В первых «Записках» Нащокина — быстрота, ясность, юмор напоминают «Повести Белкина»; колоритный генерал Нащокин, с его борзыми, шутами и карлами, явно сродни Кириле Петровичу Троекурову из «Дубровского», незадачливый учитель-француз, которому Нащокин обязан «первым пьянством», — это почти мосье Бопре из «Капитанской дочки»: люди, нравы, анекдоты XVIII столетия в изложении Павла Воиновича кажутся заимствованными из повестей, анекдотов, исторической прозы Пушкина...

Теперь, располагая новой рукописью Нащокина, мы получаем счастливую возможность, которой были прежде лишены: сравнить одни и те же эпизоды в записи Нащокина и в более ранней записи Пушкина (сделанной, впрочем, не с письма, но со слов — и этого, конечно, не следует забывать!). Сопоставление обоих текстов позволяет увидеть некоторые особенности работы Пушкина при воспроизведении интересного, живого рассказа, чьих-либо воспоминаний.

Первое, что легко заметить, — это экономность, лаконичность пушкинского варианта. Поэт записал почти все эпизоды, которым в рукописи Нащокина отведен целый лист, и сверх того еще несколько историй, потратив на то в два с половиной раза меньше слов (около 16 600 знаков).

Вот только один пример.

Нащокин: «Теперь расскажу, каким запомню своего от-

ца. Могу вспомнить с некоторой отчетливостью выезд батюшки из костромской его вотчины в Москву. Я тогда сидел у девичьего крыльца на большом камне, ожидая тройку запряженных мальчиков в маленькую мою коляску, окруженный мамками, няньками, я не видал суматохи, производимой у большого крыльца, как вдруг потребовали меня и потащили от одного крыльца к другому сквозь множество людей, экипажей, лошадей, коими наполнен был весь двор весьма огромный — в последствии времени я не видывал больше ни в каких усадьбах, а тогда он мне казался беспредельный; меня подвели к лестнице, которая мне показалась лестницей, виденной во сне Яковом Израильским, виденного мною в картинках Священной Истории, но на ступеньках оной не ангелы, просторно сидящие, но толпа разных народов, усеянных сверху до низу, как-то: арапов, карликов, бездна пудреных голов, красных галунов, обшитых камзолов, зеленых мундиров, в гусарских, казачьих и польских платьях, бездну женщин и посредине отца моего, которого фигура мною уже была описана, на нем был зеленый плащ с красным подбоем и засаленный зеленый складной картуз, плащ и картуз еще существуют. Помню я, что меня приподняли к нему очень близко, он что-то спросил, я заплакал, он вскрикнул, и потом я был уж в детской комнате и из окошка видел, как тянулся обоз через мост и вверх по аллее, и как завернулся вдоль винокуренного завода и исчез. Потом я совсем почти его не помню».

Пушкин: «Помню отца моего, и вот в каких обстоятельствах. Назначен отъезд в Петербург. На дворе собирается огромный обоз — крыльцо усеяно народом, гусарами, егерями, ливрейными лакеями, карликами, арапами, отставными майорами в старинных мундирах и проч. Отец мой между ними в зеленом плаще. Одноколка подана. Меня приносят к отцу с ним проститься. Он хочет взять меня с собою — я плачу: жаль расстаться с нянею... Отец с досадой меня отталкивает, садится в одноколку, выезжает, за ним едет весь обоз — двор пустеет, челядь расходится, и с тех пор впечатления мои становятся слабы и неясны до 10-го года моего возраста...» (XI, 189)

Нелепо было бы, разумеется, при сравнении обоих текстов доказывать преимущества пушкинского: Нащокин никогда не был писателем, но ему присуща своя, органическая художественность. Интересна работа Пушкина над его устным рассказом, интересно, что массу прекрасных, выразительных описаний, подробностей, размышлений

он отсекает, придавая мемуарам динамику и соразмерность.

Так, Нащокин в рукописи сообщает парадоксальные, смешные, какие-то уже гоголевские, даже щедринские подробности о поляке Куликовском, возглавлявшем обозы Нащокина-старшего¹. Пушкин уместил описание в трех фразах: «Впереди на рослой испанской лошади ехал поляк Куликовский с волторною — прозван он был Куликовским по причине длинного своего носа; должность его в доме состояла в том, что в базарные дни обязан он был выезжать на верблюде и показывать мужикам *lanterne-magique* <волшебный фонарь>. В дороге же подавал он волторною сигнал привалу и походу» (XI, 190) ².

Как видим, в первой пушкинской фразе возникает романтический образ из рыцарских времен: человек со звучной фамилией, на рослой испанской лошади... Но уже вторая фраза спокойно, невозмутимо, как будто это само собой разумеется, опровергает первую: звучная фамилия оказывается прозвищем (у кулика длинный нос); «рыцарь», не имеющий фамилии,— нечто вроде крепостного Дон Кихота... Естественно обрисована и его «должность». Слово это обычно настраивает на серьезный, административно-хозяйственный лад, а между тем «должность» Куликовского состоит в том, чтобы выезжать на верблюде и показывать мужикам волшебный фонарь; написано же так, будто это самое обыден-

¹ «Предводительствовал всем обозом поляк Куликовский. Ехал он впереди верхом на большой буланой лошади с трубой такой, какую в азбуке рисуют почтальона — этой трубой повещал он, чтобы трогались с места и чтобы останавливались. Этот Куликовский был из числа тех поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил их к себе в собственность, между ними было несколько и жиденят, и его должность на постоянном месте состояла в том, чтобы приготовлять пищу и наблюдать чистоту у собак, птиц, зверьков и зверей разного рода за теми только, кои из множества попадали в случай к моему отцу. Исправив свою службу, он потешал дворню, т. е. он был дворовым и крестьянским потешителем, люди забавлялись, мучили тревожа его огромный нос щелчками, играли с ним в носки — одним словом, за все отвечал его нос за то, что он был непозволительно велик. В деревне же в базарные дни летом обязанностью его было выезжать на верблюде, а святыми и зимою показывал бабам и мужикам в сарае *lanterne-magique*, объясняя им, как Адамушка и Евушка скучали яблочко, как Кузьма Иванович с Матреной Ивановной минуют танцуют, как русские гренадеры на штыки идут и проч. и проч.».

² Очевидно, с этим человеком связано одно упичтоженное дело III отделения (сохранилось только заглавие): «О помещении в богоадельню польского дворянина Куликовского». ЦГЛОР, ф. 109, I эксп., оп. 4, 1829, № 437.

ное дело, чтобы человек с длинным носом, сидя на верблюде, показывал в русском селе в базарный день волшебный фонарь...

Сопоставление «Нащокина по Пушкину» и «Нащокина по Нащокину» позволяет сделать и другие любопытные наблюдения.

Пушкин в своем фрагменте воссоздал не только колоритные детали стародавнего барского жития, но также — нащокинские рассказы и анекдоты об исторических личностях — Суворове, Потемкине, Павле I.

Когда Павел Воинович принялся писать сам, то, возможно, опасался доверять бумаге слишком смелые повести прошлого или же не пожелал вспоминать об отце ничего плохого. Так или иначе, но Пушкину он в 1830 году сообщил несколько таких историй, которые в его собственной тетради отсутствуют. Например, рассказ о том, как генерал Нащокин оскорбил Суворова, столь заинтересовал Пушкина, что он записал его очень подробно и тем выделил из всего очень насыщенного текста, где каждому эпизоду посвящены одна-две фразы, не больше абзаца. Может быть, Нащокин еще собирался вернуться в своих записках к этому казусу, но, во всяком случае, он не поместил его на тех страницах, где описывал характер своего отца и где, казалось бы, эта история была наиболее уместна.

Отсутствуют у Нащокина, но сохраняются у Пушкина рассказы о захвате вспылившим генералом Нащокиным Киева и киевского коменданта, а также строки о Потемкине, который заметил, что Нащокин (отец) «и о боге отзывался, хотя и с уважением, но все как о низшем по чину, так что когда он был генерал-майором, то на бога смотрел, как на бригадира».

О том, как отец его покинул службу, сам Павел Воинович пишет лаконично:

«Вышел в отставку при вступлении на престол государя императора Павла I».

Пушкин (за Нащокиным): «По восьмидесяти на престол государя Павла I отец мой вышел в отставку, объяснив царю на то причину: «Вы горячи, и я горяч, нам вместе не ужиться». Государь с ним согласился и подарил ему воронежскую деревню» (XI, 190).

О шуте Иване Степановиче, состоявшем при Нащокине-старшем, сын записал, что «об нем будет особая статья, замечу только, что он был впоследствии взят ко двору государя императора Павла Петровича и во все царствование го-

сударя императора находился при особе его, по кончине же Павла Петровича был батюшке прислан обратно».

Пушкин записал об Иване Степановиче куда более интересные вещи:

«Иван Степаныч лицо историческое. Он был известен под именем Дурака нашей фамилии. Потемкин, не любивший шутов, слыша многое о затеях Ивана Степаныча, побился об заклад с моим отцом, что дурак его не рассмешит. Иван Степаныч явился, Потемкин велел его привести под окошко и приказал себя смешить. Положение довольно затруднительное. Иван Степаныч стал передразнивать Суворова, угождая тайной неприязни Потемкина, который расхохотался, позвал его в свою комнату и с ним не расставался. Государь Павел Петрович очень его любил, и Иван Степаныч имел право при нем сидеть в его кабинете. Шутки его отменно нравились государю. Однажды царь спросил его, что родится от булочника? «Булки, мука, крендели, сухари и пр.», — отвечал дурак. — «А что родится от гр. Кутайсова?». — Бритвы, мыло, ремни и проч. — «А что родится от меня?» — «Милости, щедроты, чины, ленты, законы, счаствие и проч.». Государю это очень полюбилось. Он вышел из кабинета и сказал окружающим его придворным: «Воздух двора заразителен, вообразите: уж и дурак мне льстит. Скажи, дурак, что от меня родится?» — «От тебя, государь», — отвечал, рассердившись, дурак, — родится бестолковые указы, кнуты, Сибирь и проч.». Государь вспыхнул и, полагая, что дурак был подучен на таковую дерзость, хотел узнать непременно кем. Иван Степаныч наименовал всех умерших вельмож, ему знакомых. Его схватили, посадили в кибитку и повезли в Сибирь. Воротили его уже в Рыбинске. При государе Александре был он также выслан из Петербурга за какую-то дерзость. Он умер лет 6 тому назад» (XI, 191).

Эта любопытная запись поддается сравнению с другими источниками, которые подтверждают реальную основу пашокинского воспоминания: среди «Рассказов о старине князя Павла Петровича Лопухина, записанных князем А. Б. Лобановым-Ростовским в 1869 году» упоминается между прочим «шут Иванушка-дурачок, одетый в смешной разноцветный костюм. Он был вовсе не глупым человеком». Затем следует забавная история — как шут представлял беседу генерал-прокурора П. В. Лопухина (отца рассказчика) с Павлом I («Лопухин сидит напротив царя и докладывает: потому посему ничего никому, а царь ему в ответ: быть по сему»). «Иванушка-дурачок, — продолжал П. В. Лопухин, —

жил сперва у Воина Васильевича Нащокина. Этот Нащокин известен был своими жестокостями.

По смерти Нащокина Иванушка шатался некоторое время по Москве; наконец-то, принят был в дом Петра Васильевича Лопухина. Когда же Лопухины все переехали в Петербург, с ними переехал и Иванушка, и уже от них, понравившись государю, поступил во дворец¹.

Легко заметить, что нащокинская версия несколько отличается от лопухинской: шут не мог оказаться у Павла «после смерти Нащокина», так как генерал пережил этого императора. В то же время существует «Рассказ старого пажа» (К. К. Башняка) о времени Павла I, который в основном совпадает (отличаясь лишь в деталях) с записью Пушкина: «Однажды государь, выслушивая далеко не глупые ответы на вопросы, что от кого рождается, обратился к Иванушке: «Ну, Иванушка, а от меня что рождается?» Шут, пытавшийся не оробев, бойко отвечал: «От тебя, государь, рождаются чины, кресты, ленты, вотчины, сибирки, палки, каторги, кнуты»; разгневанный этим ответом, император приказал немедленно заковать бедного шута в кандалы и наказать палками. С трудом могли его умилостивить, и все ограничились лишь тем, что удалили дурака из Петербурга. Шута этого впоследствии хорошо знали в Москве»².

Рассказы об известных исторических фигурах занимают примерно половину первой, пушкинской, редакции. Пушкина особо интересовали именно эпизоды, в которых фигурировали такие личности, как Суворов, Потемкин, Павел I. Интересовали не только исторические факты или предания: в рассказах Нащокина, и особенно в «исторических» эпизодах, было нечто очень важное и для умонастроений поэта в 30-е годы.

Нащокин-отец привлекал Пушкина теми же чертами, что и некоторые другие фигуры XVIII века, о которых поэт-историк много думал и писал именно в последнее десятилетие своей жизни; среди них и пылкие предки его самого.

Замечая их крепостническое буйство, разврат и жестокость, Пушкин одновременно видит широту, размах, самобытность характеров. Важные персоны, состоявшие в высоких чинах,— Орлов, Потемкин, Воин Нащокин — не избежали всех пороков своей эпохи, но они были что угодно,

¹ См.: Шильдер Н. К. Император Павел I. СПб., 1901, с. 582.

² «Русская старина», 1882, № 1, с. 214.

только не бессловесные механизмы, не молчаливые винтики деспотической машины.

Около престола — личности, характеры.

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу...

В 30-х годах прошлого века такие мысли и разговоры были злободневны. В словах Нащокина-отца, сказавшего Павлу I: «Вы горячи, и я горяч, нам вместе не ужиться», — слышатся излюбленные пушкинские мотивы: «Я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного».

Предлагая Николаю I познакомиться с записками Нащокина, Пушкин затаил, конечно, мысль об их «воспитательном воздействии» на царя...

Личность свободная, где бы ни была — у трона, в имении, на службе, в каторге, — вот один из главных идеалов Пушкина. Нащокин-отец, как и сын, — люди странные, противоречивые, но своеобычные, не изменяющие себе.

В записках Павла Воиновича представлен Нащокин-отец, усаживающий супругу на пушку, не медлящий с расправой, спокойно выводящий из Польши шляхтичей и евреев, чтобы превратить их в своих рабов: Пушкин все это видит. Но разве не противоречив сам Павел Воинович, добрый, мудрый, независимый — и тоже приобретающий, проигрывающий сотни крестьянских душ?

Высокое и низкое, свободное и жестокое, мысль, обгоняющая века, и самые низкие предрассудки века — все это сосредоточено в одном человеке, в одном характере. Кто же изучил эту гамму лучше, чем Пушкин? Но в лабиринте противоположностей, Пушкин знал, в конце концов не заплутается лишь тот, кто внутренне свободен, кто умеет быть самим собой и во всех взлетах, падениях не изменяет себе.

Новооткрытая рукопись воспоминаний Нащокина радует возможностью опять задуматься над всем этим, прислушиваясь к беседам «удивительного Александра Сергеевича» с удивительным «Войнычем».

Личность лучшего друга Пушкина, его рассказы и его записи — все это отразилось в сочинениях и размышлениях Пушкина о самых главных вопросах, нравственных, политических, исторических.

О том, какой Нащокин был хороший человек и добрый друг Пушкину, говорится, естественно, в каждой посвященной ему работе. Реже отмечается, что Пушкин — и не один — видел в характере Павла Воиновича основу для публицистического, исторического, художественного обсуждения «вопроса вопросов» — о положительном герое, «герое нашего времени»; поэтому соберем воедино разные, далеко не все, но наиболее яркие суждения о Нащокине-человеке.

Пушкин: «Но кто, зная тебя, не поверит тебе на слово своего имения, тот сам не стоит никакой доверенности» (XIV, 168).

О деньгах: «...10 000 Нащокину для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные» (XIV, 152).

О женитьбе Нащокина: «С любопытством взглянул бы я на твою семейственную и деревенскую жизнь. Я знал тебя всегда под бурею и в качке. Какое действие имеет на тебя спокойствие? видал ли ты лошадей, выгруженных на Петербургской бирже? Они шатаются и не могут ходить. Не то ли и с тобою?» (XVI, 4).

О характере друга: «Вижу, что твое удивительное добродушие и умная, терпеливая снисходительность не изменились. <...>

Говорят, что несчастье хорошая школа: может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к добруму и прекрасному, какова твоя, мой друг; какова и моя, как тебе известно» (XV, 117).

Еще о счастье (Вера Нащокина): «Я помню частые возгласы поэта: «Как я рад, что я у вас! Я здесь в своей родной семье!»¹

В. А. Соллогуб объясняется с Пушкиным по поводу письма поэта, фактически означающего вызов на дуэль: «Павел Воинович явился в свою очередь заспанный, с взъерошенными волосами, и, глядя на мирный его лик, я невольно пришел к заключению, что никто из нас не ищет кровавой развязки и что дело в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Павел Воинович тотчас приступил к роли примирителя»².

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 197—198.

² Там же, с. 311.

Все боятся откровенного разговора о смерти — Пушкин и Нащокин, кажется, исключение:

П. И. Бартенев: «Весной 1836 года Пушкин приехал в Москву из деревни¹. Нащокина не было дома. Дорогого гостя приняла жена его. Рассказывая ей о недавней потере своей, Пушкин между прочим сказал, что, когда рыли могилу для его матери в Святогорском монастыре, он смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным, сухим грунтом, вспомнил о Войныче (так он звал его иногда): «Если он умрет, непременно его надо похоронить тут; земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины, как покойно ему будет здесь лежать». — Жена Нащокина очень опечалилась этим рассказом, так что сам Пушкин встревожился и всячески старался ее успокоить, подавал воды и проч.»².

Нащокин — Пушкину:

«Прощай, воскресение правственного бытия моего» (XV, 41).

«Прощай еще раз, утешитель мой, радость моя» (XV, 97).

Нащокин мечтает о женитьбе на Вере Александровне, но жалеет цыганку Ольгу Андреевну: «Ах, любезный Александр Сергеевич, ты не можешь вообразить мое мучение, и нет от него спасения... Оно все мое сердце, мое предобное, премягкое и препламенное, ум мой пренедоверчивый, и преточетливый, и занятный» (XV, 96—97).

Пушкина не стало.

Нащокин — Соболевскому: «Смерть Пушкина — для меня — уморила всех — я всех забыл — и тебя — и мои дела и все — я должен был опомниться, имея жену и детей — без них я бы вполне предался с наслаждением печали — и к моему плохому здоровью, вероятно, отправился туда же, куда и всем путь — непременный. Ты не знаешь, что я потерял с его смертью и судить не можешь о моей потере»³.

О Пушкине, Баратынском, Дельвиге: «Помянем их как друзей и товарищей нашей беспечной и добросовестной молодости: спасибо им, что пожили с нами и любили нас. Станем <...> доживать век наш в суетах и заботах и помогать друг другу»⁴.

Суждения друзей и современников.

¹ В действительности из Петербурга, куда он ненадолго вернулся после похорон матери.

² Б а р т е н е в П. И. Рассказы о Пушкине, с. 49.

³ ЛН, т. 16—18, с. 754.

⁴ «Русская старина», 1908, № 12, с. 763.

Гоголь — Нащокину (1842 г.): «Вы провели, по примеру многих, бешено и шумно вашу первую молодость, оставив за собой в свете название повесы. Свет остается навсегда при раз установленном от него же названии. Ему нет нужды, что у повесы была прекрасная душа, что в минуты самых повесничеств сквозили его благородные движения, что ни одного бесчестного дела им не было сделано».

Гоголь пытается устроить дела Нащокина через посредство миллионера Бенардаки:

«Я ему рассказал все, ничего не скрывая, что вы промотали все свое имение, что провели безрасчетно и шумно вашу молодость, что были в обществе знатных повес и игроков и что среди всего этого вы не потерялись ни разу душою, не изменили ни разу ее благородным движениям, умели приобрести невольное уважение достойных и умных людей и, с тем вместе, самую искреннюю дружбу Пушкина, питавшего ее к вам преимущественно перед другими до конца жизни»¹.

Еще суждения современников:

Н. Крестовский (Н. И. Куликов):

«...благодаря огромной начитанности *<Нащокин>* знал хорошо французскую и русскую литературу, а через французские переводы знакомился и с литературой других народов. При его знании жизни, при его вкусе и любви ко всем отраслям изящных искусств он обладал критическим чутьем и стоял в этом отношении выше своего времени, так что его литературные приговоры можно справедливо назвать критикой чистого разума.

Когда Россия зачитывалась сочинениями Марлинского, Нащокин хохотал над фантастическим вычурным изложением и словоигрием автора, предсказывая поклонникам его, что скоро они и сами насмеются над своим увлечением. А сам, зачитываясь Бальзаком, заставляя нас, молодых людей, читать его, кричал об нем и дома, и в гостях, и в клубе... Конечно, Пушкин сумел оценить критический талант друга молодости и ему первому читал свои сочинения, совершенно соглашаясь с его взглядом, вкусом и точными психологическими замечаниями»².

П. И. Бартенев: «...человек ума необыкновенного и ду-

¹ Гоголь Н. В. Поли. собр. соч., т. XII. Л., 1952, с. 73.

² «Русская старина», 1881, № 8, с. 599—600.

шевной доброты несказанной, Нащокин оставил по себе такую память, что вдова его могла пользоваться ею в течение слишком полувека»¹.

Чудеснейший образ Нащокина обрисовывается ясно; П. В. Анненков, лучший биограф Пушкина, кажется, первый — вслед за Гоголем — заметил, что Нащокин не просто очень хороший друг, но уже и «милый идеал».

Эту мысль развил в начале XX столетия М. О. Гершензон, а затем произошло любопытное раздвоение: Нащокин — друг великого поэта — «обрастал» новыми биографическими подробностями и становился все более «известным человеком», но притом как-то незаметно лишился обобщающего, «типического» значения.

Не углубляясь в обширные наблюдения и рассуждения, сделанные многими критиками и литературоведами, о положительном герое пушкинских сочинений, заметим лишь следующее: герои романтические, герои открытых страстей и поступков сходят со сцены вместе с временем, их породившим. Тогда-то русская литература в поисках *Идеала* достигает высоких степеней критики, иронии: лермонтовский «Герой нашего времени» подразумевал отсутствие того героя, которого хотелось бы автору («Печально я гляжу на наше поколенье...»), отрицательный Чичиков «не выдерживает» положительного превращения... Будущие любимые герои Тургенева, Чернышевского, Некрасова, Достоевского, Толстого еще не родились...

Однако Пушкин исследует эту проблему постоянно: исследует и добивается великой победы, создав Татьяну Ларину. Направление его мысли было ясно — поиски натуры внутренне честной, равной самой себе при всех обстоятельствах; натуры спокойной и вольной². Татьяна подвергается жестокому житейскому экзамену и — выдерживает.

Другим героям последних пушкинских сочинений также посланы испытания. Одни, мы знаем, бунтуют, бросают вызов судьбе, власти, смерти, добродетели — Евгений в «Медном Всаднике», Дон Гуан, Вальсингам, Пугачев, Радищев... Пушкин, понимая подобных людей (хорошо помня свою

¹ «Русский архив», 1904, № 11, с. 433.

² О «покое и воле» («вольности и покое»), которые утрачены Онегиным и «переходят» к Татьяне, см.: Бочаров С. Поэтика Пушкина. М., 1974, с. 49; Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 362—363.

юность!), страшится соблазнительного притяжения подобных порывов («Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...»).

Если бы идеал отыскивался на другом общественно-политическом полюсе, то в сочинениях великого поэта появились бы в 1830-х годах верноподданные «государственные люди николаевского покроя» — или была бы совершена попытка, предвосхищающая по духу замысел и трагическую неудачу второго тома «Мертвых душ»...

В бумагах и планах Пушкина ничего подобного не видно¹, куда чаще исследуется мотив бегства, ухода («Странник», «Пора, мой друг, пора...», «Из Пиндемонти»).

Очевидно после *открытия Татьяны* поиск «милого идеала» продолжается. Идеал повседневный сложно и постоянно переплетается с идеалом историческим: каковы были «лучшие люди» прежде — 10, 30, 100 лет назад? Как меняется «образец»? Что осталось неизменным? Что можно и должно извлечь, размыщля исторически? И если очевидна линия «Петр I — нынешнее самодержавие» или «Пугачев — нынешние крестьянские бунты», то какова же исходная точка для линии, в конце которой — Пушкин, его Татьяна?

И как тут было пройти мимо Нащокина?

Пушкин не посвящает стихов ближайшему другу — но сам этот друг, думаем, есть один из «скрытых героев» великого поэта.

Разумеется, беглое, случайное упоминание Павла Воиновича в «Замечаниях о бунте» не позволяет прямолинейно сопоставлять пушкинского друга с участниками, свидетелями (реальными и вымышленными) «кровавой поры» 1773—1775 годов. Однако в сочинениях и письмах Пушкина легко различить куда более широкую задачу: найти оптимальные позиции для себя, для своих — как лучше всего повести себя, духовно сохраниться среди великих исторических дви-

¹ Вспомним благоразумно оставленные в черновиках «Домика в Коломне» строки:

Пока меня без милости бранят
За цель моих стихов — иль за бесцелье,
И важные особы мне твердят,
Что ремесло поэта — пе безделье

Пока сердито требуют журналы,
Чтоб я воспел победы россиян
И написал скорее мадригалы
На бой или на бегство персиян...

жений и потрясений? Опыт пушкинских друзей и современников, пострадавших, погибших в декабре 1825-го или чудом спасшихся, на берег выброшенных грозою (как сам поэт), — все это давало огромный материал для размышлений. Какие же шаги, теории, мысли были правильными, а какие — ошибочными, роковыми?

И снова выходило, как у Татьяны, что важнейший ориентир для верного выбора — это внутренняя свобода, самостоятельность, верность самому себе: те качества, которые вырабатываются на повседневном, бытовом уровне — но необходимы как воздух «в минуты роковые». Иначе гибель; прежде всего — гибель нравственная...¹

Размышления о Нащокине ведут, как известно, к пушкинскому замыслу романа о «Русском Пеламе».

П. В. Анненков был первым исследователем оригинального пушкинского плана — вывести на русской почве аналог герою напечатанного в 1828 году романа Э. Бульвера-Литтона «Пелам, или Приключения джентльмена». Попадая в разнообразные жизненные переделки, опускаясь на дно или взлетая, Пелам ведет (по выражению П. В. Анненкова) «честно-шумную, благородно-стренную, беспокойную жизнь». Он сохраняет при том свои лучшие качества и нравственно побеждает в конце концов.

Анненков находил, что Пушкину (судя по сохранившемуся плану его романа) русский Пелам (*Пельгам, Пельмов*) представлялся «в лице верного друга Пушкина, детски доброго, доверчивого и впечатлительного П. В. Нащокина<...> С него, по нашему мнению, и намеревался Пушкин взять главные, основные черты лица и фигуры «русского Пельгама». Действительно, по количеству необычайных похождений, по числу связей, знакомств всякого рода, по ряду неожиданных столкновений с людьми, катастроф и семейных переворотов, испытанных им, друг Пушкина, насколько можно судить по преданиям и слухам о нем, очень близко подходит к типу «бывалого человека» Бульвера, уступая ему в стойкости характера, в дальности и полноте внутреннего содержания. Зато он еще лучше отвечал намерению Пушкина — олицетворить идею о человеке, нравственно, так сказать, из чистого золота, который не теряет ценности, куда бы ни попал, где бы ни очутился. Редкие умели бы так

¹ Об идейной, нравственной позиции Пушкина в последние годы жизни см.: Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1982, гл. 8—9.

сберечь человеческое достоинство, прямоту души, благородство характера, чистую совесть и неизменную доброту сердца, как этот друг Пушкина в самых критических обстоятельствах жизни, на краю гибели, в омуте слепых страстей и увлечений и под ударами судьбы и несчастий, большею частию им самим и накликанными на себя»¹.

Мы оставляем в стороне недавно возникший спор о прототипе Пелымова: П. М. Казанцев нашел сходство пушкинского героя с другим приятелем поэта, Никитой Всеволожским²; Н. А. Раевский же справедливо заметил, что эти соображения не противоречат «давнишней догадке Анненкова», ибо Пушкин типизирует черты нескольких известных ему ярких лиц.

Он ищет «нащокинский дух» и в друге, и в своем кругу, и в родной истории, и в себе.

Во взаимных похвалах Пушкин и Нащокин, как легко заметить, почти повторяют друг друга — «радость», «воскресение нравственного бытия моего». Они оба, при всей огромной разнице натур, сходны в нравственных установках, идеалах. Анненков находит, что Нащокин уступает бульверлиттоновскому Пеламу в стойкости, дальности, содержательности. Первый пушкинист формально прав, однако Пушкина как раз привлекало в Нащокинае благородство, прошедшее через слабости и потери (как бы по формуле — «не согрешишь — не покаешься — не спасешься»).

Это ведь пушкинское —

И с отвращением читая жизнь мою...

Его герой — не аскет, не праведник, а человек, в миру живущий и тысячу раз с ним связанный; человек обыкновенный (по статусу своему — отставной поручик, многосемейный, весь в долгах и проч.): вот где Пушкин ищет ответа на свои вопросы.

Человек, подобный золотому слитку, не может испортиться, даже временно погружаясь в грязь: золото достаточно вынуть из грязи и обмыть...

Такого рода поведение — это «завистливая мечта» поэта, который (согласно воспоминаниям П. А. Плетнева) «у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти <...> выше всего ставил в человеке качество

¹ П. В. Анненков и его друзья, т. I. СПб., 1892, с. 470.

² Казанцев П. М. К изучению «Русского Пелама» А. С. Пушкина.— Времениник Пушкинской комиссии, 1964. Л.; 1967, с. 21—33.

благоволения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни...»¹.

Однако как же поведет себя «Пелам» в минуту жестокого выбора — когда дворянское государство призовет давить восставших крестьян, и присяга того потребует — а честь и совесть, высшие судьи, подскажут иное.

Что же подскажут?

Вариант сочувствия, участия в пародном бунте (Шванвич, Радищев, будущие мятежники из «третьего сословия») рассмотрен в 1830-х годах как важная историческая перспектива, но это неприемлемо для самого Пушкина и его круга.

Вариант полного, безоговорочного присоединения к правительству?

Тогда нет проблемы и незачем писать «Историю Пугачева» и «Капитанскую дочку».

Своим творчеством Пушкин как бы объявляет: если уж придется выбирать — к царям или к Пугачеву? — ответ будет: «в Гриневы!»

Молодой человек, уберегший «честь смолоду», — добродушный, прямой, честный, откровенный, всегда «равный самому себе», — как Нащокин и ему подобные...

Он верен присяге — и не кривит душою с «мужицким Петром III». Он верен клятве любви — и в результате тысячи раз оказывается на краю гибели: спачала — от мятежников (Пугачев собирается повесить упрямого дворянина), потом от властей (Екатерина II карает за сотрудничество с Пугачевым). И смысл всего происходящего — что подобным людям (Гриневым, Нащокиным, Пушкинским) нелегко уцелеть меж двух главных российских «стихий» — между властью и народом.

Но, не споткнувшись, сохранив внутреннее естественное благородство и перед Пугачевым, и перед властью, Петруша Гринев спасен — и в награду обретает подлинное счастье. Помощница же ему, спасительница — «другая Татьяна Ларина» — Марья Ивановна Миронова...

Несколько тонких исследований, особенно работы Н. Н. Петруниной, открыли сложное развитие пугачевских замыслов Пушкина. После Шванвича, откровенно примкнувшего к народному бунту, Башарин — «бунтовщик поневоле», наконец, Валуев — Гринев, поведение которого многое сложнее.

¹ Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 256.

Указывались разные мотивы подобной эволюции пушкинского героя: от «цензурных опасений», что герой-пугачевец не пройдет в печать (Ю. Г. Оксман), до соображений о высоком художественном чутье, такте Пушкина, стремившегося к большей многогранности, объективности; для этого же требовалось освободить героя от социальной, политической односторонности («только мятежник» либо «только царев слуга»).

Разумеется, нет одного, простого объяснения насчет «превращения» Шванвича в Гринева¹, однако Н. Н. Петрунина верно замечает, что Пушкин уже давно «примерялся» к подобному образу: в планах неосуществленной «Повести о стрельце» (1833—1834) молодому герою нужно сделать трудный выбор между Петром I и его противниками (среди которых близкие герою люди). Стрелец находит единственный для себя честный, «гриневский» выход². Нечто подобное (как уже говорилось в гл. IV) можно заподозрить еще и в черновом отрывке «Записки молодого человека», где юному прапорщику, очевидно, предстоит тягчайший выбор между присягой царю и дружбой с декабристами; кажется, он будет в роли Гринева, «мятежника поневоле», стремящегося найти свое место в событиях.

Однако ни в одном из трудов, насколько нам известно, не ставился вопрос о сугубо личных мотивах Пушкина во время этих поисков³. Меж тем вряд ли случайно, что «Валуев—

¹ В одной из недавних работ отмечается, что «в своей полемике, во многом убедительной, Н. Н. Петрунина слишком категорична. Трудно согласиться с тем, что боязнь цензурных осложнений вовсе не волновала Пушкина... Но не менее категорична и противоположная точка зрения, что этот «контроль» являлся решающим и всеобъемлющим» (Гиллельсон М. И., Мушина И. Б. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Комментарий. Л., 1977, с. 20).

² «Сын казненного стрельца воспитан вдовою вместе с ее сыном и дочерью; он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему Петр поручает свое письмо.

Приказчик вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен имения своего и отдан в солдаты. Стрелецкий сын посещает его семейство и у Петра выпрашивает прощение молодому барину» (VIII, 431).

³ Справедливо, но, на наш взгляд, неполно литературно-историческое объяснение, что, «анализируя эволюцию образа Шванвича — Башарина — Гринева, необходимо рассматривать этот процесс во взаимодействии с формированием основной сюжетной линии повести, с выдвижением на первый план напряженного идеально-психологического диалога Гринева и Пугачева. Лишь найдя острую психологическую коллизию, противостояние этих героев, Пушкин смог приступить к написанию повести» (Гиллельсон М. И., Мушина И. Б. Указ. соч., с. 20).

Гринев» явился автору «Капитанской дочки» в своем окончательном виде на исходе 1834 года¹.

Ведь летом того года произошло острейшее столкновение поэта с властью (письма Пушкина к жене перехвачены, прочитаны). Конфликт внешне был улажен, Пушкин взял обратно просьбу об отставке; события, однако, сильно повлияли на его мироощущение. Поэт не теряет по-прежнему некоторых существенных иллюзий насчет власти (именно в конце 1834-го готовит для царя «Замечания о бунте!»), но в то же время сильно задумывается о способах — не быть шутом и холопом даже «у царя небесного». Это — раздумья, требующие если не сразу удалиться («Пора, мой друг, пора...»), то *отдаться*; это — движение к уже зреющим формулам: «Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно?..» и — «Велению божию, о муза, будь послушна».

Новые мысли и чувства Пушкина воплощаются не в герое-пугачевце и не в активном деятеле правительственной партии, но в человеке, победившем, нашедшем свой путь благодаря *свободе внутренней*. С одной стороны, историзм Пушкина постоянно вел его к мысли об огромном влиянии среды на человека — куда большем, чем казалось в прежние, романтические времена (с их идеями автономной личности); с другой стороны, Пушкина в последние годы жизни все более привлекают гармония самостоятельной, внутренне вольной, победившей среду личности. Это как бы возращение на новом уровне к старому идеалу... Пушкин-художник, разумеется, никогда и не утрачивал добра, внутренней свободы, но в некоторые годы сильнее, а в иные времена слабее обозначалась их связь с внешними условиями, историческими обстоятельствами.

Темы эти огромны... Достаточно только раз напомнить, что на столе Пушкина во время второй Болдинской осени (1833 год) рядом лежали «История Пугачева» и «Медный Всадник»; роковой бунт и роковая власть... Пугачев ведь истреблял и того мелкого, небогатого дворянинаСлужбиста, за кем мчится «кумир на бронзовом коне». Куда же деться бедному Евгению, как спастись?

Вопросом важнее жизни становилась задача — не пропасть и не потерять себя, вдруг поддавшись одной из двух великих сил.

¹ План «Балуев приезжает в крепость» (VIII, 930) датируется ноябрем 1834 года.

Пушкин, повторим, тоже хотел бы так продержаться, как его Гринев,— да не сумел. Завидовал в высшем смысле Плестневу, но куда больше — Нашокину: наблюдая за ним, он наслаждался особым нравственным чувством; может быть, именно потому «отроду не читывал... ничего забавнее» нащокинских записок — там ведь были «закреплены на бумаге» любезные Пушкину черты особой нащокинской нравственности.

Еще и еще раз подчеркиваем, что не ищем в Павле Воиновиче какого-либо прототипа Гринева и т. п., но находим, что взгляд поэта на своего друга вел к новым, прищипиальным откровениям; что уже зарождались те мысли о цели, идеале русского человека, которые унаследует Гоголь, разумеется, переведя их с пушкинского языка на свой собственный...

* * *

Эпилогом, «постскрипту мом» к этим рассуждениям может послужить замечательное во многих отношениях письмо Павла Воиновича:¹

27 ноября 1848 г.

Любезный друг Лев Сергеевич!

У тебя дел полная бездна в Петербурге и много друзей и приятелей, и все там на лицо, я же, твой старый друг и товарищ, был от тебя давно далеко и теперь не на лицо, но по душе всех их ближе к тебе по многим отношениям, по крайней мере с моей стороны, из чего ты можешь посудить о моем одиночестве: приятелей у меня давно нет, ибо давно у меня для них приятного не стало; друзья все вымерли; родные — лучше если б их и не было; здоровья нет, ничего нет, или много есть — только все отрицательное: долги, болезни, заботы, нужда и прочие и прочие гадости, скверноти, от которых кости трещат и мозг сохнет, и уже высох, обратился в пыль или в золу. В быстрый проезд твой через Москву я не успел с тобою поговорить, и потому ты представить не можешь, что я вытерпел в продолжение последних десяти лет психически и материально, и все это идет далее и далее и с большою силою; отдых мой в моих мучительных обстоятельствах уподобить можно только обмороку от невыносимой боли. Поверишь ли, друг,— я, которого ты знаешь, еще не

¹ ПД, ф. 244, оп. 20, № 76. Письмо П. В. Нашокина — брату поэта Льву Сергеевичу Пушкину.

только отжил душою, но напротив, ее силою, как силою [пара] рассекают пути и уменьшают пространство, так точно и моя еще <изрб> душа поддерживает бренное мое существование на пути жизни с тяжким бременем просто невыносимых забот и трудов; еще способен на бескорыстную дружбу; люблю пламенно семейство; неравнодушен к предметам изящным и умственным, одним словом, мог бы жить, по положение дел моих было таково, что приходило на мысль прекратить одним мгновением — все, и выпустить душу, подрезав пробку, как сент-пере и сент... забыл; и все чаще и чаще эта мысль приходит, но благодаря Бога, что как ни тошно, и не скажу, что умирать еще тощнее: в эти минуты конец жизни больше, чем наслаждение, и делается необходимою потребностью, как удовлетворение жажды или голода, но благодаря Бога, что я еще с ума не сошел и не считаю свою душу за *aig fixe*¹, как считают теперь западники свою душу, а чем-то поважнее, и с которой шутки плохи. Скажу тебе, любезный друг Лев Сергеевич, мне очень круто, бездна под ногами, и голова кружится; очень круто, не забудь о мне, ты меня можешь спасти, коли не забудешь и очень того захочешь. Восемнадцать лет, как ты должен остался 3 000 р. асс. такому каналье, который верно не дал бы тебе покою, если б я не взял твое заемное письмо вместо 10 000 руб. асс. следуемых мне наличных денег или, по крайней мере, за 6 800 р. асс., которые этот капалья за неделю до своего побега от меня чистым золотом получил и еще клялся, сукин сын, что ему золотом получать было беспокойно; заемное твое письмо получил я от него спустя десять лет, оно у меня в руках было годов семь иль восемь; взял же его (ты в том верно сомневаться не можешь) не с тем, чтобы ты мне по оному когда-либо заплатил, а взял его от него на основании той поговорки, что с злой собаки хоть шерсти клок, а тебя оставить по сему долгу неприосновенным: одно это служило мне утешением в убыточном для меня воровском его со мною поступке. Что ты ему должен бы был заплатить рано или поздно, в этом нет никакого сомнения; мне же, любезный друг, ты не должен, и отдавши тебе обратно этот клочек бумашки, я не думал этим сделать никакого великодушного поступка; что я прежде не разорвал в твое отсутствие, я и сам не знаю, как это случилось, просто забыл. Теперь, любезный друг Лев Сергеевич, ты крайне меня обидишь, если будешь мне

¹ Фикцию (*франц.*).

уплачивать долг, а ты думай вот как: что ваш искренний друг, тебя и покойного брата твоего, в крайней нужде, что ему есть нечего, что он стар, измучен, хвор и бьется как рыба об лед, что ваша была бы обязанность вместе с братом (но он умер, а ты жив) помочь другу и чем скорее, тем лучше, но я из сил стал выбиваться. И так, Лев Сергеевич, пришли мне хоть что-нибудь, собери, достань, займи у кого хочешь и сколько можешь, чем больше, тем лучше; а счетов между нами никогда и нигде никаких быть не может, ибо дружба моя с вами была не на счетах и не на делах основана и могу смело сказать, что наши отношения с твоим братом и с тобою были вовсе бескорыстны и не на каких видах человеческих особенно не были основаны, а что было этому причиною, ей-ей другой не знаю, что так было Богу угодно. Прости, не забывай, действуй!! И присылай, пока нужно; письмо мое никому не показывай. Прощай, друг мой, желаю тебе успеха в делах. Будешь писать своей жене, пиши ей от меня. Моя жена тебе кланяется.

П. Нащокин.

Передай наш усердный поклон Наталье Николаевне. Еще раз прилагаю свой адрес не для письма, а для повести: близ Зубова в приходе Неопалимой Купины, в Малом Трубниковском переулке, дом Жданова».

Письмо прекрасное.

Хотя оно составлялось почти через 12 лет после гибели Пушкина и адресовано младшему брату поэта, но по сути своей обращено к обоим Пушкинам; Нащокин словно забывает, что Александра Сергеевича нет на свете, даже как будто пеняет обоим («ваша была бы обязанность... помочь другу» и проч.).

В 1830-х годах Павел Воинович был куда ближе к старшему Пушкину, нежели к младшему, однако познакомился раньше все же с Львом Сергеевичем: вместе учились в 1814—1815 гг. в Благородном пансионе, а поэт-лицеист нащадил обоих, причем (согласно авторитетной записи П. И. Бартенева) бывал там «более для свидания с Нащокиным, чем с братом».

Письмо от 27 ноября 1848 года отличает именно тот неповторимый, удивительный нащокинский стиль, который Пушкин так ценил, из-за которого требовал от друга собственноручных «меморий»...

В позднем письме ко Льву Пушкину (который, после

многих лет пребывания на Кавказе, промчался через Москву в Петербург) легко найти такие строки, которые бы вызвали обычное восхищение Александра Сергеевича; чего стоит фраза «приятелей у меня давно нет, ибо давно у меня для них приятного не стало»; или — желание «прекратить одним мгновением все и выпустить душу, подрезав пробку, как сант-пера и сант... забыл»¹. Главное в письме, однако, образ автора, того Нащокина, в котором Пушкин и Гоголь находят высочайшее человеческое начало.

Как всегда, Павел Воинович в долгах, без денег. Это были, как известно, постоянный мотив и в давней переписке его с Александром Сергеевичем — однако в конце 1848 года дела Павла Воиновича были, очевидно, особенно плохи: это один из тех (описанных современниками) периодов его биографии, когда Нащокин сидел дома «без еды и сапог» и ожидал получения какого-нибудь очередного наследства.

«Жизнь Нащокина,— замечает П. И. Бартенев,— состояла из переходов от «разливанного моря» (с постройкою кукольного домика в несколько тысяч рублей) к полной скучности, доходившей до того, что приходилось топить печи мебелью красного дерева. Он прожил несколько больших наследств»².

В этот период, по мнению Н. А. Раевского, «дела Павла Воиновича все ухудшались. В 1848 г., согласно «копии о дворянстве», «имения за ним никакого не числилось». Когда наступило окончательное, как можно было думать, разорение, мы не знаем — но в 1851 г. Нащокин снимал уже бедную квартиру у церкви Неопалимой Купины, близ Девичьего Поля»³.

Деньги Нащокину были в 1848 году, однако, очень необходимы — и привет Наталье Николаевне Ланской (в постскриптуре письма к Льву Пушкину) — тоже «немая мольба»: может быть, у нее найдется!

При этом, однако, Нащокин просит о помощи неповторимым, чисто нащокинским способом. Вексель беспутного Левушки уж несколько лет как выкуплен, и, если б не случайная встреча, брат поэта никогда бы о том не узнал! Это сделано «не с тем, чтобы ты мне по оному когда-нибудь за-

¹ Кстати, и эти названия вин звучат «по-пушкински»: знаменитый одесский ресторатор Оттон свидетельствовал, что Пушкин предпочитал шампанское Сен-пре. См.: Пушкин, статьи и материалы, вып. III. Одесса, 1927, с. 72.

² «Русский архив». 1904, № 11, с. 433.

³ Раевский Н. А. Указ. соч., с. 87.

платил». Как видно, Лев Пушкин (скорее всего, через общего знакомого) все же поблагодарил из Петербурга старинного однокашника за возвращенный «ключок бумажки»; Нащокин, однако, отвечает словами, которые под первом другого звучали бы притворством, намеком, однако Павел Воинович нажил столь необыкновенную репутацию, что имеет свободу именно так толковать о денежных предметах: он не просит вернуть долг и не просит в долг у друга. Во всяком «расчете» он не находит ничего соответствующего тем особым отношениям, которые у него с Пушкиными: «Дружба моя с вами была не на счетах и не на делах основана... А что было этому причиной, ей-ей другой не знаю, что так было Богу угодно». Поэтому Нащокин просит письмо никому не показывать: могут не понять особенного языка особых отношений; и адрес свой прилагает не для письма, а для денежной повестки (то есть ему не нужны унылые отговорки, что денег нет и т. п.: нет так нет!).

Как не вспомнить здесь пушкинского обращения к другу после долгого перерыва в переписке: «Рад я, Павел Воинович, твоему письму, по которому вижу, что твое удивительное добродушие и умная, терпеливая снисходительность не изменились ни от хлопот новой для тебя жизни, ни от виновности дружбы перед тобою».

Внял ли Левушка нащокинской отчаянной просьбе? Если в момент получения письма имел деньги (что сомнительно) — то послал; если же не имел, то, скорее всего, тут же и забыл (впрочем, пять лет спустя, незадолго до смерти, Нащокин еще получит порядочное наследство — и станет опять «принимать к себе прохожих калик, странников, странниц, бродяг, которые всегда что-нибудь у него крали»¹).

В заключение заметим, что печальные, прекрасные слова в начале послания, обращенные ко Льву Пушкину, можно смело переадресовать его великому брату: «У тебя дел полная бездна в Петербурге и много друзей и приятелей, и все там на лицо, я же, твой старый друг и товарищ, был от тебя давно далеко и теперь не на лицо, но по душе всех их ближе к тебе по многим отношениям, по крайней мере с моей стороны, из чего ты можешь посудить о моем одиночестве».

И «удивительный Александр Сергеевич» будто отвечает другу из далекого 1836 года: «Нащокин одна моя отрада», «любит меня один Нащокин».

¹ «Искра», 1866, № 47.

ГЛАВА IX

«КАМЧАТСКИЕ ДЕЛА»

Страна печальная, гористая, влажная...

В журнале «посмертного обыска» у Пушкина находится запись от 19 февраля 1837 года о том, что бумаги «в сундуке № 1» разделены на несколько групп, и под «№ 6» между прочим значатся — «Камчатские дела»¹; на одном из камчатских листов рукой жандармского генерала Дубельта, красными чернилами, выставлено «№ 4».

При отборе ненапечатанных сочинений для посмертного пушкинского собрания камчатскому конспекту не повезло: главные события, затронутые в этих бумагах, происходят в начале XVIII века, при Петре Великом, и поэтому решили, что это одна из «петровских тетрадей» — огромного собрания выписок и заметок к той «Истории Петра», над которой Пушкин работал в последние годы жизни². Попытки опубликовать хотя бы часть петровских материалов в ту пору не дали результатов: сначала Николай I, просмотрев пушкинские записи, запретил их «по причине многих неприличных выражений насчет Петра Великого»; в 1840 году, когда Жуковский предпринял еще попытку, цензура сделала 72 изъятия в тексте, и «в таком ущербленном виде История Петра Пушкина оказалась неприемлемой для издателей» (Х, 482)³.

В следующие десятилетия Анненков и другие пушкинисты с трудом пробивали в печать отдельные фрагменты.

Издав сначала шесть томов сочинений и биографических материалов поэта, Анненков в 1857 году напечатал седьмой, дополнительный том, куда впервые вошли многие тексты, не пропущенные в первых книгах. Среди них — отрывок «Кам-

¹ Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 317.

² Составляя окончательную описание пушкинским рукописям, Жуковский внес сюда «Выписки из камчатских дел для составления Истории Петра Великого». См.: Цявловский М. А. Цит. соч., с. 307. О судьбе пушкинской «Истории Петра» см.: Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина.

³ Комментарий П. С. Попова.



Камчатка. образ
песчаных, гористых,
мощных горных
горы бесприступные
область ее.



камчатская эпоха

от 1694 2° 1740 и]

декабр. 1874

чатские дела»¹, помещенный вслед за «Материалами для 1-й главы Истории Петра Великого». По мнению Анненкова, оба текста «имеют один общий характер. Они дают понятие о методе, принятом Пушкиным для исторических своих работ, и в этом отношении весьма любопытны»².

Позднейшие исследователи догадывались, что камчатские страницы далеко не полностью воспроизведены первым пушкинистом; со временем на свет выходят еще планы, наброски, конспекты, явно относящиеся к сверхдалекому полуострову, на котором поэт никогда не был³.

Одолев в своих странствиях 34 тысячи верст «то в коляс-

¹ Сочинения Пушкина, 7-й дополнительный том. СПб., 1857, с. 29—49 (вторая пагинация).

² Там же, с. 3.

³ План и набросок начала статьи о Камчатке опубликован В. Е. Якушкиным: «Русская старина», 1884, № 10, с. 91—92; фрагмент

ке, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком», Пушкин даже с Урала, куда ездил «за Пугачевым», еще не добрал семи-восьми тысяч верст до Петропавловска (согласно российским месяцесловам: «от Петропавловского порта до Санкт-Петербурга 10 648 верст, до Москвы 9 918, до ближайшего губернского города 4 620»). Из его друзей только Матюшкин достиг этого края. Пушкин же отправил в недостижимую даль свою мысль и воображение.

Между тем после 1933 года, когда был опубликован последний из камчатских отрывков, изучение этого сочинения почти остановилось. При всем громадном интересе иуважении к Пушкину специалисты не видели особого резона углубляться в добытые тексты¹.

В самом деле — Пушкин довольно подробно конспектирует труд академика Степана Петровича Крашенинникова «Описание земли Камчатки».

Книга эта, впервые напечатанная в 1755 году (через несколько недель после смерти автора), относится к географической классике. В предисловии к ее самому полному изданию отмечается, что «виднейший, после Ломоносова, русский академик XVIII века С. П. Крашенинников был пионером исследования Камчатки. Его данные о природе, о быте и языках местного населения, об открытии и завоевании этого полуострова представляют бесценное достояние географической и исторической науки. Написанное прекрасным русским языком, произведение С. П. Крашенинникова читается с неослабевающим интересом. Недаром оно в свое время было переведено на иностранные языки»².

Пушкин конспектирует замечательную книгу. Однако, ес-

«О Камчатке» напечатан С. М. Бонди в собр. соч. Пушкина, т. V, кн. 2. ГИХЛ, 1933, с. 711—717. Подготовительные материалы к «Истории Петра» со всей возможной полнотой были опубликованы П. С. Поповым в 1938 году в X томе Большого академического собрания А. С. Пушкина.

¹ После завершения публикаций появились печатные отзывы, популяризировавшие новые тексты и отмечавшие интерес поэта к Сибири и Дальнему Востоку. См.: А. С. Пушкин и Сибирь. М.—Иркутск, 1937, с. 146—154; Пушкин — Сибирь — Америка.—«Сибирские огни», 1937, № 3, с. 129; Степанов А. Пушкин и Камчатка.—В сб.: На рубеже. Хабаровск, 1939, № 2, с. 191—195; Степанов Н. Н. Пушкин и Север.—«Вестник ЛГУ», 1949, № 6, с. 34—45; Гуревич А. Пушкин и Сибирь. Красноярск, 1952, с. 68—69 и др.

² Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов. М.—Л., 1949, с. 5. Важные дополнения к этой книге — в сб.: С. П. Крашенинников в Сибири. М.—Л., 1966.

ли уж нам понадобится Крашенинников, мы, надо думать, не Пушкина возьмем, а само «Описание земли Камчатки». Если же пожелаем новой встречи с Пушкиным, скорее станем искать ее в оригинальном труде, а не в конспекте...

Сразу возникает, однако, несколько непростых вопросов.

Например, зачем Пушкин делает большие выписки? Вероятно, для своего журнала «Современник», а также для полноценной исторической картины, связанной с эпохой Петра Великого... Но неужели поэт не может попросить кого-нибудь из членов семьи или грамотного журналиста, чтобы они просмотрели известную книгу, напомнили читателям некоторые ее фрагменты? Ведь так мало времени!

На обложке одной части конспекта рукой Пушкина написана дата — *20 января 1837 года*¹. Скорее всего, в те же примерно дни появились и все другие камчатские страницы.

20 января... Семь дней до последней дуэли, 9 дней до смерти.

20 января 1837 года — разгар трудов над пятым томом «Современника», твердое намерение писать новые главы для «Истории Пугачева»; на столе груды материалов по истории Петра; денежный долг давно перевалил за сто тысяч; ненависть и презрение к Геккернам отравляют мысль и сердце. Совершенно нет времени...

Однако Пушкин сидит и упорно делает выписки из двух томов (в одном старинном переплете): «Описание земли Камчатки, сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором. Вторым тиснением в Санкт-Петербурге. При императорской Академии наук 1786 года»². Выписки и заметки занимают в Полном академическом собрании Пушкина 25 печатных страниц (X, 343—367). Большой конспект.

Но конспект ли? Ведь, присмотревшись в свое время к другому пушкинскому «конспекту» (источникам и материалам по истории Петра Великого), И. Л. Фейнберг обнаружил там немало чисто пушкинских «пластов»: сценок, рассуждений, прекрасных фрагментов исторической прозы...³.

¹ ПД, ф. 244, оп. 1, № 413, л. 1.

² Книги сохранились в пушкинской библиотеке. См.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 54. На листе после переплетной крышки Пушкин написал карандашом свою фамилию.

³ См.: Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина.

Крашенинников: «Камчатский мыс по большей части горист. Горы от южного конца к северу непрерывным хребтом простираются, и почти на две равные части разделяют землю; а от них другие горы к обоим морям лежат хребтами же, между которыми реки имеют течение. Низменные места находятся токмо около моря, где горы от оного в отдалении, и по широким долинам, где между хребтами знатное расстояние.

Хребты, простирающиеся к востоку и западу, во многих местах выдались в море на немалое расстояние, чего ради и называются носами: но больше таких носов на восточном берегу, нежели на западном. Включенным между носами морским заливам, которые просто морями называются, всем имена особливые, как например: Олюторское море, Камчатское, Бобровое и прочая»¹.

Пушкин: «Камчатка земля гористая. Она разделена направо хребтом; берега ее низменны. Хребты, идущие по сторонам главного хребта, вдались в море и названы носами. Заливы, между ими включенные, называются морями (Олюторское, Бобровое etc.)» (X, 343).

Пока перед нами конспект, хотя всегда интересно смотреть, как обстоятельный, неторопливый, старинный рассказ Пушкин «переводит» на язык более современный, сжатый, быстрый, который нам так привычен по «Арапу Петра Великого», «Повестям Белкина».

Но вот другой отрывок:

Крашенинников: «Никул речка хотя с<...> знатными реками величиною и не может сравняться, однако не меньше их достойна примечания: потому что за несколько лет до покорения Камчатки зимовали там российские люди, по которых начальнику Федоту называется она Федотовщиною от тамошних жителей» (109).

Пушкин: «Никуль-речка. Зимовье Федота I и зовется Федотовщиною» (X, 344).

Казалось бы, мелочь — замечательный мореплаватель Федот Алексеев Попов, под чьим водительством казаки впервые обогнули Азию и Беринговым проливом прошли к Камчатке, назван Федотом I. Пушкинская улыбка или быстрая оценка ситуации: здесь, в колossalном удалении от центра, всякий предводитель, начальник — почти независим; Федот I — это,

¹ Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. М.—Л., 1919, с. 100; далее ссылки на страницы этого издания даются в тексте.

кажется, знак особой дикой вольности, о которой еще речь пойдет...

Было бы нелепо сравнивать достоинства стиля великого писателя и жившего за сто лет до него крупного учёного... Каждый хорош сам по себе — и не об этом сейчас разговор. Мы замечаем, однако, что Пушкин не может холодно, «молча» конспектировать, он ищет высказаться, не может или не хочет сдержать восхищения, улыбки или иного отношения к тому, что читает, — и эти чисто пушкинские строки вспыхивают там и сям, нам же радостно их заметить. О казаках, например, записано «здесь они осеневали» (Х, 361). Какое хорошее словцо, отсутствующее и в книге Крашенинникова, и, к сожалению, в четырехтомном «Словаре языка Пушкина»¹.

Вот Крашенинников размышляет о «свойстве камчатской землицы в рассуждении недостатков и изобилия», подробно описывая климат, природу... Несколько страниц его книги (195—205) Пушкин сжимает в следующие строки:

Камчатка — страна печальная, гористая, влажная. Ветры почти беспрестанные обвеваю ее. Снега не тают на высоких горах. Снега выпадают на 3 сажени глубины — и лежат на ней почти 8 месяцев. Ветры и морозы убивают снега; весеннее солнце отражается на их еладкой поверхности и причиняет несносную боль глазам. Настает лето. Камчатка, от наводнения освобожденная, являет скоро великую силу растительности; но в начале августа уже показывается иней и начинаются морозы (Х, 346).

Хочется сказать, что это наблюдение самого Пушкина — это у него болят глаза от снега, это ему печально (у Крашенинникова нет и слова такого в приведенном отрывке), это он стоит, обвеваемый беспощадными ветрами, приносящими и убивающими снега.

Может быть, российский поэт уподобился Петрарке, который однажды составил для друга путеводитель по *Сирии, стране*, где никогда не бывал, но о которой думал?²

Разумеется, в пушкинских выписках впечатления не 1837-го, а 1737-го (год прибытия Крашенинникова на Камчатку) — и все же это совсем не конспект. Это *пушкинский текст* — давно известный и в то же время неведомый: поэт вернулся из страны печальной, гористой, влажной.

Но мы еще не поняли, зачем он туда отправляется за несколько дней до смерти.

¹ Оно есть в словаре Даля, т. 2. М., 1981, с. 696.

² Парандовский Ян. Петрарка.— «Иностранная литература», 1974, № 6, с. 125.

ПОЭЗИЯ

Разумеется, Пушкин оценил особую поэзию той ученой книги, того дальнего края, куда более далекого, чем Лукоморье, остров Буян или славное Салтаново царство... За сто лет до пушкинского времени эта земля была еще более далекой, дикой, таинственной. Ведь в течение многих лет не удавалось привезти в столицы хоть одного коренного обитателя Камчатки, ибо, как пояснил якутский городской голова, «тамошним уроженцам в русских городах быть незабытоенно, понеже русских рек вода и воздух и тамошний горизонт им не служит»¹.

Когда же императрица Елизавета Петровна комантировала штабс-фурьера Шахтурова для доставления на коронацию шестерых молодых пригожих камчатских девиц, то через 6 лет после получения приказа (и пятью годами позже коронации) нерасторопный фурьер обнаружился на обратном пути... в Иркутске, без денег и с шестью девицами, которые все по дороге успели родить...²

Пушкин, вечный странник, с уважением и, может быть, завистью списывает у Крашенинникова:

«Путь из Якутска шел только зимний. Скарб казаки везли на нартах.

Путь шел 1) по реке Лене вниз до ее устья, отоль по Ледяному морю до устья Индигирки и Ковымы — отоль сухим путем чрез Анадырск до Пенжинского моря или до Олюторского; отоль байдарами или сухим путем; на то требовалось целое лето при хорошей погоде. В противном случае кочи разбивались, и казаки оставались в пути по два и по три года.

От Якутска до Усть-Яны — 1960 верст.

Анадырский острог

От Анадырского острогу до Нижнего Камчатского 1144 версты — езды на оленях с две недели до Пенжины-реки, с две недели до Нижнего Камчатского острога.

Дорога через Охотск» (Х, 349).

Переписывая этот текст, Пушкин вдобавок трижды отсылает будущего читателя к определенным страницам Кра-

¹ Цит. по материалам цензурных изъятий в статье А. Сгибнева «Камчадалы при дворе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны» (предназначалось для журнала «Древняя и новая Россия»). ПБ, ф. 874, (С. Шубинского) оп. 2, № 301.

² Там же.

шенинникова, где еще более подробно перечисляются незнакомые названия, хребты, версты, трудные переходы; где автор, объяснив, насколько путь в Камчатку морем через Охотск легче сухоцутного, между прочим сообщает, как трещало и наполнялось водой утюе суденышко «Фортуна», на коем он сам пересекал Охотское море, как облегчали корабль «извержением клади», и несчастливы были те, «которых кладь наверху лежала» (Крашенинников, конечно, оказался в их числе); и как уже на виду самой Камчатки судно развалилось, и «тогда могли мы видеть, сколь «Фортуна» наша была ненадежна, ибо доски внутри были все черны и гнилы, и можно было их ломать руками без трудности»; и после всех этих бед камчатская твердь казалась столь мила, что даже не заметили «беспрестанного почти земли трясения, но понеже оно там легко было, то мы шатались ходя, причитали трясение нашей слабости, что от морского качания ходить не можем; однако вскоре узнали, что мы ошибались в мнении...» (530—531).

«ОПИСАНИЕ ЗЕМЛИ...»

На каждой странице книги Крашенинникова встречаются неожиданные, колоритные подробности, и многие выписаны, отмечены пушкинским пером или карандашом.

Орлова река, названная так «по причине орлиного гнезда на тополе» (Х, 344)...

Во время отлива «ходит по морю вал с белью и засыпью вышиною до 30 сажень» (Х, 345. Пушкин выделил образные наименования пенистой верхушки валов).

Крутие горы, с которых спускаются на ремнях...

Медведи, которые обдирают кожу и мягкие места, но никогда не умертвляют людей; ободранных же называют камчадалы *дранками*» (Х, 347).

«Гора Алаид на пустом Курильском острову», — записывает Пушкин и отсылает к соответствующей странице Крашенинникова: «смотри о ней сказку» (Х, 345).

В «Описании земли Камчатки»: «Помянутая гора стояла прежде сего посреди объявленного озера; и понеже она вышиною своею у всех прочих гор свет отнимала, то оные беспрестанно на Алаид негодовали и с ней ссорились, так что Алаид принуждена была от беспокойства удалиться и стать в уединении на море; однако в память своего на озере пребывания оставила она свое сердце, которое по-курильски

Учиши также и Нухгунк, то есть пупковый, а по-русски Сердце-камень называется, которой стоит посреди Курильского озера и имеет коническую фигуру. Путь ее был тем местом, где течет река Озерная, которая учинилась при случае оного путешествия: ибо как гора поднялась с места, то вода из озера устремилась за нею и проложила себе к морю дорогу. И хотя <...> молодые люди тому смеются, однако старики и женщины почитают все вышеописанное за истину, почему о удивительных их воображениях рассуждать можно» (167—168).

Еще конспект Пушкина:

«Молния редко видима в Камчатке. Дикари полагают, что гамулы (духи) бросают из своих юрт горящие головешки.

Гром, по их мнению, происходит от того, что [бог] Кут лодки свои с реки на реку перетаскивает, или что он в сердцах бросает оземь свой бубен.

Смотри грациозную их сказку о ветре и о зарях утренней и вечерней» (Х, 346).

Снова мелькнуло слово 1837 года — *грациозная*, — и мы, конечно, присмотримся к той камчадальской сказке, которая так понравилась поэту:

«Когда их спросишь, отчего ветр рождается? ответствуют за истину — от Балакитга, которого Кутха в человечьем образе на облаках создал и придал ему жену Завина-кугагт именем. Сей Балакиттг, по их мнению, имеет кудрявые предолгие волосы, которыми он производит ветры по произволению. Когда он пожелает беспокоить ветром какое место, то качает над ним головою столь долго и столь сильно, сколь великий ветр ему понравится, а когда он устанет, то утихнет и ветер, и хорошая погода последует. Жена сего камчатского Еоля¹ в отсутствие мужа своего всегда румянится, чтоб при возвращении показаться ему краснейшее. Когда муж ее домой приезжает, тогда она находится в радости; а когда ему заночевать случится, то она печалится и плачет о том, что напрасно румянилась: и оттого бывают пасмурные дни до самого Балакитгова возвращения. Сим образом изъясняют они утреннюю зорю и вечернюю и погоду, которая с тем соединяется, филозофствуя по смешному своему разуму и любопытству, и ничего без изъяснения не оставляя» (204—205).

Пушкин, уже много лет интересующийся народными

¹ Подразумевается Эол — греческий бог ветра.

сказками и преданиями, конечно, не обойдет тонкого, хоть и мимолетного замечания Крашенинникова о первобытных народах, которые *ничего не оставляют без объяснения*, в то время как наша цивилизация и наука некоторые явления пока объяснить не берутся...

«РАВНОДУШИЕ...»

Первобытные племена, мышление так называемых *диках* народов издавна занимают Пушкина. Может быть, тут играла некоторую роль романтическая традиция, мода на экзотические народы, дальние страны — куда в ту пору особенно часто залетало воображение поэтов, философов, утопических мечтателей. Впрочем, романтическая эпоха проходит. Очень любопытно, что всего за несколько месяцев до «камчатских конспектов» Пушкин вернулся из еще более дальних «пустынь северной Америки» и в своем очерке «Джон Теннер» заметил: «Нравы североамериканских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индейцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения. «Дикари, выставленные в романах,— пишет Вашингтон Ирвинг,— так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных». Это самое подозревали читатели; и недоверчивость к словам заманчивых повествователей уменьшала удовольствие, доставляемое их блестящими произведениями» (XII, 105).

Да ведь дело не только в романтизме! Детское, непосредственное начало, всегда присутствующее в великом поэте, неожиданным образом открывает ему многое в других *детьях* — первобытных племенах и народностях, вольных полуразбойничий казачьих ватагах, уходящих в глубину «диких миров».

С такими людьми Пушкин легко находит общий язык — достаточно перечитать «Историю Пугачева», «Путешествие в Арзрум», вспомнить о его встречах с цыганами, с «любезной калмычкой»; только что в «Памятнике» — «ныне дикой тунгус и друг степей калмык»...

Однажды запишет о своем путешествии в Болдино (куда подступала холера): «Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами» (XII, 309).

«Равнодушие к жизни», — замечает Пушкин, читая Крашенинникова, и отсылает к заинтересованной странице:

«Главной у них грех скуча и неспокойство, которого убе-

гают всеми мерами, не щадя иногда и своей жизни. Ибо по их мнению лучше умереть, нежели не жить, как им угодно. Чего ради прежде сего самоубивство было у них последний способ удовольствия, которое до самого их покорения продолжалось, а по покорении так было умножилось, что из Москвы нарочные были приказы, чтобы россиянам не допускать камчадалов до самовольной смерти».

«Камчадалы плодились,— записывает Пушкин,— несмотря на то, что множество их погибло от снежных обвалов, от бурь, зверей, потопления, самоубийств etc, войны» (X, 347).

«А когда увидят,— замечает Крашенинников,— что неприятель премогает, то всякой камчадал, заколов жену и детей своих, или стремглав низвергается, или с оружием устремляется на неприятеля, чтоб не умереть без отмщения. И сие на их языке постелю под себя достать называется» (403).

Бряд ли стоит судить о том, какие отрывки о «равнодушии к смерти» еще бы отметил Пушкин, если бы довел свои выписки до конца. Однако мимо одного пройти не можем: известно, сколь частой, почти навязчивой темой в стихах, рисунках поэта была казнь, виселица — пять казненных декабристов, записи: «...И я бы мог...»; «что во чистом поле, на зеленом дубе, на зеленом дубе, да в собачьей шубе...»

И вот потрясающая запись Крашенинникова о казни, произведенной над повстанцами-камчадалами:

«Бесстрашие, с каким тамошний народ к смерти ходит, можно всякому рассудить по одному сему примеру, что при помянутой казни один смеючись жаловался на свое несчастье, что ему на виселице последнему быть надлежало» (498).

«Равнодушие к жизни»,— записывает Пушкин за несколько дней до того, как пошлет последний смертный вызов.

Впрочем, не эти мысли, предчувствия заставляют заниматься камчатскими делами. Точнее — не только эти...

УЧЕНЫЙ

В 1963 году экскаватор, работавший на ленинградской улице, извлек могильный камень с надписью: «Академии наук профессор Крашенинников»¹.

¹ См.: Грач А. Д. Открытие памятника С. П. Крашенинникова в Ленинграде.— «Советская этнография», 1966, № 4, с. 108—116.

Давно затерянное кладбище, забытая два века назад могила солдатского сына, родившегося в один год с Ломоносовым и одолевшего как тяжелейшую академическую премудрость, так и казенномокоптный голод...

Академии студент, занимающийся «метеорологической обсерваторией», сочиняющий «описание путей», распоряжающийся — для наблюдений «достать бобра, кота и сивуча по мужичку и по жоночке», добыть образцы колчедана, описать первый Курильский остров, купить на острове «японских писем и денег», собрать на мысу Лопатке и на Курильских островах «всякие роды камней и земли, также и травы», привезти «двух курильских мужиков»; 24-летний ученый, составляющий латино-ламуто-камчатско-коряцкий словарь (*Vocabularium latino — lamuthico — camtschatszico соггиясиг*), пишущий исторический труд «О завоевании Камчатской земли...».

Академии студент Степан Крашенинников, записавший на полуострове даже песню о самом себе: «студенталь теллерик битель читис киллизик...» и т. п.

Ежели бы я был студент, то описал бы всех девок.
Ежели бы я был студент, то описал бы быка-рыбу...
то бы описал всех морских чаек...
то бы поснимал все орлиные гнезда...
то бы описал горячие ключи...
то бы описал все горы...
всех птиц... все морские рыбы... (431)

Академии студент, успевший сделаться потом Академии наук профессором, но не сумевший ни долго прожить, ни обеспечить семью,— так что один из героев комедии Сумарокова воскликнул:

«Бесчестной-ат, по вашему, приехал, так ему стул, да еще в хорошенъком доме: все ли в добром здоровъи? какова твоя хозяюшка? детки? что так запал? ни к нам не жалуешь, ни к себѣ не зовешь? А все ведают то, что он чужим и неправедным разжился. А честнова-то человека детки привели милостиши просить, которых отец ездил до Китайчетова царства и был в Камчатном государстве, и об этом государстве написал повесть; однако сказку-то его читают, а детки-то его ходят по миру; а у дочек-то его крашенинны бастроки, да и те в заплатах,— даром то, что отец их был в Камчатном государстве; и для того-то что они в крашенинном толкаются платьи, называют их крашенинными»¹.

¹ См.: Тихонравов И. С. Соч., т. III, ч. 2. М., 1898, с. 313.

Личность автора — это была, без сомнения, одна из причин, побудивших Пушкина напомнить читателям о том старом труде: он очень любит, а с годами все больше ценит старых российских профессоров — историков, географов, астрономов, *странников*¹. В чем тут дело — поэт просто гордится успехами отечественной науки? Конечно, но это ведь и часть его собственной веры...

Что может переменить, осчастливить Россию? Пушкин, внимательно и пристально изучающий как свой, так и прошлый век, видит глубокие причины, ведущие к историческим взрывам — народным восстаниям, бунтам, мятежам, революциям. Видит, но мечтает в это же время о путях «благого просвещенья». Часто сам себе не верит — улыбается, но мечтает...

Когда благому просвещенью
Отдинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот)...

«Правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто на это не обратил бы ни малейшего внимания» (XVI, 422).

Это записано примерно в то же время, когда начинались камчатские конспекты.

Сам Пушкин, его друзья, мыслители, естествоиспытатели, смелые путешественники — их мало, но на них, благих просветителей, вся надежда.

Степан Крашенинников, без сомнения, один из таких, и как не напомнить через столетие о подобном человеке и деле?

* * *

И все же статья не о Крашенинникове — о Камчатке. Сохранилось черновое начало, по которому можно догадаться о всем замысле:

«Завоевание Сибири постепенно совершилось². Уже все от Лены до Анадыря реки, впадающие в Ледовитое море, были открыты казаками, и дикие племена, живущие на их берс-

¹ См.: Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени.— В кн.: Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972.

² Пушкин сначала написал «в течение целого столетия», но сократил, что и в XVIII веке Камчатка не была еще завоевана окончательно.

так или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми¹ сподвижниками Ермака. Вывались смельчаки, сквозь неимоверные препятствия и опасности устремлявшиеся посреди враждебных диких племен, приводили <их> под высокую царскую руку, налагали на них ясак и бесстрашно селились между ими в своих жалких острожках» (сперва было «в укрепленных острожках», но поэт понял, каковы укрепления!) (Х, 367).

Чисто пушкинское столкновение разных понятий — в одной фразе эпитеты *неимоверный, высокий, бесстрашный, жалкий* — и все относящиеся к одним и тем же — казакам, открывателям, землепроходцам: вот о ком и о чем главным образом должен идти рассказ.

«ОТ 1694 ДО 1740 ГОДА»

§ 1. Сибирь была уже населена от Лены к востоку до Анадырска, по рекам, впадающим в Ледовитое море.

Приказчики имели поручение проводовать о новых народах и землях, и приводить их в подданство (Х, 350).

Слово «приказчик» Пушкиным выделено: здесь его первоначальный, полузабытый смысл («приказчик» — не по торговой части, но тот, кто приказывает).

§ 86. Якутского полку майор Мерлин прибыл вскоре на Камчатку. Он и Павлуцкий жили там до 1739-го года. Они построили Нижний Камчатский острог ниже устья Ратуги. Им поручено следствие. Иван Новогородов, Андрей Штинников и Сапожников повешены, также и человек шесть камчадалов. Прочие казаки высечены кнутом, кто пletьми. Камчадальцы, бывшие у них в крепостной неволе, отпущены на волю и впредь запрещено их кабалить.

§ 87. До царствования имп. Елизаветы Петровны не было и ста человек крещеных (Х, 366).

Первый и последние фрагменты. Между этими двумя текстами поместилось (еще в 85 параграфах) необыкновенное полустолетие камчатской истории.

В книге Крашенинникова события изложены в нескольких главах IV части под общим названием «О покорении Камчатки, о бывших в разные времена бунтах и изменениях и о нынешнем состоянии российских острогов» (473—500)²; Пуш-

¹ Сначала было «достойными».

² См. также: Окуни С. Б. Очерки по истории колониальной политики царизма в Камчатском крае. Л., 1935; Старкова Н. К. Ительмены. М., 1976.

кин для удобства разбил текст на мелкие главки, подобно тому как это делали Плутарх, Тацит и другие древние авторы.

Если описание камчатских гор, растений, языков поэт, комментируя, сжимал в 10—20 раз, то рассказ Крашенинникова «О покорении...» — всего вдвое больше пушкинских заметок; сразу видно, что именно история 1694—1740 годов особенно притягивает читателя в 1837-м: все прочее — как бы предисловие, введение, черновики, оставшиеся в двух толстых пушкинских тетрадях; сочинение же «Камчатские дела» сохранилось на отдельных листах, и П. В. Анненков, обладавший особым литературоведческим чутьем, сразу догадался, что здесь — сердцевина замысла¹. Более того — выписки из других, *неисторических* глав книги Крашенинникова во многом объясняются их связью с главным разделом.

Основные действующие силы исторической драмы 1694—1740 годов — коренные обитатели Камчатки и русские казаки.

Ительмены (камчадалы), коряки и некоторые другие племена — это древнее, первобытное равенство. Оно уже разрушается, но если бы воздействие внешнего мира, то продолжалось бы, вероятно, еще не одно тысячелетие... Эра бесписьменная, «дикая», приблизительно соответствует тому, что было в Европе за 7000 лет до новой эры.

«До покорения российскому владению,— пишет Крашенинников,— дикой оной народ жил в совершенной вольности; не имел никаких над собою начальников, не подвержен был ни каким законам, и дани никому не плачивал. Старые и удалые люди имели в каждом ост рожке преимущество, которое однако же только в том состояло, что их советы предпочитались; впрочем было между ими равенство, никто никем повелевать не мог, и никто сам собою не смел другого наказывать» (366).

Пушкин эти строки оставил без внимания. Прошли те времена, когда рассказы о тихоокеанских аборигенах, привезенные экспедициями Бугенвиля и Кука, сильно влияли на европе-

¹ Именно с этих листов Анненков, как уже говорилось, опубликовал «Камчатскую историю» в 7-м томе своего пушкинского издания (1857), автограф же вернул в семью Пушкина. В советское время «Камчатские дела» поступили в Пушкинский Дом (в 1924 г. от П. Е. Щеголева, которому впук Пушкина Григорий Александрович передал рукопись летом 1918 года); тогда-то были собраны в одном месте почти все «камчатские листы» (запачавшиеся сегодня в Отделе рукописей Пушкинского Дома под № 413). «Почти все» — потому что некоторые отделились от основного собрания и еще ждут своего разыскателя.

пейское просвещение и вызывали тоску по первобытному, естественному состоянию, будто бы нарушенному первым пролитием крови и возгласом «это мое!».

«Их жестокость, — запишет Пушкин, — коварство» (Х, 348). Крашенинников подробно описывает безжалостное убийство плених во время камчатских племенных усобиц; впрочем, сегодня историк увидел бы здесь признак того первобытного периода, когда люди еще не дозрели до порабощения захваченных врагов — их нечем и незачем кормить, и, стало быть, жестокие убийства соответствуют «уровню производительных сил»...

В задуманной работе Пушкин, по всей видимости, собирался сохранить примеры боевой хитрости и коварства камчадалов, записав: «приметы к возмущению» (Х, 348).

«Хитрости их,— замечает Крашенинников,—которые казакам прежде бедственны были, ныне служат к предосторожности. Ибо они чрезмерно ласковых приемов опасаются и почитают их за знак несомненной измены. То же разумеют, когда камчадалки ночью из юрты вои выбираются, ибо они не могут смотреть на кровопролитие, чего ради и мужья их никогда при них убийства не делают» (403).

Вообще просвещенный ученый XVIII века «академии студент», затем — профессор, довольно объективен и чужд самодовольного колонизаторского превосходства... Лишь два «мотива» берут иногда верх над научной объективностью и вызывают определенную неприязнь ученого: это — камчатская вера и камчатские бунты.

Пушкин, однако, и здесь почти всегда восстанавливает равновесие, демонстрируя образцы подлинного историзма.

Крашенинников: «О боже, пороках и добродетелях имеют развращенное понятие [в рукописи ученого зачеркнуто: не-]куются токмо о плотиугождении, как животное бессловесное]. За вящшее благополучие почитают объядение, праздность и плотское совокупление; похоть возбуждают пением, пляскою и рассказыванием любовных басен по своему обыкновению. <...> Все почти места в свете, небо, воздух, воды, землю, горы и леса населили они различными духами, которых опасаются и больше бога почитают. Жертвы дают при всяком случае, а иных и болваны при себе носят, или имеют в своих жилищах. А бога напротив того не токмо не боятся, но и злословят при трудных и несчастливых случаях» (368—369).

Пушкин все это излагает в одной строке: «О боже и душе, хотя и имеют понятие, но не духовное» (Х, 347).

Внимательно следует один из лучших читателей XIX сто-

летия за мыслью предшественника, ожидая встретить ответ на свои важные вопросы:

«Steller о междуусобии камчадалов,— фиксирует поэт и затем:— (NB. Первобытное состояние.)

Ша пда л.

Смотри о острожках камчатских» (X, 348).

Если открыть соответствующие страницы IV книги Крашенинникова, поймем значение пушкинского нотабене. «Тогдашние их междуусобия немало способствовали казакам к покорению всего народа; ибо, когда они в виду одного острожка приступали к другому, то не должно было казакам опасаться, чтоб осажденные получили помочь; напротив того, соседи радовались их погибели, или смотрели с удовольствием, как казаки на приступах действуют, а после и сами были побеждаемы» (402).

Профессор Стеллер, сменивший на Камчатке Крашенинникова, высказал мнение, будто борьба шла «из-за ненависти и роскоши», но при том Стеллер заинтересовался наиболее сильными племенными вождями; он назвал имя одного из объединителей большого числа общин — «умного и храброго мужа Ша пда ла», борясь с которым другие племена будто бы последовали его примеру и разделились «на многие равносильные стороны» (405).

Пушкину интересно: такие полуфантastические имена встречаются в преданиях всех народов — вожди, еще не ставшие самодержавными царями, но оставившие память о своей славе: Агамемнон, Кий, Рюрик, Ромул, герои скандинавских саг; сам Пушкин в молодости отдал дань легендарным новгородцам Вадиму, Гостомыслу...

Но, разумеется, сейчас поэтом руководит не только интерес к полуреальным героям: важен вопрос о законах истории, о формуле развития и исчезновения первобытных вольностей. Поэтому нотабене отпосится к резонным возражениям Крашенинникова против Стеллера: «Кто может подумать, чтоб и в самых диких народах не было властолюбия, или по крайней мере тщания в преимуществе, когда оное и в бессловесных животных примечается, однако предпринимать учреждение самодержавного владения и налагать дани, кажется потребно большее рассуждение, нежели каковое камчадалы имеют».

Автор «Описания земли Камчатки» полагал, что Шапдалу или любому другому вождю, чтобы стать самодержцем, «надлежало прежде власть свою утвердить над своим родом, и иметь в совершенном послушании, которого однако же с

самого начала покорения Камчатки нигде ни следу не примечено, по напротив того везде совершенное равенство...».

Само имя Шандал ученому «весьма сумнительно», так как его вообще нет между камчатскими именами, и выдвигается правдоподобная гипотеза, что «под сим именем должно разуметь всех шантальских жителей, которые живут около урочища Шанталы. <...> Ибо сие правда, что оные шантальцы были прежде сего и славны и многолюдны, так что один острог их более двух верст в длину простирался, и балаганы толь тесно построены были, что по балаганам хаживали они чрез все помянутое расстояние, да и ныне оной острожек почти всех камчатских острожков многочисленнее народом» (406).

Умонастроение Пушкина ближе к научному скептицизму Крашенинникова.

Шандала, вероятно, и не было; но сильный, большой острожек, может быть,— ключ к объяснению важной легенды, а в самой легенде не сказалось ли зарождающееся стремление этих разрозненных племен к единению?

Поэт-мыслитель, никогда не перестававший «восславлять свободу», с детских лет испытал поэзией и рассуждением немало ее образцов: свобода по-новгородски, по-британски, по-якобински, по-декабристски, по-цыгански, по-казаки, по-камчатски... Еще в 1824 году он написал:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны.
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Каждая свобода имела свои достоинства и слабости и поэтому заслуживала рассмотрения — без фантазии или снисхождения; рассмотрения исторического, работы внутренне свободного и поэтому максимально объективного наблюдателя...

Но вот — второй камчатский состав: *русские пришельцы, казаки*. По Крашенинникову, «казачье житье не разнствует почти от камчадальского, ибо как те, так и другие питаются корением и рыбью, и в тех же трудах упражняются: летом промышляют рыбу и запасают в зиму, осенью копают коренье, дерут крапиву, а зимой вяжут из оной сети. Вся разница состоит в том: 1) что казаки живут в избах, а камчада-

лы по большей части в земляных юртах; 2) что казаки едят больше вареную нежели сухую, а камчадалы больше сухую; 3) что казаки из рыбы делают различные кушанья, как, например, тельные, блины, оладьи и прочее, чего камчадалы до российских людей не знали» (505).

Но при всем внешнем сходстве (можно добавить к нему и казачью свободу, иногда близко совпадающую с камчатскими обычаями), при всем том между двумя вольницами — тысячетелетия истории.

Казаки — свободная окраина подневольной империи. Что в них — осколок невозвратимого прошлого или исторический памек на будущее, который нужно только как следует понять?

Мы часто находим наброски, отрывки или завершенные сочинения поэта о той части его народа, которая и в самые рабские времена была вольна, хотя вольность эта легко сошрягалась с жестокостью и кровью: работа о черноморских и донских казаках, в существовании которой мы не сомневаемся, но которая к нам не дошла (см. XIII, 18); стихи и рассуждения о «Сеньке Развине — единственном поэтическом лице русской истории»; Пугачев, которым Пушкин продолжает запоминаться до последнего дня своей жизни... Друзья знали о замыслах насчет Ермака (дело было еще в 1820-х годах). Е. А. Баратынский радовался (январь 1826 г.); «Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтический, достойный тебя. Говорят, что, когда это известие дошло до Пarnаса, и Камоэнс вытаращил глаза. Благослови тебя бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг» (XIII, 254).

Великий поэт Камоэнс воспевал в XVI веке португальских путешественников. Фантастические странствия российских землепроходцев должны были зажечь российского Камоэнса. Мы же только догадываемся, что и молодого Пушкина не устраивал тот «идеализированный Ермак», которого воспевал Рылеев («Ревела буря, гром гремел...»). Вспомним, кстати, «Воображаемый разговор с Александром I»: «...тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и соспал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или «Кочум», разными размерами с рифмами».

В 1830 году о трагедии Хомякова будет вскользь сделано замечание, подразумевающее, что — не так, но исторически, шекспировски нужно писать о реальных исторических фигурах прошлого. «Идеализированный Ермак,— пишет Пушкин,— лирическое произведение пылкого, юношеского вдох-

новения, не есть произведение драматическое. В нем все чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии» (XI, 180) ¹.

Камчатские конспекты — одна из глав того исследования, что великий поэт-ученый пишет всю жизнь: сначала, в молодости, с романтическим увлечением, а в последние годы жизни — углубляя и расширяя высокий историзм...

Исследование прошлого, настоящего, будущего своего народа, анализ образовавшейся за тысячу лет сложной смеси рабства и вольности — и попытка из прошлого вывести будущее: «Камчатские дела» открывали одну из многих соблазнительных возможностей.

Наблюдения поэта за тамошними казаками спокойны, строги, непредвзяты.

До начала рассказа о делах 1694—1740 годов он коснулся лишь двух казацких «сюжетов».

Первый — экономический, ясачный. Вся суровая камчатская проза извлечена наружу: «Казаку на Камчатке в 1740 году нужно было 40 рублей годового прихода»; и тут же подробности поэтико-экономические: «Лисица на Камчатке почиталась вместо рубля (денег не было)» (X, 348—349).

Ясак: кто собирает, как привозят, где записывается, хранится, сколько соболей, лисиц; как вслед за казаками приходят мелочники (образное слово выделяется)? Счета, корысть, доход — реальная подоплека самых романтических событий, объяснение главных черт казацкого быта, основа отношений с коренными жителями.

Пожалуй, ни в одной работе Пушкина мы не найдем такого внимания к «экономическим пружинам» истории.

Казаки на Камчатке — постоянный подвиг; смелая битва горстки людей с природой и историей... Две больших обстоятельных страницы из Крашениникова Пушкин передает так, что мы снова должны его запись перевести из скромного разряда «конспект» в высокое звание *прозы*:

«Казаки брали камчадальских жен и ребят в холопство и в наложницы — с иными и венчались. На всю Камчатку был един поп. Главные их забавы состояли в игре карточной и в зернь в ясачной избе на палатах. Проигрывали лисиц и соболей, наконец, холопей. Вино гнали из окислых ягод и слад-

¹ Незадолго до того, вспомнив о хомяковском Ермаке в одном из набросков, Пушкин заметил: «Я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы шекспировой...» (XI, 141).

кой травы; богатели они от находов на камчадалов и от ясачного сбору, который происходил следующим образом: камчадал сверх ясаку платил:

1 зверя сборщику

1 — подъячему

1 — толмачу

1 — на рядовых казаков» (Х, 348).

Российский человек в обстоятельствах необыкновенных — каков он? Без крепостного рабства, но и в особенной дали от просвещения; за тысячи верст от ближайших губернаторов, за десять тысяч от царя, посреди первобытной природы и уклада жизни давностью в тысячелетия...

Об этом — главная, историческая часть камчатских конспектов.

ФЕДОТ I

«Первый из русских, посетивших Камчатку, был Федот Алексеев; по его имени Никул-река называется Федотовциною <...> Служивый Семен Дежнев в отписке своей подтверждает сие с некоторыми изменениями: он показывает, что Федот, будучи разнесен с ним погодою, выброшен на берег в передний конец за реку Агадырь. В той отписке сказано, что в 7162 (1654) году ходил он возле моря в поход и отбил у коряк якутку, бывшую любовницу Федота, которая сказывала, что Федот с одним служивым умер от цынги, что товарищи его побиты, а другие спаслися в лодки и уплыли неведомо куда. Развалины зимовья на реке Никуле видны еще были в 1730 году» (Х, 350).

Далекая старина в далеком краю.

Сквозь страницы Карамзина Пушкин некогда установил «прямую связь» с более древними летописцами и настолько ими увлекся, что создал Пимена.

«Развалины зимовья» 1650-х годов, которые были видны в 1730-м (за 7 лет до прибытия Крашенинникова на Камчатку), — это для Пушкина позапрошлое время...

Мелькнуло имя Дежнева — одного из подчиненных Федота Алексеевича (Попова)... Писатель Игорь Забелин несколько лет назад справедливо сетовал, что прославление одного из удачливых участников того похода несправедливо вытеснило другого, не менее важного¹. Пушкин, как видим, замечает, выделяет Федота I. Однако это столь же туманное

¹ См.: Забелин И. М. Встречи, которых не было. М., 1958.

прошлое Камчатки, как летописные походы древнекиевских князей.

И еще 50 лет пройдет, пока не появится первый «камчатский Владимир».

ВЛАДИМИР АТЛАСОВ

«В 7203 (1695) Владимир Атласов прислан был от якутского приказчика (из Якутска) в Анадырский острог сбирать ясак <...> с коряк и юкагирей» (Х, 351).

Отсюда начинался рассказ о казачьем пятидесятнике Владимире Атласове, «камчатском Ермаке», делам которого посвящено 36 (из 87) пушкинских параграфов.

Не стремясь представить разные современные взгляды на этого человека, постараемся понять пушкинский взгляд.

«Говорят...», «по словам предания...» — повторяет Пушкин за Крашенинниковым: Атласов пришел всего сорока годами раньше его приезда, еще жили очевидцы, налицо были выразительные свидетельства.

«Канучь или Крестовая (смотри любопытную надпись)», — записывает и подчеркивает поэт (Х, 344).

Исполним его пожелание, посмотрим:

«В верстах 24,5 от объявленного урочища течет в Камчатку с левой стороны речка Канучь, которая от российских жителей называется Крестовою, потому что близ устья ее находится крест, которой при первом российском походе на Камчатку поставлен со следующей надписью: 7205 (1697) году, июля 13 дня, поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов с товарищами» (108).

С летописью невозмутимостью переписывает Пушкин ярчайшую, обычно-необыкновенную биографию российского землепроходца; верноподданного, служившего своему государю Петру I на расстоянии самом большом по сравнению со всеми другими... *Камчатские дела*, конечно, имеют отношение к делам петровским, а своей далекостью, непохожестью на проблемы московские, петербургские, полтавские как раз вдруг и могут высветить некоторые затененные, малозаметные грани той эпохи.

Итак, Атласов собирает ясак с коряков и посыпает своего помощника Луку Морозку с 16 казаками к югу. Морозка взял камчатский острожек «и в Погроме получил неведомо какие письма, которые и представил Атласову» (Х, 351).

Рассказ о письмах сохранен преданием; «неведомо какие», потому что Морозка и 16 его товарищей неграмотны;

но и в самом деле — что за письма в бесписьменном крае? от Федота I? из Японии?

«В Погроме» — Пушкин подчеркнул и написал с заглавной буквы, как и многие другие характерные словечки, обороты, обозначения, которые конечно же вошли бы в то будущее сочинение, для которого и велся конспект...

Узнав о Морозкиных делах, Атласов устремляется за новым ясаком в новые земли: неслыханные, нетронутые пушные богатства манят не слабее индийского золота и молуккских пряностей.

Двумя дорогами, вдоль восточного и западного берега полуострова, идут два небольших отряда (сам Атласов и Морозка). Иных аборигенов склоняют подчиниться ласкою (подчеркнуто Пушкиным; после будут так же выделяться и другие — увы, нечастые — мирные термины: «собрали ясак повольный», «жители были уговарены»...).

Тех, кто не принял ласку, «взяли с бою», но особого кровопролития не было.

Первый камчатский ясак взят, у жителей отнят плленный (первое знакомство российских людей с японским народом); в построенном Верхнем Камчатском остроге оставлен «правителем» казак Потап Серюков, Атласов же едет в центр докладывать; выступил он с Камчатки в конце 1698-го, в Якутск же прибыл 2 июля 1700-го (как раз когда начинается Северная война, и царь Петр едет к Нарве — но здесь о том еще не скоро узнают).

«Атласов за свою службу пожалован в Москве казачьим головою по городу Якутску, и велено ему снова ехать на Камчатку, набрав в казачью службу сто человек в Тобольске, в Енисейске и в Якутске из казацких детей. Сверх того снабжен он в Москве и Тобольске малыми пушками, пищалями, свинцом и порохом. В Тобольске дано ему полковое знамя, барабанщик и сиповщик» (Х, 352).

Камчатские вольности, однако, плохо вписывались в российские бюрократические порядки. Чем дальше на восток, тем свободнее (или беззаконнее?). В 1701-м торжествующий Атласов плыл со своей братией из Тобольска «по реке Тунгуске». И не выдержал — «разбил дощаник с китайскими товарами гостя Логина Добрынина» (Х, 352), то есть пограбил уже не камчатского «инородца», но встречного российского купца. Купец подает жалобу, которая пастигает Атласова в Якутске,— и он с десятью товарищами попадает в тюрьму... Карьера, казалось бы, окончена: вместо Атласова

отправляют на край земли казака Михаила Зиновьева (одного из участников похода 1695—1697 годов).

Шесть лет томится Атласов в тюрьме; Петр воюет со шведами, закладывает Петербург, сколачивает новую армию, флот, государственность.

Меж тем на Камчатке, которую еще толком не нанесли на российские карты, разыгрываются события...

Потап Серюков, приказчик Атласова, ждет не дождется своего командира, но, для собственной безопасности, ясака не собирает и мирно торгует с жителями. Зиновьеву сдает пачальство, возвращается в Ападырск, «но коряки их не допустили и умертвили всех». Зиновьев же взялся за дело всерьез, переписал камчадалов и, «учредя во всем некоторый порядок, возвратился в Якутск с ясаком» (Х, 352—353).

Тут же появляется очередной приказчик Василий Колесов (один из лихих викингов этого периода), начинает объясачивать курильцев, но никак не дождется смены (полагалось раз в год посыпать нового приказчика, чтоб прежний вернулся с годовым ясаком в Якутск). А дело было в том, что посланный в 1704-м на Камчатку «сын боярский Василий Протопопов да казак Василий Шелковников» с 10 служивыми по дороге через Чукотку в засаде перебиты,— но Колесов после того хитростью, ловкостью, чудом проскочил мимо всех засад в Якутск, сдал ясак и обо всем доложил.

Обстановка на полуострове все горячей. Новые заказчики (не приказчики, понице!) — Федор Анкудимов, Федор и Дмитрий Ярыгины, видно, хотели превзойти удачливых предшественников, камчадалы же в ответ взбунтовались, один казачий острог уничтожили, и об ясаке остались одни мечтания: «казаки были в малолюдстве и принуждены были быть осторожны» (Х, 354).

Однако тут открылось любопытнейшее обстоятельство: блокада, которой окружены завоеватели, имеет для них и выгодную сторону — освобождает от страха перед Якутском и Москвой. Какие отчеты, какая «мягкая рухлядь», пушнина, когда всякая весть до Якутска и обратно доходит года за три (а до столицы — за 4—5)? Если же потребуют к ответу, то еще пройдет ли гонец сквозь чукотскую, олюторскую, коряцкую, ительменскую земли? А если пройдет, сами казаки легко могут избавиться от пришельца, свалив вину, скажем, на коренных уроженцев...

Причиной возмущения Камчатки, полагает Крашенинников (и списывает Пушкин), — «притеснения от казаков,

мысль, что русские люди беглые¹, коих легко перевести, и надежда на коряков и олюторов в непропуске русских из Анадырска; ибо смерть Протопопова и Шелковникова до них дошла» (Х, 354).

В самом деле, как отличить законную власть далекого «белого царя» от самоуправства его подданных? Где граница закона и беззакония? Понятно ли вольным камчатским племенам, что такое — «слушаться властей»?

К тому же в далеком Якутске и сверхдалней Москве ждут только ясака, и, если будет собран, — тогда кому нужда наказывать удачливых? Дальняя республика, камчатская сечь...

Тут наступает час Владимира Атласова (кажется, будто Пушкин «сочиняет» напряженное, драматическое действие, которое случилось *на самом деле*):

«Печальные сии известия заставили правительство вспомнить об Атласове; он был освобожден и отправлен на Камчатку; ему возвратили преимущества, данные ему в Москве от Сибирского приказа в 1701 году. Ему дана полная власть над казаками (кнут и батожье). Велено прежние вины заслуживать, обид никому не чинить и противу *иноzemцев* строгости не употреблять, коли можно обойтись ласкою. За преступление наказов объявлена ему смертная казнь.

У Атласова было 2 пушки» (Х, 354).

Слово «иноzemец» Пушкин выделил: это, конечно, иронический комментарий к термину, не раз употребленному Крашенинниковым; кто же иноземец — исконное население или (по понятиям верховной власти) те, кто противится иноземцам-казакам? Пушкинские симпатии здесь определить не просто. На чьей он стороне? Кажется, видит все стороны, способен восхититься и ужаснуться каждой (как он находил правду и у Моцарта, и у Сальieri; у Скупого рыцаря и его расточительного сына; у Кирджали и преследователей).

Известная правота каждого, но — не равная правота... Тут было стремление к высшей объективности, которая порой неопытному или одностороннему взору покажется равнодушием («все правы» — Петр и Евгений, героические камчадалы и герои-казаки). Стремление к высшей объективности, отвергающей быстрые оценки, стремящейся в столкновении двух правд выявить третью, может быть, высшую...

Меж тем Атласов на свободе и нетерпеливо устремляется

¹ Пушкин дает в скобках французское уточнение «isolés», т. е. действующие не от имени центральной власти, а сами по себе.

в свой край, свою Камчатку, открытую им десятью годами прежде.

«Но Атласов не доехал еще и до Анадырска, как уже все почти казаки послали на него челобитные, выведенные из терпения его самовластием и жестокостию. Однако ж он благополучно прибыл на Камчатку в июле 1707 году и от казаков вместе с ясачной казною принял и начальство над острогами» (Х, 354).

«Самовластие и жестокость», конечно, пушкинские слова, Крашенинников более конкретен: «безвинными побоями и другими предосудительными поступками Атласов привел служивых в огорчение» (478).

Самовластие... Владимир Атласов идет именем Москвы и Якутска на забывшую страх Камчатку — но там ведь «республика» и к самовластью непривычны. Пушкин пропускает немало жутких, колоритных подробностей, которых не миновал бы для романа или повести, — но почти ни разу не обойдены данные о размерах ясака: художественно-исторические детали, нужные, очевидно, для некоего задуманного плана...

Бунтующие камчадалы рассеяны, взят ясак, взяты аманаты (заложники) — казна может быть довольна. Однако...

«Избалованные потворством своих начальников, казаки не могли вынести сурогого управления Атласова. В декабре 1707 года они взбунтовались, отрешили его от начальства, а в оправдание свое написали в Якутск длинные жалобы на обиды и преступления, учиненные Атласовым» (Х, 355)¹.

На место свергнутого выбран опытный Семен Ломаев. «Атласов, — записывает Пушкин, — посажен в казенку (в тюрьму), и пожитки его взяты ими в казну (сколько? — см. 203)» (Х, 355).

Не пропустив заметного и неслучайного сродства двух столь разных как будто ведомств — «казна» — «казенка», — Пушкин, по обыкновению, отмечает и размеры изъятых у Атласова ценностей, как доказательство его лихоимства. (На указанной странице Крашенинникова: «А пожитки его в казну обрали, которые, кроме множества мехов собольих и лись-

¹ Пушкин, точно называя страницы книги, отсылает читателя к тексту жалобы и любопытному комментарию Крашенинникова: «Атласов мог не давать им съестных припасов казенных, мог аманатов из корысти выпустить, мог с палашом метаться пьяной, и корыстоваться ясачною казною, как человек лакомой, которое лакомство видимо будет из обраних его пожитков, в краткое время приобретенных. Но кто тому поверит, чтоб он желал возбудить иноземцев к бунту, ведая, что по убийстве казаков и самому от смерти не избавиться» (480).

их, состояли в 30 сороках, в 34 соболях, в 400 лисицах красных, в 14 сиводущатых, в 75 бобрах морских» (480).

Если б поэт еще знал, что строгие академические редакторы заставили Крашенинникова вычеркнуть чрезвычайно выразительный список вещей, которые Атласов накопил якобы за полгода управления Камчаткой! Этот список открылся только в 1938 году — через 201 год после прибытия Крашенинникова на Камчатку и через 101 год после Пушкина, — когда Г. А. Князев и Л. Б. Модзалевский обнаружили в Пулковской обсерватории считавшиеся безвозвратно утерянными рукописи Крашенинникова¹.

Мы приводим тот список в полной уверенности, что Пушкин засмеялся бы, законспектировал...

«Сверх оной мягкой рухляди взято у него шуба соболья пластина под чешуйчатым лазоревым байбереком, пушена хвосты соболи, две шубы соболи пластины под лимонною камкою, пушены морским бобром, три шапки женские пластинные соболи под красною камкою, пушены бобром, в том числе одна с золотым кружевом, одеяло пластинное соболье под атласом, пушено бобром, 3 меха пластинные соболи, полы шубные собольих хвостов, два меха соболи черевчи, парка соболья, оплечье и кличье бобровое, куклянка соболья, парка соболья детская, две постели бобровые, шуба бобровая, пушена бобром, санаяк бобровой с оплечьем лисиц сиводущатых, санаяк выдряной с таким же оплечьем, пушен бобром, шапка женская бобровая, два меха бобровые, санаяк бобровой, детской, с оплечьем собольим, мех хребтовой сиводущатых лисиц, мех хребтовой красных лисиц, пушен бобром, мех хребтовой красных же лисиц, мех черевей сиводущатых лисиц, мех черевей красных лисиц и куклянка красных лисиц» (480—481).

Вот за что дрались до последнего. Вот пружина событий. Столь подробно составленная опись, конечно, свидетельствует и о том, что казаки побаивались собственного самовольства, ждали когда-нибудь расправы — по надеялись на благую судьбу, и, как выяснилось, не без оснований...

Атласов вскоре бежит из тюрьмы и укрывается в Нижнем Камчатском остроге. Меж тем первые казачьи жалобы на Атласова, посланные еще по дороге на Камчатку, совершают круговорот Якутск — Москва — Якутск, и из Москвы уж является «сын боярский Петр Чириков» с людьми и пушками — новый начальник вместо Атласова.

¹ Их изучили Л. Б. Модзалевский, А. И. Андреев, И. И. Степанов.

С превеликим трудом, отбиваясь от олюторов и коряков, теряя людей, казну, военные запасы (как раз в то самое время, когда за 10 000 верст завершается Полтавское дело), Петр Чириков приходит на Камчатку. У хлебнувших воли и власти казаков это, понятно, не вызывает никаких восторгов.

Чириков же не собирался задерживаться на краю света — только забрать «залежавшийся» трехлетний ясак, и поэтому ему вслед Якутск вскоре отправляет на смену очередного камчатского начальника Петра Миронова; отправляет *по выбору* (Пушкин подчеркнул слово из вольного казачьего обихода).

Вот так и получилось, что в 1710 году среди враждебных, готовых к защите своей воли камчадалов, у враждебных, готовых отстоять свои права казаков оказалось сразу три приказчика: Атласов, законно не отрешенный, Чириков и Миронов.

Мысль — избавиться от всех сразу — явилась как бы сама собою...

Пушкин: «Исправя свое дело, Миронов обратно ехал в Верхний острог вместе с Чириковым. 23 января 1711-го году на дороге был он зарезан от казаков. Злодеи думали убить и Чирикова, но по просьбе его дали ему время покаяться, а сами в числе 31 человека поехали обратно в Нижний Камчатский острог, дабы убить Атласова. Не доехав за полверсты, отправили они трех казаков к нему с письмом, предписав им убить его, когда станет он его читать. Но они застали его спящим и зарезали. Так погиб камчатский Ермак!» (Х, 357).

Последняя фраза, конечно, пушкинская: у автора «Описания земли Камчатки» ничего подобного нет.

Неслыханные, геройские усилия позволили европейцам достичнуть столь дальних и трудных краев; уточним: только мечта о свободе, бегство от московских властей и крепостного хомута могли вызвать подобный прилив страннической энергии, поисков свободной земли. Крестьянские ватаги, убегающие на восток, и власть, сквозь пальцы глядящая на прошлое этих людей, но догоняющая их в тот момент, когда казакам нужен провинт, порох, подмога... Древняя народная мечта о свободном — без воевод и помещиков — крае, о *Беловодье* причудливо вплетается в практические планы российских властей¹. Этот бег на восток, если считать от Ермака (1581), за столетие с небольшим утверждает российские пре-

¹ См.: Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967.

делы. Сама двойственность той исторической ситуации, смещение свободы и самовластия, рождает достаточно парадоксальные сплетения, которые несомненно притягивают Александра Сергеевича.

В начале 1711-го — в то время, когда завершается Прутский поход и начинается новый тур Северной войны, Камчатка — что она? Конечно, не отделилась, по власти, можно сказать, уничтожены.

Разин, Булавин, позже Пугачев начинали в сравнительно свободных, беспомещичьих краях — и только уж затем пламя бунта зажигало крепостную Россию. С Камчатки искрами чересчур далеко лететь, хотя все признаки «бунтарской» выборности и свободы налицо.

Пушкин: «Бунтовщики вступили в острог и, разделясь на трое, стали на три двора, по десяти человек вместе. Главные из них были: Данило Анцыфоров да Иван Козыревский. Бунтовщики расхитили пожитки убитых приказчиков, завели круги, стали выносить знамя, умножились до 75 человек, выбрали атаманом Анцыфорова, Козыревского — есаулом; с Тигиля привезли пожитки Атласова, им отправленные туда, дабы везти их Пенжинским морем, расхитили съестные припасы, парусы и снасти, заготовленные для морского пути от Миронова, и уехали в Верхний острог, и Чирикова бросили скованного в пролуб¹ марта 20-го 1711 года» (X, 357).

ВОЛЯ

С 1711-го по 1713-й существует камчатская казачья вольница, у которой в запасе несколько лет (пока там узнают!). Впрочем, кое-какие меры Анцыфоров принимает.

«17 апреля 1711 году подали они в Верхнем остроге для отсылки во Якутск повинную челобитню, в которой об Атласове умолчено, а Чириков и Миронов обвинены обыкновенным образом <...> Бунтовщики извинялись дальним расстоянием, и что-де приказчики не допустили бы челобитчиков до Якутска. Опись взятого добра на артель представили тут же с большою невинностию» (X, 357).

Пушкинское «обыкновенным образом» означает, что убитые приказчики обвинены (как прежде бывало) 1) в краже государственной казны; 2) в утеснении казаков; 3) в утеснении ясачных людей.

¹ Т. е. прорубь.

Больше ничего нельзя было и вообразить: иных государственных грехов на Камчатке в ту пору не существовало...

Обыкновенным образом, как и «с большою невинностию», — это и обыкновенная пушкинская историческая, ироническая невозмутимость (Крашенинников же постоянно оценивает бунтовщиков словами вроде «многие наглости», «дерзновенно учинили» и т. п.).

Обыкновенным образом... Так делалась история, таковы были в ту пору ее средства. Всякая оценка — осуждение или хвала — посит характер завершающий, оканчивающий, ограничивающий суждение и рассмотрение (по крайней мере, на какое-то время). Печальная ирония Пушкина намекает, что еще нужно понять, исторически суммировать высокое и низкое, геройское и зверское в камчатских, да и вообще в российских дела. Тональность пушкинского конспекта не утверждающая — вопросительная.

Куда ты скакешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

В свое время Герцем было замечено, что петровское самодержавие давало огромную свободу по крайней мере одному лицу: царскому. Соответствующий принцип, как полагается, переходил (в уменьшенном и уродливом виде) на каждого губернатора, воеводу, приказчика, весьма свободного в своей сфере. Впрочем, чем лицо самовластнее, тем легче формула его «замены». Абсолютная воля правителя (и огромная воля управителей) отодвигает, скимает вопрос о *праве* на такое самовластие. Поэтому переворот, замена фигуры воспринимается куда проще, чем это было бы при системе с устоявшейся традицией, законностью: там понадобились бы куда большие моральные санкции... Недаром столь легки стали российские перевороты в XVIII веке по сравнению с XVII, XVI, — легки, оттого что власть усилилась...

В причудливых «допушкинских» делах угадывалась правота пушкинской оды «Вольность»: «Самовластительный злодей» рискует не столько им вызываемой пенавистью, сколько самим «опорным принципом»; свержение его — это ведь акция в его духе... Камчатские бунтовщики, интуитивно ощущая, что действуют «в духе властей», и располагая передышкой, решают «заслужить свои вины обыкновенным образом» и между прочим *узаконивают* свои действия благословением важного духовного лица (оказывается, с давних пор при них находящегося).

Пушкин: «23-го <мая> казаки, отслужка молебен (с пими

был архимандрит Мартиян, от Филофея, митрополита тобольского и сибирского, в 1705 году отправленный в Камчатку для проповедания слова божия), выслали половину своих людей на вылазку. Сражение продолжалось до вечера. Казаки одолели, потеряв три человека убитыми. Дикарей убито и потоплено столько, что Большая река запрудилась их трупами. После сей победы все Большерецкие острожки покорились и стали ясак платить по-прежнему» (Х, 357—358).

«Со страху», в ожидании небыстрой расправы, бунтовщики расширяют российскую географию, завоевывают новую землицу, жители которой впервые обложены ясаком (и остров Анцыфорова сейчас легко найти на карте Курильской гряды).

Заслужить свои вины! Меж тем *драматургия* событий все напряженнее: очередной представитель центра приказчик Василий Щепеткой прибывает через год, как полагается, из Якутска, ничего не ведая об убиении трех прежних.

Атаман Дапило Анцыфоров, как выясняется позже, имел намерение продолжать в начатом духе, т. е. «умертвить Щепеткого, разбить оба острога, разграбить казну и бежать на острова, где и хотел поселиться со своими единомышленниками <...>, по отложил оное, быв в слишком малолюдстве» (Х, 359).

Речь шла уж о полном отделении, вольном казачьем царстве на островах (может быть, отсюда и распространился позже по Руси рассказ о совершенно свободном крестьянском рае за «Апоньскими островами»?). Однако решение, как видно, не созрело, и пока что устанавливается пейтралитет, равновесие империи и бунта: Анцыфоров откупается, сдает ясак, а Щепеткой хоть и все понимает, но не осмеливается арестовать атамана Данилу и посыпает за новыми государственными сборами.

Меж тем в спор двух российских стихий вмешиваются камчадалы.

Крашенинников: «В 1712 году в феврале месяце [Анцыфоров] и сам убит от авачинских изменников обманом, ибо как он в 25 человеках на Авачу поехал, а иноземцы о том сведали, то сделали они крепкой и пространной балаган с потайными дверьми для его принятия. С приезду приняли его честно, отвели в помянутой балаган, дарили щедрою рукою, довольноствовали, богатой ясак платить обещались без прекословия, и дали несколько человек в аманаты из людей лучших, но следующей ночи сожгли их в помянутом балагане купно со своими аманатами. Злобу, какову имели камчадалы на

служивых людей, можно видеть по речам помянутых аманатов их: ибо сказывают, что при зажжении балагана камчадалы кричали им, поднимая двери, чтобы они, как можно, вон выбросились, но аманаты ответствовали, что они скованы и приказывали жечь балаган не щадя себя, токмо бы служивые сгорели. Таким образом бунтовщикей атаман Анцыфоров с некоторыми смертоубийцами предупредил казнь свою, доказав смертию своею истину пословицы, которую бунтовщики обыкновенно употребляли: что на Камчатке можно прожить семь лет, что ни сделаешь, а семь де лет прожить, кому бог велит» (484).

У Пушкина как будто то же самое: «В феврале 1712 года Анцыфоров был убит от авачинских камчадалов. Узнав о его скором прибытии на Авачу, устроили они пространный балаган с тайными подъемными дверями. Они приняли его с честию, лаской и обещаниями; дали ему несколько аманатов из лучших своих людей и отвели ему балаган. На другую ночь они сожгли его. Перед зажжением балагана они приподняли двери и звали своих аманатов, дабы те скорее побросались вон. Несчастные отвечали, что они скованы и не могут тронуться, но приказывали своим товарищам жечь балаган и их не щадить, только бы сгорели казаки. Так погиб храбрый Анцыфоров, может быть, предупредя заслуженную казнь и оставя по себе громкую память и пословицу: «На Камчатке проживешь здорово семь лет, что ни сделаешь; а семь лет проживет, кому бог велит» (Х, 358).

У Пушкина нет слов «изменники», «злоба»: сказано — «несчастные». Было «бунтовщикей атаман» — стало «храбрый Анцыфоров», пословица, которую «бунтовщики употребляли», — у Пушкина «громкая память»; уверенность Крашениникова в неминуемой казни того атамана — и «может быть» у Пушкина, хорошо понимавшего, сколь причудливы судьбы и дела в том веке и том месте... Пушкинские строки о «храбром Анцыфорове» — близкая родня пугачевским разговорам в только что (осень 1836) завершенной «Капитанской дочке»: «А семь лет проживет, кому бог велит» — это ведь орел из пугачевской сказки: «лучше раз напиться живой кровью, а там, что бог даст!».

И «заслуженная казнь», и сочувствие храброму тоже напоминают пушкинский взгляд на Пугачева.

Наконец, «громкая память» Анцыфорова напоминает финал «Истории Пугачева»: «Народ живо еще помнит кровавую пору, которую — так выразительно — прозвал он пугачевщиною».

Но вот и прозаический итог камчатской смуты и сотен смертоубийств: ясак за 5 лет наконец отправляется в требовательную петровскую казну (и еще полтора года едет до Якутска). Пушкин, конечно, фиксирует:

«332 сорока соболей, 3 282 лисиц красных, 7 бурых, 41 сиводушчетых да 259 морских бобров» (Х, 359).

Впрочем, страсти не могли улечься так быстро. Еще одна вспышка-эпилог. Не успел Щепеткой уехать с ясаком, объявляется новый кандидат на вольное атаманство, Кыргызов. Он быстро захватывает заказчика Федора Ярыгина — и «мучил Федора Ярыгина свинцовыми кистенями, да клячом вертел ему голову, а других людей на дыбу подымал (также и тамошнего попа). Ярыгина принудил постричься в монахи...» (Х, 359).

Формула камчатской истории в те годы простая: ждать правительственной расправы или оттянуть ее новыми убийствами.

Однако на горизонте — очередной приказчик (один из прежних удачливых правителей) Василий Колесов, которому велено покарать убийц Атласова и других (в центре уж узнали!).

Троевластие: Колесов, Кыргызов и люди погибшего Анцифорова, которых возглавляет вице-атаман Иван Козыревский. Многоопытный Колесов не дал соединиться двум вольницам и, хитро маневрируя, Кыргызова казнил (и с ним вместе еще двух, причастных к прежним убийствам), Козыревского же был пletьми, но в конце концов простили и приказал «заслуживать свои вины, проведывая новых островов и Японского царства» (Х, 360).

Так бунт пускался по правительенному руслу — и выплескивался завоеванием. Козыревский также оставил свое имя на карте, разведывая Курилы¹.

¹ 13 лет спустя удачливый атаман писал Берингу о своем путешествии: «Камчадальский пос землею и морем вокруг проведал, где прежде русские морем не бывали, а на ближних морских островах был и другие видел и самовластных народов проведал, у которых головы бриты до затылку, и чрез оных положенных самовластных иноzemцев, також и нифонцов <японцев> о дальних больших островах уведомился и о прочтем. И как с островных самовластных, так и с носовых Курил в прошлом 713 году ясак вновь одиннадцать пластиин красных лисиц, да две выdry в пластинах же в казну блаженные и вечно достойныя памяти его императорского величества собрал» (см.: Крашениников С. П. Описание земли Камчатки, с. 487, примечание И. И. Огрызко).

ТИШИНА

Колесов наводит порядок. Хотя покойный Дапило Анцыфоров для него несомненно «бунтовщик и убийца», кара над камчадалами, погубителями атамана, конечно, свершилась.

Пушкин излагает события скжато, не опуская и не смягчая подробностей, но как бы и не оценивая: «Их осадили в их остроге и две недели держали в осаде; камчадалы отразили храбро два приступа. Наконец, были сожжены и перерезаны. Противу них было сто двадцать казаков да 150 покоренных дикарей. Также взят был приступом камчатский острожек Паратун. С того времени авачинские камчадалы стали платить ясак ежегодный, а не повольный, как то было прежде» (Х, 360—361).

Как и раньше, пушкинский «перевод» сочувственное камчадалам, чем его источник, где осажденные называны «изменниками», «иноzemцами» (488).

Затем — последнее жертвоприношение на страшном сухопутном тракте через Анадырск: с 1703-го на том пути пало около 200 казаков — огромное число для тамошнего безлюдья.

Победоносный Василий Колесов движется к Якутску с ясаком и отчетом о замиренной Камчатке, но вместе со всем отрядом гибнет в засаде юкагиров и коряков; весь ясак 1713 года потерян...

Однако время наступает: цивилизация, ускоряющая пути сообщения, вскоре умеряет кровавую вольность — в эту пору освоен морской путь из Охотска. «Путь из Якутска на Камчатку,— запишет Крашенинников,— стал ближе, так что не можно уже им надеяться, чтоб по учинении злодейства прожить долгое время».

Тишина. Мирные будни. Пушкин отмечает довольно спокойные, по сравнению с прежней смутой, годы:

1715. «Петриловский, назначенный в приказчики, превзошел всех своих предшественников в жадности и лютости. Один из казаков замучен им в вилах до смерти. Казаки, по наущению Козьмы Соколова, посадили его в тюрьму и взяли пожитки его в казну. Они превосходили казну, собранную в два года со всей Камчатки».

«Беспокойства между туземцами были незначительны».

1718. Тишина. Приказчик Василий Кочапов «свержен был казаками и на полгода посажен в тюрьму. Он бежал. Мятежники взяты в Тобольск и наказаны».

1719. Дворянин Иван Харитонов убит коряками. «Казаки его успели спастись и сожгли убийц в их юрте».

«Приказчики приезжали ежегодно; возмущений от дикарей важных не было, били по два, по три человека сборщиков в Курилах и на Аваче» (Х, 362).

В эту мирную летопись вторгаются времена от времени сведения о высокой европейской цивилизации: навигаторы, первая камчатская экспедиция 1728—1730 годов; в России — дворцовые перевороты. Быстрая смена цафей, цариц....

ПОСЛЕДНИЙ МЯТЕЖ

Ежегодно уходят в Камчатку приказчики.

«На Камчатке проживешь здорово семь лет, что ни сделаешь...» После улучшения путей коренным жителям все труднее пред ясачным напором. Правда, цивилизация — по свойственной ей исторической справедливости — награждает камчадалов умением стрелять из ружей и другими средствами самообороны, прежде недоступными.

Приближается последний, самый значительный камчатский мятеж: крещеный таион (князек) Федор Харчин и его дядя Голгочь ждут часа, чтобы разом избавиться от казаков. Вождь Шандал, может быть, легенда; реальные же претенденты на его роль готовы. Крашенинников пишет о «божьем милосердии», которое спасло казаков, рассуждает, что в случае потери Камчатки «надобно было много трудиться и много потерять людей, чтоб вновь покорить такой отдаленной парод, тем паче, что они, ведая свое злодеяние, могли жить всегда в осторожности, притом умели из ружья стрелять, имели винтовок и пороху довольно, а многие знали все российские тамошние ополчения и коим образом защищать себя, и потому имели не варварские уже предприятия и советы, но подлинно хитрые» (494).

Пушкинский текст как бы вне этих страстей и мыслей.

20 июля 1731 года в Нижнем остроге «все казаки, с женами и детьми, были перерезаны. Все дома сожжены, кроме церкви и крепости, где хранилось имение русских; немногие спаслись и приехали на устье Камчатки» (Х, 364).

Крашенинников: «Сперва надлежало свое удержать, не жели вновь покорять немирных» (495).

Пушкин начал переписывать эту фразу, но зачеркнул и переменил в своем духе: «Надлежало удержать завоеванное, прежде нежели думать о новых завоеваниях» (там же).

Повстанцы (как позже Пугачев) серьезно и одновременно пародийно воспринимают формулу русского управления; Пушкин это замечает.

«Новокрещеный Федор Харчин призвал Савина, новокрещенного грамотея, надел на него поповские ризы и велел ему петь молебен, за что и подарил ему тридцать лисиц» (там же).

В конспекте — отсылка к соответствующему тексту в «Описании земли Камчатки». А там находим, что событие было даже оформлено в специальной служебной книге: «По приказу комиссара Федора Харчина выдано за молебен Савину», ибо так оной новокрещеной назывался, «30 лисиц красивых», что ради после до самого выезду моего <Крашенинникова> называли его попом поганым» (495).

Огромная награда — как бы символ власти в российском понимании; казацкие сборщики ясака мечтают о лисицах — вот и камчадал оформляет свою победу символикой побежденного: лисицы, звание комиссара, священство...

Пугачевское императорство, его министры, богослужение — сходная с Камчаткой «карнавальная стихия» российского бунта XVIII столетия.

Когда с правительственной стороны восставшим предлагаются прощение, игра продолжается: бунтовщики не послушались. Харчин кричал со стены: «Я комиссаром Камчатским, я буду сам ясак сбирать, а вы, казаки, здесь в земле не надобны» (там же).

Поэтому случайным, но естественным звеном исторического карнавала оказывается один из финальных эпизодов: «Харчин, видя невозможность защищаться, оделся в женское платье и бежал. За ним пустилась погоня; но он так резво бегал, что мог достигать оленей. Его не догнали».

Об окончании бунта — страстный, нервный рассказ почти что очевидца Крашенинникова (перед самым его приездом исполнили приговор над обвиняемыми); сто лет спустя — эпическое повествование поэта-историка.

«Описание земли Камчатки»: «А когда прибыла команда из Нижнего, тогда они соединенными силами пошли на авачинских изменников, которых было более 300, брали приступом крепкие и нарочно сделанные острожки их, побивали изменников купно и с невинными, жен их и детей в холопство брали, и таким образом, погубя их множество и успокоя, паки на Камчатку возвратились по своим местам с великою прибылью» (497).

Конспект Пушкина: «Они пошли на Авачу, противу трехсот тамошних мятежников и, разоряя их укрепленные острожки, насытись убийством, обремененные добычею, возвра-

тились на свои места» (Х, 366). (В «Медном Всаднике» — «и вот, насытясь разрушеньем...»)

Формулы Пушкина трагичнее. За ними понимание корней отчаянного бунта и неумолимой логики случившегося.

Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует...

Крашенинников кое-где намекает на главные причины (например, сообщает, как «холопили» казаки камчатских жителей), но, конечно, ему приходилось немало смягчать, вычеркивать. Пушкин не знал, но мог понять, почувствовать то, что мы теперь находим в зачеркнутой, не вошедшей в окончательный текст оценке Крашенинникова: «Обиды их [камчадалов] весьма чувствительны были, особенно когда [казаки] сверх ясаку брали у них, что ни попало, вводили их неволею в долги неоплатные, навязывая насилино товары свои и всякую безделицу дорогою ценою и за те долги брали детей их себе в холопство» (490).

1740-е

Суд и казнь воспоследовали. Повешены и биты кнутом не только Харчин и другие повстанцы, но (редкостное дело!) также и некоторые наиболее злостные их мучители, чьи дела открывались на следствии.

«Иван Новгородов, Андрей Штишников и Сапожников повешены, также и человек б камчадалов. Прочие казаки высечены кто кнутом, кто плетьми. Камчадалы, бывшие у них в крепостной неволе, отпущены на волю, и впредь запрещено им кабалить» (Х, 366).

Правительство Анны Иоанновны не по доброте или стремлению к справедливости так рассудило. Нашелся случай — покончить с двумя вольницами сразу: государство, разрешавшее выгодную ему до сей поры казачью свободу, теперь наступало, отнимало, присваивало исключительное право карать, грабить, кабалить...

Вольности прирезаны, самовластие укрепляется, эпизод — «российский человек на воле» — завершается, жестокость прошедшего полувека правительство берет на себя, сильно умеряя возможности далеких подданных как кровь проливать, так и собою распоряжаться.

Итог... У возвращавшегося с Камчатки в Петербург «академии студента» (путь длился полтора года, с июня 1741-го по ноябрь 1742-го) сохранились насчет Камчатки оптимисти-

ческие надежды, немало, правда, усиленные при цензировании его труда в Академии.

«С того времени мир, покой и тишина в Камчатке, да и впредь опасаться нечего; ибо по высокоматерному всемилостивейшие государыни нашей императрицы Елизаветы Петровны о подданных своих попечению сделаны такие учреждения, что тамошним жителям лучшего удовольствия желать невозможно. <...> И пыне христианская вера в тамошней стороне к северу до коряк, а к югу до третьего Курильского острова распространялась, но можно твердо надеяться, что вскоре и коряки просвещены будут святым крещением, тем наипаче, что многие из них приняли христианскую веру» (499—500).

Пушкин все это сжал в одну фразу, на которой обрываются его «Камчатские дела»:

«До царствования имп. Елизаветы Петровны не было и ста человек крещеных» (Х, 366).

Опять молчаливый, открытый финал: как — «Народ безмолвствует...».

Интереснейшие записи камчатской истории конца XVII — начала XVIII века, извлечения из книги Крашениникова, сконцентрированы, «сгущены», обработаны Пушкиным. Уже вырисовываются главные герои будущего повествования. Мелькают названия гор, бухт, поселков, ручьев, указаны годы, события, люди — будто сам поэт только что проехал там, как по пугачевскому Уралу, — и хочется идти за ним со старинными книгами, древними картами в руках.

«Камчатка — страна печальная, гористая, влажная...»

Однако пять лет времени, уже 20 января 1837 года.

Разговор обрывается на полуслове. Разговор важнейший, напоминающий, между прочим, о недавнем (ровно три месяца назад) письме Пушкина к Чаадаеву, письме неотправленном, но в данном случае это не важно...

Автор «Философических писем» утверждал, что «у каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, герои-

ческим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями».

Чаадаев полагал, что «этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем»¹.

Пушкин возражал: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре,— как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон?» (XVI, 393, пер. с франц.).

Зашитив российскую историю от чаадаевского пессимизма, Пушкин, однако, тут же заметил: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству—поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко» (там же).

Пушкин видит не одно, а два главных начала в российской истории: воля и рабство.

Какой из эпитетов, прилагаемых к камчатским делам, в будущем возьмет верх: *неимоверный, высокий, бесстрашный, жалкий?* Что означает *такая вольность и такое самовластие?*

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

¹ Сочинения и письма П. Я. Чаадаева под ред. М. Гершензона, т. 2. М., 1914, с. 111.

ГЛАВА X

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСКИ

Дикость, подлость и невежество
не уважает прошедшего, пресмыкаясь
пред одним настоящим.

Наше повествование пришло к тому, с чего началось: к пушкинским последним Запискам.

Посмертные упреки сыну, сделанные Сергеем Львовичем, дали повод для отступления к началу XIX века, рассуждениям о тогдашнем взгляде на историю и исторических деятелей. Пушкин-историк, постоянно развивавшийся, все более глубокий, многосторонний, к концу жизни уходит далеко вперед от своих первоначальных понятий; обгоняя время, он все больше рискует встретить непонимание, отчужденность, испуг даже тех, кто прежде понимал или сочувствовал.

Углубившись в последние мемуары поэта (XII, 310—314), мы теперь попробуем найти в них связь с предшествующим его художественным и ученым опытом, попытать, с каким взглядом на прошлое и настоящее своего народа (и своего рода) Пушкин уходил из жизни. Не ставя целью изучение его замысла в целом, соотношения разных мемуарных фрагментов, ограничимся «медленным чтением» того, что принято называть «Началом автобиографии»¹.

Начало автобиографии, которое внезапно сделалось итогом.

Несколько раз принимался я за ежедневные записи и всегда отступался из лености

Речь идет пока что не о мемуарах, но о дневниках, которые, разумеется, могут фиксировать не только сегодняшнее, но и прошедшее.

¹ Записки Пушкина в ряде работ многосторонне исследовали — см.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2; Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина; Левкович Я. Л. Незавершенный замысел Пушкина.— «Русская литература», 1981, № 1, с. 123—136. Ее же. Пушкин в работе над «Записками».— «Русская литература», 1982, № 2, с. 141—148.



Таковы были последние из нам известных «ежедневных записок» поэта, начатые 24 ноября 1833 года и обрывающиеся в феврале 1835 года, четвертые по счету.

До того было еще несколько попыток; сохранился лицейский дневник. Первый лист или листы его пропали, но, очевидно, все шесть сохранившихся обширных записей относятся к ноябрю — декабрю 1815 года (XII, 295—302). Потребность 16-летнего лицеиста пером «остановить время» — несомненна. Разнообразие же его впечатлений столь велико, что «нормальные» дневниковые записи чередуются со своими и чужими стихотворениями, эпиграммами, образцами портретной прозы (рассказ о лицейском педагоге Иконникове), литературно-критическими опытами («Мои мысли о Шаховском»). Любопытно, что юноша успевает наметить и внести в дневник будущие «главные предметы вседневных моих записок».

Ежедневные записки, *вседневные* записи: замысел, как видим, проходит через всю жизнь, от лицея до смертного часа.

10 декабря 1815 года Пушкин подробно разрабатывает план — «Картина Царского Села»:

1. Картина сада.
2. Дворец. День в Царском Селе.
3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
6. Жители Сарского Села.

Вот главные предметы вседневных моих записок. Но это еще будущее» (XII, 298).

Легко заметить, что если бы юный гений выполнил свой замысел, то «вседневные записи» граничили бы с мемуарами, обобщая не только впечатления дня, но и опыт «царско-сельского старожила». Так же легко и естественно ежедневные записи поэта будут еще не раз сплетаться с «показаниями» о былом.

Охотно поверив, что лицейский дневник был действительно прерван «из лености», — встречаемся со «вторым дневником» уже в Кишиневе (восемь записей со 2 апреля по 6 июня 1821 г.; XII, 304). «Третий дневник» — это 5 записей с 26 июля по сентябрь 1831 года (XII, 199—201)¹. Сверх того в сегодняшних пушкинских собраниях читатель найдет немало отдельных памятных записей — порою очень важных (например, о смерти Наполеона, о казни пятерых декабристов), но эти заметки вряд ли относятся к тем случаям, когда поэт принимался за ежедневные записи и отступался...

Перед нами четыре серьезных попытки, из которых наиболее значительные — первая, лицейская, и последняя (1833—1835).

Вопрос о том, все ли пушкинские дневники нам известны и не означает ли, например, надпись «№ 2» на последней большой дневниковой тетради поэта, что имеется также неизвестная тетрадь № 1, — все это давно уже мучает исследователей, волнует воображение читателей.

Завершая разбор первой фразы автобиографических Записок, заметим еще раз, что пушкинскому «отступил из ленисти» должно верить как изящной, небрежной формуле: по-

¹ Долгое время его считали материалом для предполагаемой (но несостоявшейся) газеты «Дневник», однако политическая острота записей убедила исследователей, что все это делалось не для печати.

чему-то не захотелось или невозможно вести записки — и поэт, отнюдь не ленивый, очень даже ревностный к занятиям, «отступается».

В 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был скрыть сии записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потерях; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства.

Аппенков не поверил Пушкину, что Записки были напечатаны в 1821-м, так как сам поэт сообщал брату Льву (ноябрь 1824 г.): «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки» (XIII, 121).

Почти год спустя (Катенину): «Стихи покамест я бросил и пишу свои Mémoires, то есть переписываю на бело скучную, сбивчивую, черновую тетрадь...» (XIII, 225).

Еще через 2 месяца (ноябрь 1825-го, Вяземскому): «Писать свои Mémoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая» (XIII, 244).

«Так шло дело до декабря 1825 г., — замечает по этому поводу первый пушкинист, — но от этого годичного беспрерывного труда осталось только несколько отрывков, да довольно значительное количество сырых, необработанных материалов»¹.

Пушкин, однако, ясно говорит, что занимался своей биографией «несколько лет сряду»; противоречие писем и последнего утверждения мнимое и, вероятно, легко примиряется, если вспомнить еще раз о различии *ежедневных записок* и записок биографических. Ведь, рассказывая в основном о вторых, поэт все же начал с первых — то есть с дневников, которых не сжигал, но «отступил из лености». Понятно, существовала связь, переход одних записок в другие (в том духе, как это было, например, в лицейских автобиографических фрагментах). Мы понимаем, что если первая биография писалась (переписывалась?) в Михайловском в 1824—1825 годах, то предваряющие дневниковые заметки со-

¹ Аппенков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 42.

ставлялись еще в Кишиневе, Одессе¹, там угадываются вероятные герои «сожженных записок» — Пестель, Орлов, Раевские, герои греческого восстания.

Нам, конечно, небезразлично — собирался Пушкин уже в 1821 году писать свою биографию или в ту пору «еще неясно различал» конечный замысел? Может быть, копил наблюдения для иного труда?

И. Л. Фейнберг стремился максимально полно представить целостную систему рукописной автобиографической прозы поэта². Очень вероятно, что Пушкин (как уже отмечалось в главе II), замышлял и большую работу о России XVIII — начала XIX века.

В любом случае, однако, Записки 1821—1825 годов были, паверное, более сосредоточены на *других*; это в меньшей степени авторская семейная исповедь, нежели Записки 1830-х годов. Слова — «начал я свою биографию» — это ведь обратное впечатление о тех, ранних годах, высказанное зрелым Пушкиным, отчетливо понимающим свое значение. Не то было на юге: ощущение собственной необыкновенности, конечно, постоянно росло, но только в Михайловском будет записано — «я могу творить».

Фраза из последних Записок (которую мы вскоре будем разбирать): «Избрав себя лицом, около которого постараюсь собрать другие, более достойные замечания...» — подобная фраза (не без оттенка шутливого самоуничижения!) в начале 1820-х годов вряд ли могла бы родиться на свет.

Заметим попутно некоторое противоречие в последних Записках: Пушкин сообщает, как в 1821-м «начал свою биографию», но тут же выясняется, что главное ее содержание — не он сам: Записки могли «замешать многих», «я ... говорил о людях, которые сделались историческими лицами». Разумеется, мемуарист подразумевает, что, «умножая число жертв», он рисковал и собою, но все же получается, что именно в последних Записках поэт «избрал себя» центром повествования, а прежде было не совсем так...

Скорее всего, в 1821—1824 годах составлялась не автобиография в духе 1834—1836 годов, но историко-политические

¹ В первом варианте пушкинского воспоминания было: «...Начал я писать мою биографию и продолжал до 1825 года, когда был открыт несчастный заговор» (XII, 432). Затем последовала правка, исключившая глагол «писать»: «...начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею».

² Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина, с. 245—392.

мемуары; называя их биографией, Пушкин допускает известную натяжку, но параллель с тем, что он делает в конце жизни, очень нужна поэту. Таким образом легче ввести в рассказ воспоминание о сожжении первой рукописи.

Зачем же?

Вот тут-то заметим, что накануне гибели Пушкин действительно пишет *биографию*; ясно представляя ценность собственной личности, он убежден, что будущего читателя заинтересуют и сожженные мемуары: ведь это черта, резкая особенность определенной эпохи. Можно было бы, кажется, и не толковать о погибших Записках, перед тем как повествование уйдет в давние века и только оттуда двинется к современности. Но Пушкин сохраняет живое чувство сожаления об утраченном труде, о тех богатствах, которыми он уже не сможет поделиться. Здесь — горький вздох, извинение и напоминание...

Так или иначе, но в конце 1825 года записки, основанные на давно собираемых материалах, были уже довольно обширны. Ведь в черновике, прежде чем появились слова «сжечь сии записки», Пушкин писал и зачеркивал: «сжечь мои тетради... свои тетради»¹, а в «Альбоме Онегина» (рукопись VII главы поэмы) находим возможный образ тех записок²:

Мелькали мысли, замечанья,
Портреты, числа, имена
Да буквы, тайны письмена,
Отрывки, письма черновые
И словом искренний журнал,
В который душу изливал
Онегин в дни свои младые
Дневник мечтаний и проказ
Незапомятых для вас

В вариантах еще определеннее:

И тайно пачатый дневник...
И наконец его журнал...

(VI, 430—431)

Признание в убийстве собственного, опасного творения (а сам характер рассказа, как отмечалось в I главе, был ориентирован на будущего, может быть и современного, читате-

¹ См. подробный разбор обстоятельств сожжения рукописи у И. Л. Фейнберга (указ. соч., с. 249—258).

² Наблюдение Ю. М. Лотмана. См.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 3. М.—Л., 1960, с. 158.

ля) — это был смелый поступок. Кто же признавался в тогдашней России, что вел записи, которые могли бы многих погубить? Пушкин в середине 1830-х годов воображает, «что было бы, если бы» к нему после 14 декабря явились жандармы, произвели обыск, конфисковали бумаги, представили их непрощенным читателям (в том числе — *высочайшему*) и обнаружили бы *кriminal* (точно так, как недавно, летом 1834-го, произошло непрощеное вторжение властей в домашнюю переписку поэта).

Люди 14 декабря и их круг — главные герои повествования 1821—1825 годов; сквозь нейтральные откровенные признания мемуариста просвечивает сочувствие («исторические лица», «откровенность дружбы»): автор избирает себя центром повествования, но люди, столь близкие и *короткие* с ним, пострадали, могли пострадать. Отсюда виден и вольный дух самого рассказчика... Однако это ведь пишет Пушкин, уже объяснившийся откровенно с Николаем; по существу, начало поздних Записок — это парафраз знаменитой реплики в ответ на устный вопрос: «Был ли бы ты на Сенатской площади 14 декабря вместе с бунтовщиками? — Был бы,— ответил Пушкин,— потому что они были моими друзьями»¹.

К тому же Пушкин, как помним, утверждал, и не раз (см. гл. IV), что 14 декабря уже принадлежит истории, что там действовали *исторические лица*. Значит, судить о них должно по «историческим правилам», то есть — восстанавливая дух тогдашнего (до 14 декабря) времени, а не задним числом, по сегодняшним понятиям. Поэтому упоминание «исторических лиц» не только и не столько выражение сочувствия к ним 10—15 лет спустя, а «умножить число жертв» — не только и не столько осуждение победителя; *так было, такова «сила всцей»* — вот привычная для нас логика Пушкина-историка, который, однако, сожалеет, что те, старые записи не сделались фундаментом *настоящего* рассказа об истории 1810—1820-х годов; что невольно все же получается повесть, одушевленная не тогдашним смыслом, но позднейшим, сегодняшим...

Легко заметить, что официальной политической истории, переносящей свои догмы с настоящего на прошлое, Пушкин противопоставляет недогматический исторический подход, когда можно и должно обо всем писать, но писать многосторонне, по-шекспировски. Для такого историка-художника

¹ Версия Миллера в письме к Я. Гроту от 11 мая 1880 г. НД 16056/сб. 2.

особенно трагична гибель многих дневников, записок, документов, незаписанных рассказов.

Именно в эту пору, совершенно независимо от Пушкина, на другом конце России, в сибирской ссылке, Михаил Лунин старается собрать, записать, откомментировать впечатления очевидцев о 1816 — 1826 годах.

Старается удержать, сохранить ценный факт, документ, рассказ и Пушкин-историк. Можно сказать, что, скорбя об утрате своих ранних Записок, Пушкин печалился сразу о многих утраченных воспоминаниях.

«Государыня пишет свои записки... — находим мы в дневнике поэта. — Дойдут ли они до потомства? Елисавета Алексеевна писала свои, они были сожжены ее фрейлиною; Мария Федоровна также. — Государь сжег их по ее приказанию. — Какая потеря!» (XII, 316).

У воспоминаний царицы и записок поэта — общая судьба: все пожрал огонь вскоре после 1825 года.

И вот уж «мемуарный инстинкт» заставляет Пушкина требовать записи у Щепкина, Нащокина, Дуровой; он с удовлетворением записывает в дневнике (2 апреля 1834 г.), что Сперанский «советовал мне писать историю моего времени» (XII, 324).

Пушкин говорил Алексею Вульфу: «Непременно нужно описывать современные процессы, чтобы могли на нас ссытаться»¹.

«...На нас ссытаться» — тут острое ощущение ценности мимолетного, сегодняшнего, которое на глазах превращается в историю. Современная исследовательница справедливо отмечает, что мемуары Пушкина «псуществу писались постоянно и в период между двумя главными подступами»: «Разрозненные куски этого труда мы можем видеть не только в портретах современников, исторических и современных анекдотах, записанных в дневнике поэта или положенных в папку под названием «Mémoires», не только в хронике петербургской жизни, как она запечатлена на страницах последнего дневника поэта, но и в заметках из «Оправданий на критики»².

Теперь некоторая театральная торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей.

Тогдашняя историческая наука сосредоточивала внимание на объективной стороне событий. Леопольд Ранке, крупный

¹ Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1974, с. 416.

² Левкович Я. Л. Незавершенный замысел Пушкина... с. 136.

немецкий историк и современник Пушкина, именно в это время провозглашает свою знаменитую формулу, что задача историка «установить, как, собственно, все происходило».

Пушкин-историк в общем держится этого принципа и, как мы знаем, стоит за объективность, за установление истинного духа той или другой эпохи, против навязывания прошлым векам наших современных представлений. Однако слова поэта о «торжественности» влияют на слог, затрагивают и субъективную сторону — то, о чем стали особенно много говорить и писать в XX веке: как избавиться от неизбежного влияния наблюдательного прибора на изучаемые объекты? Как окрашивается прошедшее в зависимости от представлений, мнений, опыта самого субъекта, то есть изучающего историка? Пушкин отлично чувствует проблему, он «экспериментирует» на самом себе, наблюдая как бы со стороны неизбежную перемену точки зрения на минувшее.

Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно...

Спокойствие — побледневший образ реальных бурных событий: оно невольно, задним числом, придает им иной тон, иной дух.

Прошло как будто немного времени после 1821—1825 годов, после тех событий, которые были столь свежи в первых, погибших записках; однако эффект современности за 10 лет утрачен, уже рассказ проникнут чувством дистанции, « некоторой театральной¹ торжественности».

Торжественность прошедшего, торжественность удаления:

Иных уж нет, а те далече...

Разве можно теперь, в конце 1830-х годов, шутливо, коротко толковать о погившем Пестеле; о Якушкине, Лунине, Никите Муравьеве, которые уж 10 лет в каторге за много тысяч верст; или — о сосланных, опальных, поднадзорных Михаиле Орлове, Чаадаеве?

Задача со слишком известным ответом...

По-видимому, об этих последних Записках Пушкин толковал однажды со старинным приятелем тех дальних, «сожженных» лет, Николаем Степановичем Алексеевым.

23 января 1835 года Алексеев писал Пушкину: «В скором

¹ Слово «театральной» читается в рукописи условно (см. XII, 432).

времени я обещаю тебе сообщить некоторую часть моих записок, то есть: эпоху кишиневской жизни; они сами по себе ничтожны; но с присоединением к твоим могут представить нечто занимательное, потому что волей или неволей, но наши имена не раз должны столкнуться на путях жизни. В заключение напомню тебе об обещанном экземпляре Пугачева с твоей подписью, которая не раз уж украшала полученные мною от тебя книги» (XVI, 7).

Вряд ли это ответ Алексеева на письмо — скорее была встреча: Пушкин обещал подарить «Пугачева»; как и многих других, уговаривал приятеля составлять записки. Вероятно, «в назидание» познакомил Алексеева со своими.

Можно предположить, что (скорее всего, в 1834 году) поэт-историк развивал перед старинным другом по Кишиневу ту часть своего замысла, которая соответствует так называемой «второй программе записок» (1833), почти целиком посвященной кишиневскому времени (см. XII, 310).

Программа не была реализована, до кишиневских страниц оставалось еще далеко, но Пушкин, как видно, не случайно рассказывал о своей затее именно Алексееву: этот близкий когда-то человек, судя по его коллекции и некоторым биографическим сведениям, был одним из немногих свидетелей тех старинных историко-мемуарных замыслов 1821—1825 годов, к которым Пушкин теперь возвратился по-новому¹.

Зато буду осмотрительнее в своих показаниях, и если записки будут менее живы, то более достоверны.

Тональность, как видим, судебно-следственная («осмотрительнее в своих показаниях»); Пушкин долго отделяет эту фразу, пробует варианты: «Зато показания мои будут более верны и осмотрительны»; «Зато показания мои будут менее...»; «Если этим потеряна будет живость, то вознаграждено будет...» (XII, 433).

При этом выходила, однако, неожиданная и Пушкину явно нелюбезная мысль, что чем меньше живости, тем больше достоверности. В дальнейшем антитеза сохранена, но исключается слово «вознаграждено», а причиной достоверности делаются, таким образом, большая осмотрительность...

Как любопытно, по ходу дела, складывается нечто вроде теории вопроса: ведь только что Пушкин жалел об утрате

¹ О Н. С. Алексееве см. в моей книге «Пушкин и декабристы», гл. 3.

старых записок — по тут же вдруг признает, что новые будут более достоверны!

Перед нами — два слоя, «горизонта» воспоминаний. Первый — это живость, непосредственность; субъективность первого впечатления даже за счет достоверности. Второй слой — позднейшая память — более спокойная, точная (и менее живая!).

Пушкину печально, что волею судеб он, писавший с первого «горизонта», теперь вынужден начинать заново, со второго. При этом поэт уже видит и недостатки тех, давних своих мемуаров, которые, по определению, более живые, более непосредственные, субъективные. Пушкин-историк вступает в любопытный спор с Пушкиным-художником, где оба правы и оба «несут потери...».

За Анненковым повторим: «Пушкин не отступал до самой смерти своей от намерения представить картину того мира, в котором жил и врашивался, и потому сохранял тщательно все, даже незначительные, источники для будущего своего труда; но труд, разрушенный в самом начале, так сказать, при положении первых камней, уже не давался ему более в руки. Не трудно понять, какой памятник оставил бы после себя поэт наш, если бы успел извлечь из своего архива материалов полные, цельные записки своей жизни; но и в уничтожении той части их, которая была уже составлена им в 1825 г., русская литература понесла невознаградимую утрату. При гениальном способе Пушкина передавать выражение лиц и физиономию событий немногими родовыми их чертами и проводить эти черты глубоким неизгладимым резцом — публика имела бы такую картину одной из замечательнейших эпох русской жизни, которая, может быть, помогла бы уразумению нашей домашней истории начала столетия лучше многих трактатов о ней. Если Томас Мур говорил об уничтоженных им «Записках Байрона», что по жгучести и занимательности содержания они дали бы много бессонных ночей образованным людям всей Европы и склонили бы много голов к своим страницам,— то подобную же роль, вероятно, играли бы у нас и цельные «Записки» Пушкина, если бы существовали»¹.

Избрав себя лицом, около которого постараюсь собрать другие, более достойные замечания, скажу несколько слов о моем происхождении.

¹ А нн е п к о в П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, с. 309—310.

Пушкин написал сначала «избиная», потом — «избрав»; ему не понравилось, он опять зачеркнул, но не успел найти ничего лучшего — и мы вынуждены принять «предпоследнюю» авторскую волю.

Краткая пушкинская фраза строга, скромна и — с улыбкой. Разумеется, поэт понимает свое значение и будущий интерес читателя: скоро напишет «Памятник».

Цель его, однако, в том, чтобы открыто объявить манеру будущих воспоминаний. Автор — их центр, примечательные люди — главные герои.

Выбирая между предельной субъективностью рассказа о самом себе — и более нейтральным повествованием в «третьем лице», Пушкин прибегает к методу «комбинированному». Провозгласив принцип — вокруг себя «собрать другие...», поэт, однако, так и не успел почти ничего сказать о других. Рассказ о своем происхождении, то есть протобиографию, он считает необходимым предисловием к будущей книге — и тем самым заявляет свою личность сильнее, чем это могло бы показаться из только что пройденных нами строк. Это едва заметное противоречие, пожалуй, еще раз напоминает о разнице более объективной манеры старых *Записок* и более субъективной — новых... Так или иначе, но личное, семейное, историческое приведено во взаимодействие — и тем развита, углублена одна из любимых постоянных мыслей Пушкина; еще в «Бориса Годунова» он вводит своего предка: «Нашед в истории одного из предков моих, игравшего важную роль в сию несчастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о щекотливости приличия, с любовью, но безо всякой дворянской спеси» (XI, 141).

Много писали и говорили об интересе поэта к своим предкам. Не повторяя известных цитат, напомним только, что критики разных партий, с разных сторон (Рылеев, Бестужев, Пущин, Полевой и — Булгарин) порою насмехались над «аристократической спесью», увлечением поэта своим «600-летним дворянством». Пушкин отвечал: «У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин,— дьявольская разница!» (XIII, 179).

Семейная, «малая» история для Пушкина — один из важнейших путей приобщения к истории большой. Через пред-

ков смело поднимается тема своей России, своего народа, своего прошлого.

«История народа принадлежит поэту» — эта формула позволяет ввести и самого поэта в историю. Позже, во второй половине XIX и начале XX столетия, историческая наука не мало приобретет, но кое-что и утратит, в частности то особенное отношение творца к материалу, которое было свойственно Пушкину и его времени. Отношение «ренессансное», цельное, подход более живой, личный, «простодушный»...

В 1850—1860-х годах автор «Былого и дум» тоже органично введет в повествование своих родственников, друзей, знакомых. Для Герцена «моя история» — это свидетельство борьбы, пережитых страданий, накопленных дум; она в *Былом*, то есть в том, что с ним было; у Пушкина же — и в *былом*, и (в отличие от Герцена) — в давно прошедшем, *бывшем*.

Как видим, начало пушкинской «новой автобиографии» содержит важную декларацию о семье автора и об избранной им манере. Обещанием сказать «несколько слов о моем происхождении» оканчивается черповой текст *введения*, находившегося на отдельном листе, а после смерти Пушкина вклеенного в условную «жандармскую тетрадь» (см. XII, 472, comment.).

Продолжение Записок находится на других листах и выглядит как более отработанный, беловой текст. Впрочем, он уже имел предысторию, возникая, и не раз, в более ранних набросках, в то время как только что оконченное введение не имело раннего образца и давалось труднее.

Мы ведем свой род от прусского выходца Радши или Рачи (мужа честна, говорит летописец, то есть знатного, благородного), выехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шереметевы и Товарковы.

Пред нами отнюдь не первое пушкинское упоминание о древнем Радше.

Последним Запискам предшествовали «болдинские мемуары» в стихах и прозе: под «Моей родословной» дата «16 октября 1830 года» (*post scriptum* к стихотворению был сочинен несколько позже); сентябрем — октябрем 1830 года датируются «Оправдание на критики и замечания на собственные сочинения». «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» — полемика, повод которой дали выпады Булгарины и других псевдодемократов против «аристократизма», «дворянской спеси» поэта.

В «Моей родословной», как и в позднейших Записках,

представлены сбе ветви предков — Пушкины и Ганибалы, в «Опровержении...» речь идет только о Пушкиных. «Программа» будущих Записок задана; уже обозначен и личностный взгляд на историю (о чём еще речь впереди), но, возможно, Пушкин еще не думал, что пишет новые мемуары, начинающиеся с рассказа о далеких предках. Болдинской осенью 1830 года все полно полемикой, позже тон станет более спокойным, эпическим, ироническим; уточняются одни данные, уйдут другие...

Мы будем постоянно сравнивать первые, болдинские наброски с позднейшей редакцией. Пока же отметим только, что строки о Радше в «Опровержении...» уже почти такие же, как в поздних Записках:

Род мой один из самых старинных дворянских. Мы происходим от прусского выходца Радши или Рачи, человека знатного (мужа честна, говорит летописец), приехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского (см. Русский летописец и История Российского государства). От него произошли Пушкины, Мусины-Пушкины, Бобрищевы-Пушкины, Бутурлины, Мятлевы, Поводовы и другие. Карамзин упоминает об одних Мусиных-Пушкиных (из учитивости к покойному графу Алексею Ивановичу) (XI, 160).

Как видим, Пушкин в будущем несколько сожмет лишние объяснения, снимет «полемические мелочи», вроде легкого укола Карамзину, что он из Пушкиных упомянул только Мусина-Пушкина (в честь известного коллекционера и археографа). Отзвук того же чувства — в известной строке «Моей родословной»:

Я Пушкин просто, не Мусин...

Все это в Записках будет неуместно; все это и уйдет — зато прибавятся фамилии; происшедшие от Радши (впрочем, и в черновике «Опровержений на критики» «Бобрищевы-Пушкины, Мятлевы, Поводовы» явно вписаны позже; см. XI, 405): в Болдине многое писано на память, необходимых книг под руками не было. Дополняя строки о Радше и родичах, Пушкин основывался на данных Бархатной книги, изданной в 1787 году Н. И. Новиковым, «но, видимо, читал ее певнительно. Из Бархатной книги он мог бы узнать еще ряд фамилий, происшедших от Ратши, но Шерифединовых он там не нашел бы. Очевидно, он имел в виду фамилию Шафировых-Пушкиных, пресекшуюся в XVIII в.»¹.

¹ Веселовский С. Б. Род и предки А. С. Пушкина в истории.— В кн.: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969, с. 42.

Вторым основным источником пушкинских сведений был «История...» Карамзина, где между прочим упомянуты дьяки Ивана Грозного Петр и Андрей Шереметьевы¹.

Поэт исходил из того, что мог узнать; на самом же деле Радша, будто бы «вышедший из немец», был из «словен», юго-западного славянского народа. Обнаруживший это В. К. Лукомский полагал, что Пушкину неоткуда было взять подобные сведения: ведь в его распоряжении была лишь Бархатная книга, выводившая Ратшу из прусской земли,— в то время как «Гербовник» с указанием на словен был напечатан только в 1840 году².

Однако в жизни все было сложнее: ведь о славянском «прародителе» Ратше знали Сергей Львович и Василий Львович Пушкины!³ По своим причинам они, очевидно, не сочли нужным толковать об этом факте; к тому же вопрос о родословной обострился в 1830 году, уже после смерти Василия Львовича.

Бумаги старшего брата перешли к отцу поэта, но тот ведь «никогда не говорит» о предках: мелкий, но характерный показатель различия во взглядах на историю между сыном и отцами...

Пушкины жили уже не в ту пору, когда дворяне и бояре гордо выводили свой род из других краев⁴. Словенский корень Ратши был бы, конечно, подарком автору «Песен западных славян», но ему было не суждено о том узнать. Не был Ратша и современником Александра Невского, так как знаменитому князю служил Ратшин правнук Гаврила Олексич; отсюда ясно, что время прадеда — вторая половина XII века; заслуживает внимания и дата, 1198 год,— почерпнутая В. К. Лукомским из родословной Мусиных-Пушкиных: именно в том году служил киевскому князю Ратша, прямой пра-пра-пра-пра - пра-пра-пра-пра-пра - пра-пра-пра-пра-пра-прадед поэта.

Поэт был бы разочарован опровержением того, что «предок Рача мышцей бранной Святому Невскому служил»; другой прямой предок Пушкина (на три поколения ближе) был столь знаменитым воином, что его, в Невской битве 1240 года, хорошо заметил Карамзин (но, увы, не узнал о родстве Пушкин!): «Витязь российский Гавриил Олексич гнал прин-

¹ Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 42.

² См: Временник Пушкинской комиссии, т. 6. М.—Л., 1941, с. 407.

³ Там же, с. 401.

⁴ См.: Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 40.

ца, его сына, до самой ладьи; упал с конем в воду, вышел невредим и бодро сразился с воеводой шведским¹.

Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории.

«В нашей истории» — значит в летописях, родословиях, в трудах Карамзина, где Александр Сергеевич искал и находил кое-какие упоминания о Пушкиных. В настоящее время, благодаря усилиям ученых, более всего С. Б. Веселовского, о предках поэта известно многое больше, чем знал он сам. Мы имеем известное право вообразить — какие предметы особенно заняли бы Пушкина; право, основанное на чтении его сочинений.

Вот первый эпизод, когда «мятежный род» повздорил с царями и дело худо кончилось: боярин Акинф Великий, сын Гаврилы Олексича и правнук Ратши, пробует вместе с тверичами на свой страх и риск захватить самого князя Ивана Даниловича. Будущий Калита, однако, всех перехитрил, и предок поэта лишается головы, сыновья же Акинфа, всем родом, вскоре переходят на службу к этому московскому князю, и от Акинфиева правнука Григория Морхинина Пушки пойдут Пушкины².

Не остался бы поэт равнодушен и к наблюдениям С. Б. Веселовского, что, «расширяя с течением времени владения, Пушкины продолжают сохранять тесные связи с Москвой и Подмосковьем — с древнейших времен и почти до Александра Сергеевича»³; что многие подмосковные села получили название от разных Пушкиных (9 сел) или от близких к ним фамилий⁴; что большинство Пушкиных во время великой феодальной смуты XV века сохраняли верность великому князю Василию Васильевичу, даже после его ослепления и обретения прозвища *Темный*⁵.

¹ Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 4. Изд. 2-е. СПб., 1819, с. 26—27. Веселовский полагал, что ошибка на столетие произошла еще и оттого, что, согласно летописи, при Александре Невском имелся слуга Ратислав. См.: Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 43.

² По мнению историка, «в середине XIV в. в Москву стали проникать сведения об изобретении огнестрельного оружия, для определения которого на основе русских корней «пыл» и «пых» было образовано новое слово «пушка». Оправдывалось ли какими-либо личными чертами характера Григория Морхинина применение к нему прозвища Пушки, сказать невозможно, так как прозвища нередко давали с детства и без всякой связи с личными качествами человека» (Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 53).

³ Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 62.

⁴ См.: там же, с. 62—63.

⁵ См.: там же, с. 71.

Еще и еще примеры, что «водились Пушкины с царями», то есть многие из этих фамилий держались за сильную власть; но притом потомство Григория Пушки «было значительно ниже [других] потомков Акинфа Великого. И в землевладении Пушкиных не было того широкого географического размаха, который мы видели у «многовотчинных» и могущественных боярских фамилий, происшедших от Акинфа Великого»¹.

Именно это — полагает Веселовский — определило судьбу Пушкиных при Грозном.

В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Васильевича Грозного, историограф именует и Пушкиных.

Еще прежде, в «Моей родословной» (о Раче):

Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил...

С. Б. Веселовский своим материалом как бы полемизирует с поэтом: «Гнев венчанный, если пощадил Пушкиных, то не пожалел других, более значительных потомков Ратши»².

На страницах исследования (создававшегося в 1940-х годах) страшные, резкие приметы того царствования: казни Ратничей-Акинфичей — Бутурлиных, Шафериковых-Пушкиных, Курчевых-Пушкиных, страшная гибель крупного землевладельца Ивана Петровича Федорова³.

¹ Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 62. Одна из причин этого упадка позабавила бы поэта: «Пушкины так успешно размножались, что в пятом колене их было более шестидесяти человек, а в служебном отношении они так слизились, что не выдвинули из своей среды ни одного человека в думу московского великого князя, а некоторые представители, из числа испомещенных в Новгороде, опустились до того, что стали служить дому святой Софии, т. е. новгородскому владыке, что для представителей боярских фамилий было большой деградацией» (там же, с. 75).

² Там же, с. 96.

³ О гибели этого Ратшича, зарезанного рукою самого Ивана Грозного, писал Карамзин, полагавший, что боярин, не виновный в заговоре, был оклеветан. С. Б. Веселовский заметил, что, во всяком случае, «Иван Грозный не нашел нужным проверить клевету»; что «И. П. Федоров вырос в вековых традициях верной службы и преданности своему государю, но в то же время был исполнен чувства личного достоинства и гордости своим высоким положением. Огромное богатство, отсутствие детей, высокое положение и преклонный возраст — все это лишало его стимулов искать царских милостей, угождать царю и потакать его порочным наклонностям <...> Столкновение такого человека с Иваном Грозным было неизбежно, и И. П. Федоров и его жена предвидели это: царь надеялся получить имущество казнепрого, но оно оказалось своеевременно подаренным Троицко-Сер-

«В общем можно сказать,— замечает историк,— что при Иване Грозном Пушкиных разных фамилий было не менее 90 человек, из которых в дворянах служили 53 человека. Таким образом, около трети Пушкиных по своему служебному положению не имели случая обратить на себя внимание Ивана Грозного и попасть под его горячую руку. Тем не менее несколько Пушкиных все-таки пострадало от опальчивого царя»¹.

Гибель нескольких крупнейших представителей «клана» открывала возможность «повышения служебного уровня» у прямых предков Пушкина, служивших в опричнине; сведения об этом, мешаясь со смутными домашними преданиями, и могли вызвать представление поэта, будто грозный царь Пушкиных не обижал².

История рода, смутно различаемая в XIX веке, меж тем приближается ко временам, уже попавшим под пушкинское перо.

Гаврила Григорьевич³ Пушкин принадлежит к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Другой Пушкин во время междуцарствия, начальствуя отдельным войском, один с Измайловым, по словам Карамзина, сделал честно свое дело.

После Ратши это — первое имя, не растворенное во «многих Пушкиных», и не случайно: ведь до появления в Записках этот предок уже «побывал» в героях «Бориса Годунова» (Пушкин, как известно, заметил его в XI и XII томах Карамзина).

В «Борисе Годунове» Гаврила Григорьевич действует весьма активно и, вместе с роднею, удостаивается царского: «Противен мне род Пушкиных мятежный». Мы, конечно, не сомневаемся, что «Раб божий Пушкин на городище Ворониче, в лето 7233-е» думал о связи времен и о себе самом. Несколько позже, в «письме о «Борисе Годунове», Пушкин пишет о

гиеву и другим крупнейшим монастырям» (Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 94). Р. Г. Скрыников находит в этой истории «провокацию» Ивана Грозного. См.: Скрыников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975, с. 131—132. Пушкин, по всей видимости, не понял близкой связи этого эпизода с историей своего рода.

¹ Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 91.

² Опричниками были, между прочим, прямые предки Пушкина Семен Михайлович и Тимофей Семенович; последний в начале XVII века, «уже в преклонном возрасте», достиг высокого положения в центральном и местном управлении. См.: Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 98.

³ У Пушкина явная описка: «Григорий Гаврилович».

предке примерно в том духе «веселого историзма», который, применительно к более поздним Пушкинам, сердил Сергея Львовича: «Гаврила Пушкин — один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных бумагах. Он был очень талантлив — как воин, как придворный и в особенности как заговорщик. Это он и Плещеев своей неслыханной дерзостью обеспечили успех Самозванца. Затем я снова нашел его в Москве в 1616 году, заседающим в Думе рядом с Козьмой Мининым, потом воеводой в Нижнем, потом среди выборных людей, венчавших на царство Романова, потом послом. Он был всем чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотою, которую я нашел в Погорелом Городище — городе, который он сжег (в наказание за что-то), подобно проконсулам Национального Конвента» (XIV, 47; ориг. на франц. яз.). В 1830-м, в «Оправданиях на критики...», Пушкин написал еще: «В царствование Бориса Годунова Пушкины были гонимы и явным образом обижаемы в спорах местничества» (XI, 160).

Превращая «Оправдания...» в Записки, поэт, однако, убирает все слишком частное, отдающее жалобой или восхвалением. Масштабы делаются крупнее, будущий читатель более обращен не к семье, а к истории. Перефразируя известный ответ самого Пушкина, можно сказать, что свой род, своих предков он старается числить «по России»¹.

С. Б. Веселовский же, 100 лет спустя знающий то, чего Пушкин знать не мог, вносит корректизы; и как ни легко воскликнуть: «Мечты поэта — историк строгой гонит вас!» — как ни легко, но сравнение того, что знает XX век о XVI, с тем, что знал XIX-й, дает разнообразные поводы для размышлений. Итак, С. Б. Веселовский замечает: «Пушкин прекрасно усвоил все, что написал о царе Борисе Карамзи. Других источников по этому вопросу и семейных преданий у Пушкина, очевидно, не было. Не освоившись с чтением памятников XVI — XVII вв., А. С. Пушкин понял 161-е примечание Карамзина к т. XI «Истории государства Российско-

¹ С. Б. Веселовский полагал, что Пушкин сильно преувеличивал гонения на его предков при Борисе Годунове (см.: Веселовский. Указ. соч., с. 109). Эта aberrация, однако, стала художественным фактом, поскольку отразилась в драме «Борис Годунов»; недавно были высказаны соображения о том, что отправка Г. Г. Пушкина воеводою в Сибирь (1601 г.) была все-таки весьма серьезной опалой (особенно учитывая, что Гаврила Пушкин был женат на падчерице Ивана Грозного Марье Мелентьевой). См.: Скрыников Р. Г. Борис Годунов и предки Пушкина.— «Русская литература», 1974, № 2, с. 131—133.

го» как указание на ссылку нескольких Пушкиных при царе Борисе в Сибирь. Это служило для него объяснением поведения Гаврилы Пушкина. Сознавая в самом себе «мятежный» дух, А. С. Пушкин воссоздал образ Гаврилы Григорьевича и вложил в уста царя Бориса известную фразу о «мятежном» роде Пушкиных¹. На самом деле, по мнению историка, «ни о какой «мятежности» рода Пушкиных не может быть и речи. Даже Гаврила Григорьевич, который в изображении А. С. Пушкина должен был представлять мятежный род Пушкиных, в действительности был больше ловким и осмотрительным человеком, чем смутьяном и мятежником»². Веселовский отыскивает для Смутного времени куда более авантюрные и бунтующие фамилии — например, Грязных-Ильиных³.

Соображения авторитетного исследователя резонны, но ведь невозможно отрицать, что реальный Гаврила Пушкин все же весьма примечательная, яркая, самобытная фигура, пусть второго плана; и это особенно впечатляло гениального потомка, жившего в эпоху ничтожной политической активности Пушкиных (в соответствующих строках «Опровержений на критики» поэт написал сначала: «Г. Г. Пушкин <...> принадлежит к числу замечательных лиц той эпохи, столь богатой историческими характерами»; XI, 160—161).

Напомним же (по Веселовскому) основные «главы» Гавриловой биографии.

1581 г.: Гаврила Пушкин числится в разрядах как стрелецкий сотник.

1601 г.: служба «письменным головою» (помощником воеводы) в Пелыме.

1603 г.: в чине стряпчего с окладом 20 рублей.

1604 г.: при известии о самозванце Гаврила Пушкин — на важном посту городского воеводы в Белгороде.

1605 г.: он появляется в лагере Лжедмитрия в Крапивне.

Вскоре после того Гаврила Пушкин вместе с Наумом Плещеевым прибывает в Москву с «прелестной грамотой» и является с толпой мужиков из Красного села на Красную площадь: «Московское государство прельстил и на Ростригино имя к крестному целованью привел»⁴.

1605—1606 гг.: Лжедмитрий I на престоле. Гаврила «по-

¹ Веселовский С.Б. Указ. соч., с. 112.

² Там же, с. 119.

³ Там же, с. 120.

⁴ Из документа 1627 года. См.: Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 111.

жалован сокольничеством и в думу»; вскоре опять — воевода в Белгороде; вместе с братом Григорием Григорьевичем присутствует на свадьбе и при убийстве самозванца и тут же легко переходит на службу к Василию Шуйскому.

1606—1610 гг.: братья Гаврила и Григорий Пушкины служат Шуйскому, сражаются с тушинцами, поляками, восставшими крестьянами.

1610 г.: царя Василия низлагают и «спустя день из дворян князь Василий Тюфякин, Гаврило Пушкин да князь Федор Волконский с товарищи, и из мелких людей, без патриархова ведома и без боярского приговору, самоволством, собрався, царя Василия постригли и с царицею»¹. Таким образом Гаврила Пушкин «с товарищи» обезопасили свое будущее от мести.

1611—1613 гг.: разнообразные битвы, походы.

1613 г.: успешное сражение с поляками близ Устюжны.

1614—1615 гг.: воеводство в Вязьме.

1618 г.: возглавляет Челобитный приказ.

1619 г.: сверх того и Разбойный приказ.

1626 г.: уходит от службы по болезни.

Запимая место в боярской думе и «министерские» должности во главе приказов, приводя Москву к присяге Лжедмитрию и постригая Василия Шуйского, Гаврила Пушкин действительно относится «к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев». Верно и то, что брат его Григорий, по кличке Сулемша, был, как видно, способным военачальником; заметим возле его имени уже второе — и не последнее — употребление Пушкиным слова *честный*, *честной* (Радша «муж честный», Григорий «сделал честно»): смысл слова меняется — и Пушкин с удовлетворением это отмечает, как совпадение благородства номинального (дворянин — «честной», благородный по определению) с благородством реальным. Здесь отражается его утопическая мечта, чтобы дворянство стало действительным лидером нации.

Четверо Пушкиных подпалились под грамотою о избрании на царство Романовых, а один из них, окольничий Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру).

В одной фразе поместились около 60 лет, потому что грамота об избрании Романовых была в 1613 году, а Матвей Степанович (внук Гаврилы Григорьевича!) подписался под соборным деянием 1682 года.

¹ См.: Веселовский С. Б., Указ. соч., с. 115.

Общее в двух половинах длинной фразы — участие Пушкиных в главнейших государственных делаах, причем тех, которые требовали совета: поэт не имел данных, а то бы не преминул отметить, что десять Пушкиных участвовали в соборе 1598 года, посадившем на царство Бориса¹.

Земские соборы, активно действовавшие в XVI—XVII столетиях, занимали в то время не одного Пушкина. Повествование Карамзина не успело достичь 1613 года, но историк писал о земских соборах XVII столетия. Декабристы, как известно, были склонны к идеализации старинных русских вольностей.

Видная масонская ложа, давшая не одного декабриста, именовалась «ложей избранного Михаила» — в честь избрания первого Романова на соборе 1613 года².

Найдя у Карамзина упоминание о четырех Пушкиных, участвовавших в выборе новой династии, поэт летом 1825 года писал Дельвигу с иронической горестью: «Видел ли ты Николая Михайловича? Идет ли вперед История? Где он остановился? Не па избрании ли Романовых? Неблагодарные! 6 Пушкиных подписали избирательную грамоту! да двое руку приложили за несумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? где я...» (XIII, 182). Позже Пушкин колеблется, указывая разное число предков, выбравших на царство Михаила: Н. Н. Раевскому-младшему будет говорить о «пяти подсиях»; в последних записках — о четырех; в «Моей родословной» сказано о грамоте Романовых: «Мы к оной руку приложили».

На самом деле в избрании династии участвовало семеро Пушкиных³.

Пронесенные через много сочинений мысли Пушкина о его предках на соборе 1613 года, о том, что Романовы обязаны и Пушкиным,— все это было одной из форм ропота, подчеркивало уверенность поэта в своем праве на иную судьбу...

Впрочем, полемическое «бывало нами дорожили» («Моя

¹ См.: Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 102. Приговор того Земского собора был напечатан во II томе «Актов Археографической экспедиции» в 1836 году, за несколько месяцев до гибели Пушкина.

² См.: ЛН, т. 60, кн. 2, с. 62.

³ См.: Пушкин. Письма, т. I. М.—Л., 1926, с. 455. Коммент. Б. Л. Модзалевского. На соборе Пушкиных могло быть и больше: С. Б. Веселовский отмечает, что род был представлен «самыми незначительными по службе»: более важные Пушкины отсутствовали, так как были на воеводстве, а Гаврила Григорьевич бился с поляками. См.: Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 123.

родословная») почти не звучит в Записках. Общий взгляд здесь более широк: не в царском отношении дело, а в истории... На 1613 году необходимый историзм сталкивался, однако, с горячей современностью: аналогии тех выборов с «конституционными вопросами» начала XIX века для многих явно были интереснее, чем реальная историческая разница¹. Двадцатилетний А. И. Тургенев, приехав в Москву в 1803 году, мечтает в ходе своих работ в архиве отыскать «условие, которое поднесли бояре Михаилу Федоровичу. <...> Оно может решить вопрос: какому образу правления отнести русское — к неограниченной ли монархии или к ограниченной? Назначен ли тем род совета или сената, с которым государь разделять должен законодательную власть, или нет? И надобно ли почитать неограниченное правление русских государей, как похищение непринадлежащей им власти, или и в самом деле, и условие сие дает право государю на неограниченное правление. Последнее сомнительно: иначе для чего бы по сю пору не публиковать сей интересной и важной древности»².

Для более широкого представления об этом полусекретном мотиве, общественном контексте последних Записок поэта, напомним еще два суждения, высказанные в конце 1830—начале 1840-х годов, совершенно независимо друг от друга и от Пушкина.

В 1830—1840-х годах в селе Урик близ Иркутска Никита Муравьев в примечаниях к луинскому «Разбору Донесения тайной следственной комиссии в 1826 году» писал:

«Московские великие князья, как прежде киевские и суздальские, стремились к единовластию (монархизму), которое впоследствии смешали с самовластием или самодержавием <...>

После торжества народной доблести над внутренним неустройством и врагом, которому временные только обстоятельства доставили превосходство, великая Земская дума, в 1613 году, приступила к избранию царя. По избрании Романовых, проявляются более явственные следы государственного устройства. Романовы не имели других прав, кроме воли народной, изъявленной великою Земскою думою <...>

При вступлении на престол Петра I, кроме царской власти, находились в России еще два начала устройства: первое — собрание представителей, под наименованием Земской

¹ См.: Черепин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв. М., 1978, с. 3—7.

² Архив братьев Тургеневых, вып. 2. СИб., 1911, с. 225—226.

думы или государственного собора, могущих обратиться в парламент, если б их собрания были периодические в установленные единожды сроки, круг действия определен и внутреннее их устройство основано на благоразумных началах, необходимых для законодательного собрания; второе начало — тогдашнее духовенство. Петр не собирая Земской думы, пренебрегая мнением своего народа и отстраняя его от непосредственного участия в своих делах»¹.

В 1842 году в Париже князь П. В. Долгоруков под псевдонимом граф Альмагро напечатал сенсационный труд «Заметки о главных фамилиях России». Многие места этого сочинения были неприемлемы для правительства Николая I, в особенности рассуждения о том, что Романовы в 1613 году обещали советоваться с народом, но затем не сдержали слова.

Вскоре власти затребовали автора в Россию и подвергли репрессиям. 28 марта 1843 года *«Journal de débats»* сообщала: «Брошюра Долгорукова произвела громадное впечатление при дворе, словно она содержала ниспровержательные идеи и опаснейшие тенденции. Вот место, которое особенно сильно задело императора Николая: «Конституция, которой Михаил Романов присягнул в 1613 году, а его сын и наследник Алексей — в 1645, не разрешала государю без предварительного обсуждения обеих палат <земского собора, боярской думы> устанавливать новые налоги, заключать мир и приговаривать к смерти.<...> Петр I, который видел мало толку в конституционных формах, упразднил обе палаты, и после того ни одна русская книга не смела о них упоминать. Однако официальные документы сохраняются в государственных архивах»².

Газета *«Temps»* 29 марта 1843 года сообщила, что нельзя было нанести худшего оскорбления Николаю I, как напомнить, что он занимает трон согласно конституционным условиям: «Император Николай к тому же имеет личные, особые мотивы гневаться на эти напоминания, так как он знает, что заговор 1825 года, который имел среди своих вождей Трубецкого, стремился к установлению конституции 1613 года, уничтоженной с основанием Петербурга»³.

Пушкин, как отмечалось, в 1830-х годах не слишком увлекался конституционализмом, однако нельзя и преумень-

¹ «Полярная звезда», кн. 5. Лондон, 1859, с. 67—68.

² См.: Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. М., 1973, с. 299.

³ Там же, с. 299—300.

шать его интерес к старинным сословно-представительным учреждениям, неслучайному фактору русской истории.

Пока же повторим, что в последних Записках, как и в более ранних сочинениях,— постоянный мотив фамильного, личного участия в истории; право на историю, предъявляемое поэтом и человеком. «Гордиться славою своих предков,— писал и печатал Пушкин еще в 1828 году,— не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. <...> Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» (XI, 55).

Родовая гордость по поводу 1613 года — еще одного «честного дела» — прерывается внезапно резким упреком одному из пращуро^в, Матвею Степановичу Пушкину, за содействие царям в отмене местничества — поступок, «что мало делает чести...»

Приближаясь к новому времени, рассказ Пушкина попадает в особенно темные, « pitchи времена», которых не достигал в своей истории Карамзин и откуда почти не просочились семейные предания. Это эпоха, когда на «государевой службе» находится уже прапрадед поэта Петр Петрович Пушкин, побывавший в тульских воеводах и на важных судебных должностях, ходивший в Крымские походы¹. Если бы правнук знал, он непременно бы отметил, что этот его прямой предок тоже был участником собора, отменившего местничество². Однако общий успех рода Пушкиных в конце XVII века был все же связан именно с продвижением Матвея Степановича, который тогда был «самым значительным представителем рода Пушкиных»³. Поэт, как видим, верно выбирает одно имя из многих, но бросает пращуру странный с виду упрек.

Разве может просвещенный потомок в XIX веке серьезно восхищаться суровым режимом местничества, при котором знатный дурак сидел «выше» худородного умника? Вспомним:

Царь

Не род, а ум поставлю в воеводы;
Пускай их спесь о местничестве тужит;

¹ См.: Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 129—130.

² Там же, с. 139.

³ Матвей Пушкин был боярином, смоленским воеводой, послом в Польше, затем воеводой в Киеве, Астрахани, главой Разбойного, Сыскного, Судного приказов, Расправной палаты. См.: Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 124, 137.

Пора презреть мне ропот златной черни
И гибельный обычай уничтожить.

Пушкин, кажется, мыслит здесь о «гибельном обычae» одинаково с царем Борисом, но притом мы находим в сочинениях поэта и такие суждения: «Иностранцы, утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятия о чести, очень ошибаются. Сия честь, состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условия правила, во всем блеске своего безумия видна в древнем нашем местничестве. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословные распри». Далее сказано о царе Феодоре Алексеевиче, который, «уничтожив сию гордую дворянскую оппозицию, сделал то, на что не решались ни могущий Иоанн III, ни петерпеливый внук его, ни тайно злобствующий Годунов» (XI, 54).

Как любопытно! То, что звучит столь справедливо, «прогрессивно» в трагедии, позже отнесено к «тайной злобе» Годунова. Прогресс за счет чести! Предку Матвею Пушкину «мало делает чести» то, что он отступил от «гордой оппозиции», от «блеска безумия».

Речь идет о чувстве собственного достоинства. Исторический подход требует судить исторического деятеля по законам его времени, его нравственности. Современный ученый, правда, вряд ли согласится с поэтом, будто знатный боярин, отказываясь от местничества в 1682 году, «терял честь»; можно было бы привести и контраргумент — что здесь сказалось как раз благородство Матвея Пушкина: ведь с отменой местничества ему было что терять, в отличие от «худородных дворян», которые — приобретали. Однако мы не ограничимся тем мимолетным удивлением, что мелькает в старых работах по поводу не очень понятной «обмоловки» поэта¹. Заметим, во-первых, его горячее, пусть не всегда успешное стремление к историзму; а во-вторых, в строках о Матвее Степановиче XVII век мгновенно ведь сопрягается с XIX. Подразумевается не столько давний Пушкин, сколько нынешний... Незадолго, вероятно всего за несколько месяцев до начала последней автобиографии, обиженный, униженный придворным хамством, откровенным вскрытием и чтением своих домашних писем, Александр Сергеевич пишет и повторяет: «Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога...»

Честь, личное достоинство — вот за что он будет держать-

¹ См.: Маркевич А. И. О местничестве. Киев, 1879.

ся до последнего вздоха и в чем будет строг, суров даже к отдаленному предку.

Вслед за «сплоховавшим» Матвеем Степановичем в Записках появляется судьба прямо противоположная.

При Петре I сын его, стольник Федор Матвеевич уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Цыклером и Соковниным.

Можно было бы добавить, что заговор Алексея Соковнина и Ивана Цыклера (1697 г.) вызвал жесточайшую опалу самого Матвея Степановича, которого лишили боярства, сослали в Енисейск, конфисковали имущество. В Сибири он вскоре умер. Катастрофа 1697 года «вывела навсегда весь род Пушкиных из среды московской знати и из правящих верхов государства»¹.

В «Оправдании на критики» сказано о предках: «При Петре они были в оппозиции» (XI, 161).

Историк, работающий в XX веке, находит здесь несколько петочностей. «Выражения «оппозиция» Пушкиных деятельности Петра I и «неукротимость» родни Ф. М. Пушкина представляются неудачной и неверной характеристикой сообщников Алексея Соковнина и Ивана Цыклера. Немного дерзко звучит и выражение, что Ф. М. Пушкин был повешен (не повешен, а обезглавлен) за то, что «не поладил» с Петром I»².

Неведение поэта интересно само по себе, как показатель — что знали, чего не знали, не хотели знать его отец, дядя, деды и бабки. В первой трети XIX века было уже нелегко разобраться в таком, казалось бы, важнейшем семейном событии, как опала, крах 1697 года. Пушкину уж не разглядеть — при Петре или Екатерине II «присмирел» «род суровый»; однако общий дух подавления новым государством старых вольностей верно уловлен. Поэтому, когда современный нам историк поправляет, уточняет семейные наблюдения поэта, мы ведь не можем забыть, что само это уточнение делается ради Пушкина, под влиянием его существования, как интерес к его интересу...

С Петром мой прапур не поладил
И был за то повешен им...

Действительно, Федор Пушкин был не повешен, а обезглавлен,— по тем примечательнее «ошибка» потомка: ведь именно виселица была навязчивым пушкинским образом.

¹ Веселовский С. Б. Указ. соч., с. 135.

² Там же.

Вспомним знаменитый рисунок — пять повешенных декабристов; вспомним —

Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

При том, что дело Соковнина — Цыклера не обнаружено, С. Б. Веселовский приводит интереснейшие факты, от которых бы поэт тоже не отказался, если б мог их добыть: лидер заговора Соковнин (из клана Морозовых — Милославских, родственников царя Алексея Михайловича по первой его жене) был родным братом знаменитой боярыни Морозовой и тесно связан со старообрядческой средой. Веселовский полагает, что, если б Пушкин все это знал, он не применил бы к столь архаической форме протеста новейшее словцо «оппозиция».

Тут, однако, можно спорить с историком. Пушкин одновременно глядел на те события из двух времен: как историк — из XVII века, стараясь постичь прежде всего дух того времени. Однако и слово «оппозиция» — нарочитое: ведь Петр уже принадлежит новой цивилизации, в которой живет Пушкин, и поэтому возможен, естествен обратный взгляд на ту эпоху из 1830-х годов; оценка, не отменяющая того, первого исторического воззрения, но причудливо с ним соединяющаяся.

И Пушкин знает, что делает, когда представляет будущему читателю если не одобрение, то все же удивление, уважение к Федору Матвеевичу Пушкину: с самим Петром тягаться — поступок дерзкий, гордый, безумный. *Ай да Пушкины!* («Упрямства дух нам в с е м подгадил...»)

Величие, историческая обусловленность реформ Петра для Пушкина несомненны. Однако его интересует отнюдь не только сумма противоборствующих сил, но и каждое историческое слагаемое в отдельности; иначе Евгений в «Медном Всаднике» — совсем не важен, а важно только торжество «исполина». Между гигантскими общественными силами, как между сталкивающимися скалами и хребтами, отыскивается место для отдельного человека, которому нужно с честью, честно служить и себя сохранить.

Но вот уже Записки вступают во времена недальних предков, в XVIII столетие.

Прадед мой Александр Петрович был женат на меньшой дочери графа Головина, первого Андреевского кавалера. Он умер весьма молод, в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах.

В неоконченном предисловии к «Борису Годунову» эти строки чуть дополнены: убийство «в припадке ревности или сумасшествия», убийца умер «в заточении» (XI, 161). В Записках же Пушкин решил, как видно, «пропустить» одну из тюрем, в которых так часто оказывались его предки.

Впрочем, уже второй Пушкин (на кратком расстоянии нескольких строк) — горяч, бешен, безумен: вот каковы были Пушкины — северные, еще и не породнившиеся с южными Ганнибалами!¹

Родство с видным петровским сподвижником Головиным, казалось бы, открывало пути новой фортуны, но — «умер весьма молод... зарезав...»².

Между прочим, здесь возникает и далее продолжается (сознательно или подсознательно?) тема случайности, чуть не обрывающая роковым образом ту линию жизни, которая ведет к нему, поэту: у Александра Петровича мог бы и не родиться сын, если бы он убил жену чуть раньше, — и не появился бы тогда 76 лет спустя Александр Сергеевич; так же случайны Ганнибалы на Руси, так же необыкновенны многие обстоятельства жизни единственного сына Александра Петровича и деда Александра Сергеевича.

Лев Александрович служил в артиллерии и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III. Он был посажен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях.

Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась — чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постель всю разряженную и в бриллиантах. Все это знаю я довольно темно. Отец мой никогда не говорит о странностях деда, а старые слухи давно перемерли.

¹ Об этом эпизоде см.: Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981, с. 9—10.

² Пушкин не знал о неурядицах в семье своего прямого прапрадеда, Петра Пушкина, а то, возможно, внес бы в «домашнюю летопись» рассказ о том, как пррапрапрабабка Анастасия Афанасьевна была сослана царем Алексеем Михайловичем в монастырь за длительную связь со своим двоюродным дядею князем Иваном Козловским. См.: Вегнер М. Предки Пушкина. М., 1937, с. 159—160.

Начинаются времена, уже доступные расспросам,— у Пушкина есть «общие знакомые» с участниками переворота 1762 года, может быть видевшими в ту пору деда-артиллериста¹.

В начале последних Записок Пушкин обязался быть «осмотрительнее»; но вот — не очень уж осмотрительное показание: дед явно норовит плетью перешить обух. Подобно старшему родственнику, Федору Матвеевичу Пушкину, дерзнувшему на Петра I,— младший дерзнул за Петра III, против Екатерины,— и семьдесят лет спустя доставил этим немалое удовольствие внуку Александру Сергеевичу:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость в карантин.
И присмирил паш род суровый...

Честный служака, который верен своему убеждению, даже вопреки логике и уж безусловно против своей выгоды: таких Пушкин-впук уважает. Не разделяет их стариных взглядов, но хорошо понимает, где достоинство, а где — потеря самого себя.

Пусть отмена местничества — дело прогрессивное, но осуждается предок, уронивший себя подобострастным соглашением с тогдашней царской волей и потерявший, по мнению поэта, тогдашнюю честь.

Петр III умом слабенек и потакает чуждым интересам — но Лев Александрович сам собою распорядился, а потому — молодец; как Андрей Гавrilovich Дубровский (в черновике повести он — на стороне Петра III, а Кирила Петрович Троекуров преуспел благодаря родству с княгиней Дашковой, соратницей Екатерины II; см. VIII, 755). Похож на дедушку Льва Александровича и отставной майор Андрей Петрович Гриппев, отец героя «Капитанской дочки»; наконец, Иван Петрович Берестов, отец героя «Барышни-крестьянки», «вышел в отставку в начале 1797 года», то есть не захотел терпеть унижений от недавно воцарившегося Павла I.

¹ По артиллерию числились многие пушкинские родственники: прадед, дед, дядя, а также — с материнской стороны — прадед, дед и несколько дедовых братьев: надо подумать, что означает такое «единство службы»? Может быть, причастность к тому слову, который позже назовут «технической интеллигенцией» (или вдруг — обратное влияние фамилии, требовавшей находиться у пушек)?

Кроме политической непокорности, дед, однако, еще бушует и по «семейственной линии» — бешено ревнует, расправляется не хуже прадеда Александра Петровича.

Самое раннее, полуслутиловое упоминание о семейных делах Льва Александровича находим в письме Пушкина невесте из Болдина (30 сентября 1830 г.): «Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка (где, замечу в скобках, мой дед повесил француза-учителя, аббата Николя, которым был недоволен)» (XIV, 417, ориг. на франц. яз.)

. Имя злополучного аббата более нигде не упоминается. Не станем, конечно, буквально понимать пушкинскую реплику, написанную в особом настроении; напомним, что за дедушкой Львом Пушкиным значились еще «непорядочные побои», напесенные венецианцу Меркадио...

Создается, однако, впечатление, будто поэт только что, в Болдине, или совсем незадолго перед тем узнал про старинный эпизод (вплоть до имени учителя!). В имении, где хозяином некогда Пушкин-дед, потом долго жили его сыновья от первого, несчастного брака¹. Другой же источник семейных преданий — последние беседы с недавно умершим дядей Василием Львовичем: он скончался, можно сказать, на руках племянника, за месяц с небольшим до цитированного письма к Н. Н. Гончаровой.

Самодурство, феодальная дикость — по почему же так легко определить взгляд на все это самого Александра Сергеевича? Конечно, дед порицается, морально осуждается — мелькнули слова «жестокий», «довольно от него натерпелась»... Но притом дед не только «жестокий» — *пылкий!* И как не заметить некоторую пушкинскую усмешку, улыбку, сопровождающую описание очень страшных обстоятельств.

Духом, манерой повествования Пушкин дает понять, что таких «экземпляров», как дедушка, слава богу, в XIX веке нет и быть не может, но, увы, исчезают и подобные страсти, такое неудержимое (пусть зверское, варварское) стремление к личному «самостоянию»...

В. О. Ключевский справедливо писал о людях вроде Гав-

¹ Николай Львович Пушкин (1745—1821), а также Петр Львович Пушкин (1751—1825), чью долю в селе Кистеневке, как известно, унаследовал поэт.

рилы Афанасьевича Ржевского в «Арапе Петра Великого»: «Это характеры резкие и жесткие, но хрупкие и по недостатку гибкости неживучие: они вымерли уже при Екатерине II»¹.

Подобные мысли не раз уже иллюстрированы в этой книге (в связи с Пугачевым, Гриневым, Нащокиным, Павловом).

Отцы и деды своевольничали, но зато были необыкновенно сильны духом и оттого совершали — для себя, для тех, кому служили, — замечательные дела.

Теперь же требуется как будто только исполнение, послушание...

Еще через несколько лет другой поэт, «печально» глядящий на свое поколение, найдет:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад...

Впрочем, Пушкин в Записках своих, как видим, ни на чем не настаивает и совсем не оценивает: представляя темную хронику рода, он как будто колеблется, ибо все это знает «довольно темно». Сомнение в фактах, казалось бы, требовало воздержаться от слишком колоритных домашних подробностей, и Сергей Львович остался бы вполне доволен «Моей родословной», да Александру Сергеевичу мало. Объективность требует уравновесить прежние, слишком пылкие доводы за свою фамилию должным снижением картин, образов, здравым историческим подходом.

Тем более что после Льва Александровича в Записках сразу являются другие фигуры, не менее *пылкие*.

¹ Ключевский В. О. Очерки и речи. Второй сборник статей. М., 1913, с. 62. Пушкин в своем сочинении лишь изредка отходит от рассказа о прямых предках, характеризуя наиболее интересные, с его точки зрения, боковые линии. О богатстве историко-литературных ассоциаций поэта, связанных с родственной фамилией Ржевских, см.: Телетова Н. К. Указ. соч., с. 60—114.

ГАННИБАЛЫ

Родословная матери моей еще любопытнее.

Перед нами самое позднее и наиболее целостное пушкинское обращение к необыкновенному прадеду: «Считая его лицом историческим, Пушкин не только изобразил его в «Арапе Петра Великого», впервые в русской литературе сделав африканца главным героем классического романа. Поэт <...> собирал материалы о нем и, стремясь стать биографом его, заявил в печати, что со временем падеется «издать полную его биографию»¹.

Для того чтобы понять место последнего обращения к Ганибалу в историко-генеалогических разысканиях поэта, нужно сначала расставить в хронологическом порядке все прежние «ганибаловы строки»².

До 1824 года. Ни в сочинениях, ни в письмах поэта нет упоминаний об Абраме Петровиче ГанибALE. Домашние предания еще, очевидно, не стали историко-литературной темой, и с той же легкостью, с какой были потеряны или выброшены в Лицее письма бабки Марии Алексеевны, игнорировались также колоритные подробности о прадеде, столь мало интересные для юного поколения 1810—1820-х годов.

1824 г. «Тень Ганибала» впервые возникает в Одессе, в дни тоски, размышлений о побеге:

Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил³.

Осень 1824 г. Пушкин приезжает в Михайловское с иными, чем прежде, взглядами на историю. Вот-вот начнется «Борис Годунов».

¹ Фейнберг Илья. Читая тетради Пушкина. М., 1981, с. 68.

² Новейший свод материалов — в цитированной работе Н. К. Телетовой, а также в кн.: Лед Георг Абрам Петрович Ганибал. Таллин, 1980 (в этом труде жизнь Ганибала рассмотрена в основном как яркий эпизод XVIII века и куда меньше — как объект пушкинского интереса и изучения).

³ Эти строки из I строфы первой главы «Евгения Онегина» (VI, 26), очевидно, были написаны весной 1824 года, судя по дате «8-е апреля» (1824) возле черновика III строфы (VI, 253).

Тогда-то и являются в гости «забытые предки».

Сентябрь. Визит к престарелому двоюродному деду Петру Абрамовичу Ганнибалу и первое знакомство с «Немецкой биографией» прадеда.

Без этого документа не было бы «Арапа Петра Великого», «Моей родословной», еще нескольких стихотворных и прозаических отрывков. Не было бы и Ганнибаловой части последних Записок.

Давно было замечено, что Ганнибалова биография записана скорее со слов умиравшего генерал-аншефа. Одно место текста, кажется, объясняет, как это происходило: «За восемь дней до смерти пребывал он в состоянии сильнейшего упадка сил, по столь хорошей памяти, что смог припомнить в полной точности события за много лет и их рассказать»¹. Очевидно, среди этого рассказа возникла и другая ситуация, описанная в биографии: «Еще в конце своих дней проливал сей достопочтенный старец слезы, вспоминая о нежнейшей дружбе и любви [к единственной сестре, погибшей много лет назад], так как, несмотря на его чрезвычайную молодость в момент этого трагического происшествия, это печальное воспоминание вставало перед ним как новое, во всех подробностях каждый раз, что он думал о сестре» (РП, 50).

Вспомним, что Ганнибал до того вел другие, французские записи (о чем знал Пушкин); что его называет И. Голиков среди лиц, оказавших ему помощь в написании «Истории Петра» (см. X, 4), — и тогда можно представить, что у А. П. Ганнибала были сравнительно большие мемуарные павыки, складывавшиеся в течение многих десятилетий и, возможно, развитые во время его заграничного путешествия: во Франции культура воспоминаний была достаточно высока.

Недавно история рукописной биографии Ганнибала была специально изучена Н. К. Телетовой². При этом был выяснен или уточнен ряд существенных обстоятельств, которые кратко перечислим, сопроводив некоторыми соображениями.

1. Изучив давно хранящуюся в Пушкинском Доме, но обойденную исследователями подлинную рукопись «Немец-

¹ Рукою Пушкина, с. 56, пер. с нем. яз. Далее ссылки на это издание — в тексте.

² Телетова Н. К. К «Немецкой биографии» А. П. Ганнибала.— Пушкин. Исследования и материалы, т. X. Л., 1982, с. 272—285.

кой биографии» (несколько отличающуюся от копии, которая перешла к Пушкину от П. А. Ганнибала), Н. К. Телетова окончательно установила, что автором ее был Адам Роткирх, муж младшей дочери Ганнибала Софьи Абрамовны. В составлении биографии А. П. Ганнибала, вероятно, участвовали в той или иной степени и его дети.

2. Дата сочинения оказалась более поздней, чем прежде предполагалось. Оно написано на бумаге с водяным знаком 1786 года, т. е. завершено по меньшей мере через 5 лет после кончины А. П. Ганнибала (это объясняет многие ошибки текста, в том числе неточные даты смерти Ганнибала и его жены)¹.

Заметим, однако, что старший сын А. П. Ганнибала Иван Абрамович назван в «Биографии» «генерал-лейтенантом и кавалером»; если «генерал-лейтенант» — буквальный перевод тогдашнего чина генерал-поручика, то следует иметь в виду, что с 22 февраля 1784 года старший сын пушкинского прадеда имел уже следующий чин генерал-апшефа²; отсюда следует, что первоначальные, черновые наброски «Биографии» составлялись еще в период между 1781 и 1784 годами, скорее всего по настоюнию Ивана Ганнибала — кстати, единственного из многочисленных сыновей Абрама Петровича, названного в рукописи торжественно, полным титулом; в «Биографии» есть и другие подробности, явно идущие от И. А. Ганнибала (например, о том, как отец хотел возобновить княжеский титул, а сын отговорил, ибо «княжеское достоинство требует и княжеского состояния»; РП, 53). После смерти старшего сына А. П. Ганнибала «Биография», как и другие семейные бумаги, перешла, естественно, к следующему по старшинству — Петру Абрамовичу, а от него — к Пушкину.

Пушкин, как известно (сам или с помощью П. А. Ганнибала), перевел немецкую рукопись, но не полностью, некоторые места трактовал не совсем так, как в подлинном тексте,— однако именно этот, собственный перевод и был последней, третьей «инстанцией» (1. Устные рассказы А. П. Ганнибала. 2. «Немецкая биография», 3. Пушкин-

¹ А. П. Ганнибал, скорее всего, умер 20 апреля 1781 года, а не 14 мая, как указано в «Немецкой биографии», Христина Матвеевна Ганнибал, скорее всего, 13 марта, а не 13 мая (вероятная описка «Немецкой биографии»). См.: Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина, с. 166.

² См.: Лееп Георг. Указ соч., с. 171.

ский перевод), многие элементы которой переходят затем в стихи, повести, статьи, исторические записи поэта...

После этого необходимого отступления снова вернемся к михайловским разговорам и впечатлениям поэта.

20 сентября 1824 г. Стихи к Языкову:

В деревне, где Петра питомец,
Царей, царя любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой арап,
Где, позабыв Елизаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей,
Я жду тебя...

Любопытно, что в черновом варианте было «прадед мой араб» (II, 836).

Строки о том, что прадед «позабыл» двор и «пышные обеты», о его мыслях «в охлажденны леты» — все это явно плавяно строками «Немецкой биографии» об отставке Ганибала при Петре III, после чего генерал «начал вторично, как мудрец, деревенскую жизнь в тишине и покое» (Пушкин перевел для себя: «попал он в отставку по болезни, подагре, и кончил жизнь философом»; ср. РП, 56, 38).

В послании к Языкову хорошо видно сопряжение судеб. В Одессе было — «под небом Африки моей»; в деревне — «о дальней Африке своей» думает «царей забытый однодомец». Прадед, покинувший столицу не по своей воле,— как и правнук, Пушкин.

В стихах уже обозначена и важная для всех последующих разговоров формула — «Петра питомец». Правда, определение «любимый раб» будет позже заменено: «царю наследник, а не раб».

Октябрь 1824 г. Обширное авторское примечание к L строфе первой главы «Евгения Онегина» об Абраме Петровиче Ганибали (VI, 654—656). Последние строки примечания: «Мы со временем надеемся издать полную его биографию» — тоже, конечно, подразумевают немецкую рукопись¹.

¹ Мнение Н. Г. Зеппера, будто поэт не был знаком с «Немецкой биографией», когда писал примечание к первой главе романа, справедливо оспорено Н. К. Телетовой (указ. соч., с. 117); явное совпадение некоторых реалий и в то же время некоторые ошибки, расхождения — все это легко объясняется тем, что Пушкин уже читал у П. А. Ганибала биографию прадеда, но еще не располагал ею. В то же время в

Конец октября 1824 г. Стихотворный набросок «Как жениться задумал царский арап...»: история «черного ворона» и «белой лебедушки» тоже взята из «Немецкой биографии», хотя какие-то подробности, вероятно, заимствованы из рассказов няни Пушкина «про старых бар» (Арина Родионовна было уже 23 года, когда скончался А. П. Ганнибал).

19 ноября 1824 г. На отдельном листе Пушкин записывает воспоминание о первом посещении псковской деревни и первой встрече с П. А. Ганнибалом.

Январь — февраль 1825 г. Увлечение Ганнибаловой темой продолжается. Отправив большое примечание к I главе «Евгения Онегина», Пушкин еще пишет брату Льву: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы» (XIII, 143).

11 августа 1825 г. Пушкин сообщает П. А. Осиповой, что едет к умирающему двоюродному дедушке, у которого «необходимо раздобыть записки, касающиеся моего прадеда» (XIII, 543).

Прежде поэт читал «Немецкую биографию», теперь он ее владелец.

31 июля 1827 г. в Михайловском начат «Арап Петра Великого». В 1829—1830 гг. отрывки публикуются в «Северных цветах» и «Литературной газете».

1830 г. Наскоки Булгарина и других литераторов по поводу «600-летнего дворянства» Пушкина и предка-негра, будто бы купленного «за бутылку рома», вызывают известную болдинскую отповедь: стихи «Моя родословная», а также незаконченное «Оправдание на критики...»; здесь многое из того, что после, в несколько измененном виде попадет в последние Записки поэта.

24 января 1831 г. Объяснение с Бенкендорфом по поводу хождения в рукописях «Моей родословной» (см. XIV, 42).

1835 г. — Пушкин составляет, примерно в одно время или несколько позже «Начала автобиографии», конспект

примечание введенены подробности, которых нет в биографии: например, рассказ о 19 братьях А. П. Ганнибала, о том, «как их водили к отцу с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома». Это, конечно, взято из устных рассказов П. А. Ганнибала.

труда И. И. Голикова «Деяния Петра Великого», не упустившая случая сделать выписки, касающиеся прадеда (см. X, 4, 265).

Строки о Ганнибale из *последних Записок* интересны в сочетании с прежними — и немало открывают в сложной пушкинской историко-художественной мастерской.

Старшему Ганнибалу отведено в «Начале автобиографии» больше места, чем всем Пушкинам, вместе взятым. Уже упоминавшееся примечание к I главе «Евгения Онегина» (1824 г.) девять лет спустя, в первом полном издании романа было заменено кратким: «Автор со стороны матери происхождения африканского» (VI, 655). В издании же 1837 года, вышедшем за несколько дней до смерти поэта, сделана отсылка: «См. первое издание «Евгения Онегина», которая еще требует размышлений: отчего Пушкин не повторил дословно фразу об «африканском происхождении»?

Так или иначе, но сокращение ганнибаловского примечания в 1830-х годах имело свои резоны: оно было слишком велико и резко выделялось среди примечаний ко всем восьми главам, теперь впервые собранным вместе. Кроме того, старое примечание, очевидно, не удовлетворяло Пушкина в полной мере, требовало уточнений, что и выявилось отчетливо в последних Записках.

Фантастическая судьба африканца, служившего затем восьми русским монархам, его политические взлеты и опалы, нелегкие обстоятельства семейной жизни — все это совпадает с переделками, в которые постоянно попадали деды-Пушкины, но притом и контрастно отличается от них: Пушкины — «в оппозиции» и за то в опалах; Ганнибал верно, преданно служит, но все равно не избегнет ударов судьбы.

Сходство столь разных людей, очевидно, объясняется их внутренней независимостью, самобытностью.

За каждой пушкинской фразой о Ганнибалах — либо фрагмент «Немецкой биографии», либо другие источники и предания, и почти каждый эпизод сегодня может быть дополнен или исправлен; это, повторим, имеет свой резон: дополняя, мы резче видим границы пушкинского знания и незнания, лучше понимаем, как он трактовал свои источники; в эпизодах, даже неизвестных поэту, стараемся угадать «потенциальную поэзию», понять их «невидимое место» в биографии поэта.

Родословная матери моей еще любопытнее. Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из серала, где содержался он аманатом, и отоспал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с польскою королевою, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганибал¹. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 года Ганибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах...

Приключения Ганнибала-ребенка столь необыкновенны, что смелый вымысел постепенно отступает перед фантастической реальностью... В настоящее время более или менее точно установлено, что прадед Пушкина родился в Эфиопии, скорее всего в 1696 году (а не в 1689-м, как выходило по «Немецкой биографии»)²; что в Турции он оказался летом 1703 года, отправлен в Россию осенью 1704-го, прибыл в Москву 13 ноября 1704 года.

Как трудно было и детям А. П. Ганнибала, и Пушкину доискиваться истины, как темны были подробности даже начала XVIII века — все это хорошо видно по разнобою в датах крещения арапа Петра Великого: Пушкин, вслед за «Немецкой биографией», указывает 1707 год; Петр Абрамович Ганнибал пишет о крещении «в городе Гродно»³. Наиболее вероятная дата — 13 июля 1705 года (когда царь Петр находился в Вильне; польской королевы, впрочем, там не было). Последняя дата подкрепляется недавно обнародованным свидетельством самого А. П. Ганнибала⁴.

Казалось бы, вопрос ясен; однако в другом источнике, прошении на имя императрицы Елизаветы Петровны, А. П. Ганнибал сообщал, что был привезен и крещен в Москве в 1706 году (РП, 864).

В «Немецкой биографии» сообщается, что абиссинский князь «горделиво возводил свое происхождение по прямой

¹ Пушкин писал обычно фамилию прадеда с одним «н»: Ганибал.

² См.: Лееп Георг. Указ. соч., с. 15; Н. К. Телетова полагает (указ. соч., с. 122), что «днем своего появления на свет Ганибал считал 13 июня (ст. ст.) 1696 г.».

³ См.: Телетова Н. К. Указ. соч., с. 173.

⁴ См.: Фейпберг Илья. Читая тетради Пушкина, с. 77.

линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима»¹. Пушкин, как видим, не желает заходить так далеко и считать себя прямым потомком карфагенского полководца. Он даже небрежно-ироничен в отношении к предку: «сын владельческого князька». Любопытно, что недавно открылись новые факты, подтверждающие верность критического чутья у Пушкина. В посвящении «Геометрии и фортификации» императрице Екатерине I А. П. Ганнибал, перечисляя свои заслуги и достоинства, ни словом не обмолвился о своем особо знатном происхождении. Это понятно: вдове Петра I и ее окружению биография «Арапа» была хорошо известна; громкая фамилия Ганнибал появляется позже, в 1726 году он еще «Абрам Петров». Несколько же десятилетий спустя, при Елизавете Петровне, Екатерине II (когда сошли в могилу почти все свидетели первых лет российской службы А. П. Ганнибала), Ганнибал и его родные подчеркивают древность знатного африканского рода. Второй довод против завышенной родовитости (слабости, свойственной в ту пору большинству российских дворянских фамилий) — таинственная история с родным, при том старшим братом Абрама Петровича, Алексеем Петровичем: несомненно, он был привезен вместе с младшим, но, очевидно, ввиду отсутствия особых способностей, восемь лет был гобоистом Преображенского полка, а в 1716 году был женат на крепостной ссыльных князей Голицыных².

Исследователи с понятным удивлением констатируют отсутствие каких-либо упоминаний о «старшем арапчике» в документах Абрама Ганнибала: «Роткирху и детям Ганнибала он совершенно неизвестен»³.

Наиболее вероятное объяснение этому молчанию — что прадед Пушкина стеснялся, предпочитал не упоминать о тяжкой доле, низком социальном положении брата: в годы Петра I, когда поднялись многие способные люди из худородных дворян и даже «черни», это не могло иметь особого значения, однако в следующие царствования, когда рез-

¹ Изобретателем античной фамилии поэт-правнук ошибочно делает самого царя Петра, который, конечно, с детства слыхал о великом воине древности. Скорее всего, Пушкин опирается здесь на семейное предание, на дедушку Петра Абрамовича (пареченного, между прочим, в честь великого императора).

² Козлов В. Когда родился прадед Пушкина Ганнибал? — «Неделя», 1969, № 44, с. 19; Телетова Н. К. Указ. соч., с. 125—127.

³ Телетова Н. К. Указ. соч., с. 127.

ко возросла цена на реальный или мнимый аристократизм, гобоист, женатый на крепостной, компрометировал «африканского князя» и генерала...

Интуиция поэта подтверждалась позднейшими документами. Вообще же о детстве и юности Ганнибала в последних Записках говорится сравнительно кратко. Пушкин, возможно, считал эти материи уже отработанными, известными читателю по примечанию к I главе «Евгения Онегина». Зато усиlena тема Петра.

Фамильное стремление связать все достижения и прерогативы Ганнибалов с личностью этого царя понятно. Пушкин мог укрепиться в петровском происхождении фамилии, размышляя над версией («Немецкой биографии»), будто «смысленные арапчата» понадобились Петру, чтобы «показать сим пример» своим подданным, не желающим просвещаться¹.

Между тем позднейшие исследования показывают, что прадед поэта в основном именовался Абрам Петров, а Ганнибалом стал называться только после возвращения из Франции (первый раз сочетание «Арап Ганнибал» встречается в 1727 году)².

СЛУЖБА ВО ФРАНЦИИ

Потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен в одном подземном сражении (сказано в рукописной его биографии) и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганибал не горопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он неволить его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца.

Эти известия позже были в общем подтверждены другими материалами, но нигде ничего не сказано о «рассеянии большого света»: здесь, вероятно, тоже рассказ двоюродного дедушки, с которым юный поэт пил водку, «не поморщившись». Обнаруженные через много лет после гибели Пушкина отчаянные письма из Парижа Ганнибала и

¹ Любопытно отсутствие расового и национального ограничения: все было подчинено только сословным категориям. Поэтому сын африканской владетельной особы мог дослужиться до очень высокого чина генерал-аншефа.

² А нучин Д. Н. А. С. Пушкин (антропологический эскиз). М., 1899, с. 27—28.

других русских «стажеров» об их безденежье как будто показывают, что им было не до «большого света». Так, 8 октября 1717 года Абрам Петров и его напарник Алексей Юров пишут кабинет-секретарю А. В. Макарову: «...на плечах ни кафтана, ни рубашки почитай нет, мастера учат в долг. Просим по некоторому числу денег, чтобы нам мастерам дать, но наше прошение всегда вотице...»¹

Несколько преувеличеннное представление о светском и политическом весе Абрама Петрова, возможно, культивировалось его потомками как один из признаков особой милости Петра и во многом определило художественно-историческую позицию Пушкина по отношению к прадеду.

В 1830 году в «Моей родословной» полемически защищается (может быть, и преувеличивается) историческая роль Ганибала. Однако не в духе поэта был односторонний панегирик какому бы то ни было деятелю, в том числе и предку. Мы только что видели, с каким безжалостным историзмом представлен в последних Записках ряд предков по отцовской линии. Не сильно «подслащены» и Ганибалы: внимательный читатель легко бы нашел определенную разницу между тоном «Моей родословной» и Записок. Последние — реалистичнее, объективнее; приводятся подробности, не всегда достоверные, «снижающие» образы предков. Создается впечатление, что, парировав булгарские выпады, поэт был не полностью удовлетворен собственной позицией. Острота спора вынудила его в 1830 году несколько отступить от завоеванных уже рубежей объективности. Как знать, не в этом ли одна из причин прекращения работы над повестью «Арап Петра Великого»? Не отсюда ли стремление Пушкина подробнее объяснить свой взгляд на предков, избегая полемики, в «спокойных» Записках?

Судя по всему, Пушкин так и не успел узнать, что как Ибрагим, герой повести, так и Абрам Ганибал, герой Записок, несколько завышены. Их жизнь представлена более легкой, более придворной, чем она была на самом деле.²

¹ Это и другие письма сведены в книге Г. Лееда (с. 37—42) по материалам А. С. Ганибала, М. Вегнера, П. П. Пекарского, М. Д. Хмырова. Некоторые же исследователи считают, что содержание А. П. Ганибала и других «стажеров» было вполне достаточным, а «жалобные письма <...> простая дань эпохе, клянчить было тогда в обычаях» (Н. К. Телетова. Указ. соч., с. 139).

² В то же время, по справедливому замечанию И. Л. Фейнберга, «из духа противоречия» позднейшие комментаторы Пушкина стара-

Впрочем, в конце 1835 года, конспектируя Голикова, Пушкин обнаруживает и выписывает текст об «Авраме арапе» и его товарищах, писавших 17 октября 1722 года из Франции, что они «в свое отчество ехать готовы», но не могут этого сделать, пока не высланы деньги (Х, 265).

Легендарный поступок Петра, поразившего Ганибала своим великодушием, отступает перед более прозаической материей: не было средств на дорогу...

Кстати, эта выписка Пушкина — тоже довод насчет датировки Записок: они составлялись до знакомства поэта с письмом 1722 года — не позже конца 1835 года. Если бы в руки Пушкина попали ныне известные 14 писем Ганибала из Франции в Петербург, он мог бы сказать словами будущего исследователя (П. П. Пекарского) про «недостаток материальных средств и вообще крайнюю беззаботность, по милости которой молодые русские оставлялись в отдаленных краях совершенно на произвол судьбы, без всякой почти помощи»¹.

Итак, отношения Ганибала с Петром I даны в Записках «облагороженными» семейным преданием, «Немецкой биографией».

Более всего это относится к истории возвращения прадеда из Франции. После того как Петр сказал, что не оставит питомца,—

Тронутый Ганибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уж отыскать. Государь пожаловал Ганибала в бомбардирскую роту Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капитаном. Это было в 1722 году.

«Не мог отыскать» — значит, искал, расспрашивал, кое-что собрал, чего-то не сумел достать. Не нашелся «образ Петра и Павла»², не узнал Пушкин и нескольких других подробностей.

Возможно, поэт огорчился бы, если бы нашел данные, что встреча с царем возле Петербурга (согласно «Немецкой биографии», «на 27-й версте, у Красного села») — эпизод,

лись «развенчивать Арапа», при этом нередко нарушая правила историзма, оценивая человека Петровской эпохи по законам следующих веков. См.: Фейнберг Илья. Читая тетради Пушкина, с. 70—74.

¹ Пекарский П. Науки и литература в России при Петре Великом, т. I. СПб., 1862, с. 163.

² См: Пушкин и его современники, вып. 17—18. СПб., 1913, с. 208.

столь известный нам из повести «Арап Петра Великого», тоже оспаривается исторической критикой. Г. А. Леец заявляет решительно: «В действительности ничего этого не было. И не могло быть по той причине, что Петр I находился с 18 декабря 1722 года по 23 февраля 1723 года в Москве. В Москву и прибыл из Франции 27 января 1723 года князь В. Л. Долгорукий вместе с Абрамом. А. С. Пушкин, как видим, ошибся и в годе возвращения Абрама в Россию (1722 вместо 1723)»¹.

Перед нами любопытное столкновение документа и предания. Историк, полагаем, тут превысил свои права в борьбе с вымыслом: неточность — конец 1722-го или начало 1723-го — для воспоминаний дело обыкновенное (из Парижа выехали ведь в самом начале января!). Подробности о встрече, сохранившиеся не только преданием, но и образом, которым царь будто бы благословил крестника,— все это требует осторожной критики. Вполне вероятно, что встреча возле Москвы позже слилась в памяти потомков с другой, петербургской встречей; особая честь, оказанная офицеру, объясняется, скорее всего, тем, что Абрам Петрович ехал вместе с послом Долгоруким, а царь встречал все посольство. Весьма довольный В. Л. Долгоруким (а также другим дипломатом, только что прибывшим из Берлина, А. Г. Головкиным), Петр велел им обоим «в назначенный день² одновременно приехать в Петербург, выехал к ним навстречу за несколько верст от города, в богатой карете, в сопровождении отряда гвардии; им был оказан особый почет»³.

Возможно, часть почета относилась и к Абраму Петрову; общая экспозиция семейного предания, как видим, сходится с историческим описанием: царь выезжает из города, встречает любимцев с особым уважением, награждает и пр.

Так или иначе, благоволение императора к Ганибалу было несомненно; его действительно пожаловали чином (февраль 1724 г.), но не капитан-лейтенантом, а инженер-поручиком бомбардирской роты Преображенского полка;

¹ Леец Георг. Указ. соч., с. 50. О том же см.: Телетова И. К. Указ. соч., с. 118.

² Царь выехал из Москвы 24 февраля и прибыл в Петербург 3 марта 1723 г. См.: Голиков И. И. Деяния Петра Великого, т. 9. Изд. 2-е. М., 1838. с. 246, 466.

³ Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли, ч. 2. М., 1836, с. 266.

Пушкин, вслед за «Немецкой биографией», «завысил» чин¹.

В этом случае, как и в ряде других, поэт оказался под влиянием скупых источников, вынизывающих одни стороны Ганнибаловой биографии, но не замечающих другие, очень важные черты. Так, во всех пушкинских выписках и рассказах о прадеде ничего почти нет о его главной специальности, ярко выделявшей офицера среди многих «птенцов гнезда Петрова». Мы подразумеваем его инженерные, технические знания. Единственная фраза об этом в Записках (несколькими строками ниже) звучит иронично и касается поручений Ганнибала «измерить Китайскую степь» — об этом эпизоде мы скажем отдельно, а пока что выражим сожаление, что Пушкин не ввел в Записки такие подробности, им же самим выписанные из «Немецкой биографии», как должности «генерал-инженера, директора каналов в Кронштадте и Ладожского сообщения». Не перевел, не поместил в Записки и прямую, верную оценку Ганнибаловой деятельности — «как первого и лучшего инженера в России» (РП, с. 54).

Пушкин не смог найти об инженерстве Ганнибала достаточно обширных данных; ему не попал в руки примечательный реестр книг, взятых, а потом возвращенных его прядедом²; за несколько десятилетий до того в известной книге саксонского дипломата Гельбига появились строки о том, что Ганнибал «был отлично воспитан, имел светлую голову, много прилежен к делу, отличался способностями к военной науке и умер философом»³. Сходство этих строк с немецкой биографией наводит на мысль, что саксонец был одним из первых ее читателей.

Кроме малых сведений о Ганнибale-инженере, кроме пожелания перехвалить предка, на Пушкина, возможно, повлияла распространенная инерция недооценки технического прогресса, точных наук в сопоставлении с «изящными искусствами»⁴; поэт годами преодолевал эту характерную для его времени односторонность (вспомним его интерес к Крашенинникову, Ломоносову), но это не всегда

¹ Тут, впрочем, тонкость перевода: «capitain-leutenant» из биографии Ганнибала — французская калька русского чина; лейтенант — это поручик.

² См.: Пушкин и его современники, вып. 17—18, с. 232—234.

³ Там же, с. 248.

⁴ См.: Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени.— В кн.: Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972, с. 20—27.

получалось. Родственники же не слишком гордились Ганибалином-инженером, так как, по дворянским сословным понятиям, подобная деятельность представлялась куда менее почетной, чем, скажем, служба при дворе или в гвардии¹.

ОТ ПЕТРА ДО ЕЛИСАВЕТЫ

После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену. Ганибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми был он связан.— Судьба Долгоруких известна. Миних спас Ганибала, отправя его тайно в ревельскую деревню, где и жил он около десяти лет в минутном беспокойстве. До самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика.

Почти все — из «Немецкой биографии», но с очень любопытными смысловыми стилизациями.

Кое-что Пушкин не сумел или не захотел перевести (он ведь признавался К. Полевому, что немецкий язык то выучивал, то снова забывал). Отсюда произошли некоторые особенности перевода: злополучная «Китайская стена» — один из примеров (в немецком тексте ясно сказано — «китайская граница»; см. РП, 48). Однако уже выбранная Пушкиным манера Записок тоже определила, что поэт берет у немецкого биографа, а чем пренебрегает. Так, ничего не сказано о мотивах опалы Ганибала, в то время как в «Биографии» об этом написано так: «Воспитанный в кабинете Петра I, зная все планы и предположения, Ганибал был вследствие своей испытанной верности и честности не такой человек, который бы в этот момент и в такой близости ко двору, при столь хитром всемогущем министре, каким был князь Меншиков, мог сделать свое счастье. Последний <...> удалил его таким образом из столицы» (РП, 55).

Пушкин справедливо видит здесь черты панегирика, возможного преувеличения роли предка — а это совсем не входит в его задачу.

¹ О ГанибALE-инженере см.: Малеванов Н. А. К биографии А. П. Ганибала.— В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 4. М.—Л., 1962, с. 408—411.

Никак не использован и другой мотив: немецкий биограф пишет о Сибири, что «под конец в этом диком месте недоставало необходимого для удовлетворения даже первых потребностей» (там же). О тяжких сибирских годах уже говорилось в примечании к I главе «Евгения Онегина» («Наскуча безлюдством и жестокостию климата, он самовольно возвратился в Петербург...» и т. д.). Повторять рассказ о злоключениях Пушкин не желает, так же как вводить «оценочные слова» — жалость, лишения: Записки пишутся быстрее, нейтральнее...

Зато в «Немецкой биографии» ни слова о грозном колокольчике. Это, конечно, семейное предание, явно идущее от сыновей арапа (фраза «до самой кончины» выдает прошлое прошедшее время, от 1730-х до 1780-х).

Отчасти за самим Пушкиным Д. Н. Бантыш-Каменский описал эту же ситуацию с некоторыми отличиями и напечатал свои изыскания еще при жизни поэта¹.

Образ колокольчика, несомненно, усилен личными пушкинскими ассоциациями:

Кто долго жил в глухи печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальний
Порой волнует сердце нам...

Колокольчик — это дорога, заезжий друг; колокольчик — это страх, предписание... Январским утром 1825 года зазвенел колокольчик Пущина:

...мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Колокольчик загремит у Михайловского и в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года: фельдъегерь, без которого «у нас, грешных, ничего не делается», привозит свободу, с виду похожую на арест.

Колокольчик увез Пушкина в Москву, вернулся в Михайловское, затем — в Петербург, Арзрум, Оренбург — и провожал в последнюю дорогу...

¹ Бантыш-Каменский Д. Словарь достопамятных людей Русской земли, ч. 2, с. 14. Автор сообщает, что почерпнул сведения о Ганибала из работ Голикова, дипломатических документов, «Московских ведомостей», а также «из примечания к 1-й главе Онегина и по словесному преданию, переданному мне родным правнуком А. П. Ганибала Александром Сергеевичем Пушкиным».

Самое любопытное, что в те годы, когда Ганнибал будто бы трепетал от «звона колокольчика», — этого звона... не было. По современным данным, колокольчики под дугою тройки распространяются не раньше 1770-х годов (самые же старые из сохранившихся образцов относятся к 1802 году). Итак, Ганнибалу приписан пушкинский колокольчик!

Страх, гнет страха: в коротких Записках этот мотив, как известно, повторится еще через несколько строк.

К сожалению, Пушкин, отыскивающий, подчеркивающий в своем рассказе характерные старинные слова и обороты («сделал честно свое дело», «подземное сражение»), так и не познакомился с необыкновенным по выразительности документом, отчаянным прощением прадеда, отправленным 29 июня 1727 года А. Д. Меншикову из Казани (по пути в Сибирь): «Не погуби меня до конца имене своего ради, и кого давить такому превысокому лицу, такого гада и самая последняя креатура на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен, жажден; помилуй, заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам...»¹ Страх прадеда был бы хорошо понят правнуком.

Очень любопытно также, как сам дух рассказа и предания «формирует» некоторые реальные подробности.

О тайном житье в ревельской деревне «в поминутном беспокойстве» позднейший исследователь замечает, что «это легенда, далекая от действительности»²: ведь в 1731—1733 годах Ганнибал служил в Пернове, а затем, правда, семь лет, просидел в деревне, но не тайно, а на пенсии...³ Однако общий тон эпохи, возможность легкой гибели — все это Пушкиным схвачено верно, и «неточности» его Записок очень ценные, ибо по ним видно, что запомнилось, как представлялось дело потомкам. Иначе говоря, ошибки здесь не менее важны и любопытны, чем самые верные подробности!

Итак, прадед совсем не скрывался в 1730-х годах, колокольчика не слышал; поэт, кажется, «проговорился» о своем собственном многолетнем напряженном ожидании...

¹ Цит. по: Леец Георг. Указ. соч., с. 60. Автор благодарит за консультацию о колокольчике Ю. В. Пухначева, любезно сообщившего данные из подготовленного к печати научного сборника.

² Леец Георг. Указ. соч., с. 98.

³ Н. К. Телетова, впрочем, полагает (указ. соч., с. 145), что А. П. Ганнибал имел основания для страха из-за «двоеженства»; Пушкин, однако, явно пишет о страхе политического преследования.

ЕЛИСАВЕТА

Когда императрица Елисавета взошла на престол, тогда Ганибал написал ей евангельские слова: «Помяни мя, егда приидеш во царствие свое». Елисавета тотчас призвала его ко двору, произвела его в бригадиры и вскоре потом в генерал-майоры и в генерал-аншефы, пожаловала ему несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской, в первой Зуево¹, Бор, Петровское и другие, во второй Кобрино, Суиду и Таицы, также деревню Раголу, близ Ревеля, в которой несколько времени был он обер-комендантом.

Снова — почти все из «Немецкой биографии», но там нет перечня пожалованных деревень (только Рагола и позже Суида). Тут уж Пушкин пользовался, конечно, домашними сведениями.

Много лет спустя обнаружился ряд колоритных «пушкинских» подробностей, являющихся как бы приложением к этим зарисовкам поэта. Таковы торжества, организованные Ганибalem в Ревеле по случаю коронации Елизаветы Петровны, где между прочим «представлена была иллюминация», с рифмою: «Богом и родом Петра Великого избранна, свыше Елисавет России данна»; изображалась же «Ея Императорское Величество стоящая с пастырским жезлом, а под ногами Ея Величества овцы, от которых по обе стороны волки прочь бегут, с надписью: «Пастырь добный полагает душу свою за овцы»².

Конфликт нового ревельского коменданта с влиятельным губернатором графом Левенцелем вызвал гордую самозащиту Ганибала, которая так напомнила бы правнучку его ответы вельможам, наместникам и выше. Ганибал негодует, что губернатор «на меня кричал весьма так, яко на своего холопа», а другой начальник в ответ па дельные замечания Ганибала, что пушки не в порядке и свалены, «при многих штаб и обер-офицерах на меня кричал не обычно, что по моему характеру весьма то было обидно»; фаворит очень высокого начальства, некий Голмер, также вмешивается в инженерные и артиллерийские дела, в которых не сведущ, а получив приказ от Ганибала, «с кривком необычно и противно, показывая мне уличительные гримасы, и рукою на меня и головою помахивая, грозил, и оборотясь спиною,— при чем были все здешнего гарнизона штаб и обер афицеры, что мне было весьма обидно...»³.

¹ Это и есть село Михайловское.

² Хмыров М. Д. Исторические статьи. СПб., 1873, с. 39.

³ Цит. по: Леец Георг. Указ. соч., с. 111, 129.

И вот, может быть, самые «пушкинированные» строки из опубликованных через много лет после гибели поэта Ганнибаловых материалов: утомленный сложными ревельскими интригами, генерал Ганнибал восклицает в прошении И. А. Черкасову, кабинет-секретарю императрицы: «Я бы желал, чтоб все так были, как я: радетелен и верен по крайней моей возможности (токмо кроме моей черноты). Ах батюшка, не прогневайся, что я так молвил — истинно от печали и от горести сердца: или меня бросить, как негодного урода, и забвению предать, или начатое милосердие со мною совершиТЬ»¹.

Снова и снова поэт недооценивает инженерную роль прадеда, тогда как в течение 1750-х годов он по этой части одно из главных лиц в империи; с 1752-го — в числе руководителей Инженерного корпуса; все фортификационные работы в Кронштадтской, Рижской, Перновской, Петропавловской и многих других крепостях производятся «по его рассуждению»; с 4 июля 1756 года он генерал-инженер, то есть главный военный инженер страны². Присвоение чина генерал-аншефа (1759 г.) связано именно с этой его деятельностью.

Почти все это осталось Пушкину не известно, во всяком случае было мало им освоено.

В «Немецкой биографии» говорилось о Ганнибale — «нетребовательном мудреце», однако Пушкин обошел «панегирическую ловушку» и ограничился ссылкой па глубокомысленное: «умер философом». Во всяком случае, было известно, что генерал-аншеф оставил детям 1400 душ и 60 000 рублей³.

При Петре III вышел он в отставку и умер философом (говорит его немецкий биограф) в 1781 году, на 93 году своей жизни. Он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами.

Не попала в «Немецкую биографию», по сохранилась в рассказах предков та обида, что была нанесена Ганнибалу внезапной отставкой при Петре III,— по всей видимости, отомстил фаворит императора и недруг Ганнибала принц

¹ Лееп Георг. Указ. соч., с. 137.

² Сводка у Г. Леепа (с. 148—163) по данным Н. А. Малеванова.

³ После него осталась также библиотека из 300 томов, ящик с золотыми медалями, инструменты по физике и механике. См.: Лееп Георг. Указ. соч., с. 166.

Гольштейн-Бек¹. Согласимся с Г. Лесцем, что именно эта история скрывается за известными стихами Пушкина о «забытом однодомце», Ганибale...

Биограф романтизирует кончину прадеда Пушкина: он умер не на 93-м, а на 84-м году жизни; похоронен не в церкви, а на кладбище...²

Французские записки, сожженные «в припадке панического страха», — скорее всего, тоже из рассказов Петра Абрамовича. Поразительное сходство этого эпизода с гибелю первых пушкинских Записок, конечно, не раз приходило на ум впечатлительному поэту. В Автобиографии сопоставление правнука с прадедом постоянно; подобно тому как в стихах Пушкин, по словам И. Л. Фейнберга, «сближал себя с Арапом зеркально. Сравним:

Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей

и о себе:

И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России»³.

Пушкин-историк, отлично видящий своих предков в реальных исторических обстоятельствах и судящий по законам их времени, не отрицает ведь настоящей преемственности эпох, идей, людей! Не мистика, но все та же *сила вещей*, дух времени объясняют различие и сходство эпох, разницу и необыкновенное совпадение отдельных судеб. И тогда образуется «прошлое-настоящее», тогда звучит загадочным, но необходимым эхом:

«При открытии несчастного заговора я принужден был скречь сии записки...»

«Он написал было свои записки... но велел их при себе скречь...»

Подобным же роковым эхом являются следующие строчки о домашних делах Арапа Петра Великого.

В семейственной жизни прадед мой Ганибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принял ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену

¹ См.: Леец Георг. Указ. соч., с. 162.

² Там же, с. 166—167.

³ См.: Фейнберг Илья. Указ. соч., с. 86.

оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фон Шеберх, вышла за него в бывность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола.

Как не заметить в симметрической фразе, начинающей этот отрывок («...прадед Ганибал так же... как и прадед Пушкин») невеселую формулу, может быть определяющую свойство двух фамилий (и потому вдвойне тяжкое для того, кто принадлежит к каждой из них!..).

Повесть о рождении у Арапа белого ребенка, разводе и пострижении первой жены не менее страшна своей обыкновенностью, чем буйные порывы тогдаших Пушкиных. «Немецкая биография» толкует о семейственной жизни несколько иначе: «Его первая жена была родом гречанка и называлась Авдотья Алексеевна, она родила ему дочь Авдотью и вскоре после того постриглась в Тихвии в монахини, где и скончалась. Дочь же ее умерла помолвленной невестой, в расцвете лет» (РП, с. 43).

Два рассказа: в одном названа мать — правда, не Авдотья (Евдокия) Алексеевна, по Евдокия Андреевна. Более странным является разноречие насчет дочери: «Немецкая биография» называет ее тоже Авдотьей, Пушкин же, конечно от старших Ганибалов, знает другое имя — Поликсена¹. Разгадка, очевидно, в том, что у Ганибалов вообще водились двойные имена: сам основатель рода при крещении наречен Петром, назовется же Абрамом; дед Пушкина из Януария превратится в Осипа; вероятно, дочь Ганибала от первого брака также имела два имени, Поликсена и Авдотья. По документам основное имя — второе, но, возможно, Абрам Петрович не желал называть дочь ненавистным именем первой жены...

Как «Немецкая биография», так и пушкинский рассказ оказались, однако, весьма мягкими по сравнению с той действительностью, которая открылась через несколько десятилетий после смерти поэта, благодаря публикациям С. И. Опаторович и других исследователей². В материалах бракоразводного дела были подробности, затмившие «пылкую жестокость» пушкинских предков по отцовской линии: тут муж «бил несчастную смертельными побоями

¹ Из этих же устных преданий — о том, что первая жена Ганибала была красавицей (в «Биографии» о том, понятно, ничего нет).

² См.: «Русская старина», 1877, № 1, с. 69—78; Леец Георг. Указ. соч., с. 80—90.

необычно», обвиняя жену (и, кажется, не без оснований) в попытке его отравить, держал ее много лет «под караулом», на грани голодной смерти; война супругов, продолжавшаяся много лет, завершилась разводом и отправкой Евдокии Андреевны из Петербурга в Староладожский (не Тихвинский) монастырь, «потому что таковая скверноденца в резидирующем граде быти не может».

Если по отцовской линии поэт, вероятно, даже преувеличивал жестокие «феодальные» подвиги предков, то здесь преуменьшил, но невольно. Он не смягчил бы страшных, но в духе века, подробностей, если б их знал; органично бы их соединил с описанием славных дел.

Для Африканца климат здесь суров,
И вообще арап в России редок,
Особенно такого внука предок! ¹

Заканчивается большой раздел Записок Пушкина, посвященный Абраму Ганнибалу. Многое поэт сумел узнать, немало осталось в тумане: настоящее число лет прадеда, его главные занятия, подробности опала... Теперь к тем подробностям, которые пригодились Пушкину, можно уверенно прибавить еще несколько: гордый африканский герб, главный элемент которого — «слои, на нем чепрак и подушка с двумя лентами, а на подушке корона» ²; и откровенно наивные, впрочем в духе времени, просьбы Ганнибала к царицам — «пожаловать сто рублей» или «для пропитания с бедной моей фамилиею пожаловать пять деревень, а в них мужеска пола пятьсот семь душ» ³ (на оба прошения «резолюции не последовало»).

Наконец, Пушкина безусловно занимало, как выглядел прадед, — и остается неясным, видел ли он какой-нибудь портрет. Судя по нескольким высказываниям самого поэта и суждениям его родственников, Абрам Ганнибал представлялся им ярко выраженным негром. Это надо учитывать при обсуждении вопроса о подлинном и мнимом портрете А. П. Ганнибала ⁴.

¹ Самойлов Д. Сон о Ганнибale.— В кн.: Самойлов Д. Весть. М., 1978, с. 88.

² Леец Георг. Указ. соч., с. 117.

³ См.: там же, с. 161—162.

⁴ Там же, с. 186—191. Предположения Г. Леца о портрете, опубликованные Андреем Менье во Франции, убедительно оспорены Н. К. Телетовой: предположительное изображение прадеда Пушкина на самом деле оказалось портретом Секи (он же Питер Елоев), мавроморяка, находившегося на русской службе с 1704 по 1715 год. См.: Телетова Н. К. Указ. соч., с. 131—134.

Вся жизнь Абрама Петровича рассказана правнуком — а хроника «пылкости и жестокости» продолжается, прерываемая лишь кратким панегириком двоюродному деду, первенцу Абрама Петровича.

Старший сын его, Иван Абрамович, столь же достоин замечания, как и его отец. Он пошел в военную службу вопреки воле родителя, отличился и, ползая на коленах, выпросил отцовское прощение. Под Чесмою он распоряжал брандерами и был один из тех, которые спаслись с корабля, взлетевшего на воздух. В 1770 году он взял Наварин; в 1779 выстроил Херсон. Его постановления доныне уважаются в полуденном краю России, где в 1821 году видел я стариков, живо еще хранивших его память. Он поссорился с Потемкиным. Государыня оправдала Ганибала и надела на него Александровскую ленту; но он оставил службу и с тех пор жил по большей части в Суйде, уважаемый всеми замечательными людьми славного века, между прочими Суворовым, который при нем оставлял свои проказы и которого принимал он, не завешивая зеркал и не наблюдая никаких тому подобных церемоний.

Двоюродный дед появлялся в сочинениях Пушкина раньше, чем родной, и недаром: о благодетеле семьи, опекуне, которому Пушкины обязаны Михайловским и 10 000 капитала, в семье говорили, конечно, больше, чем о других «темных» предках. Иван Ганиббал видел маленького внука за несколько месяцев до того, как лег в Александро-Невской лавре, под плитой с приличествующей эпитафии:

Зной Африки родил, хлад кровь его покоил,
России он служил, путь к вечности устроил.
Стенящие о нем родня его и близки
Сей памятник ему с усердием воздвигли¹.

13 лет спустя внук вспомнит предка среди тех, кто —
В боях воспитаны средь браных непогод!
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род...

(«Воспоминания в Царском Селе»)

Еще через 16 лет:

И был отец он Ганибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспыгала
И пал впервые Наварин.

Но как ни близок знаменитый дед, многого не доискаться уже и о нем. Нелегко любознательному поэту-историку

¹ Модзалевский Б. Л. Пушкин. с. 56.

добывать подробности, которым всего 60—80 лет (направляется сравнение с Геродотом, в «Истории» которого масса ошибок, неточностей и перестановок при описании важнейших событий, случившихся за 60—70 лет до него).

В то же время именно благодаря «завещанию» Пушкина, чем дальше, тем больше отыскивается дополнений к его рассказу. Даже «уличая» поэта в ошибках, мы обязаны ему — иначе бы не стали искать, сравнивать.

Устная традиция в строках об Иване Ганибale тем сильнее, что об его отце хоть сохранилась «Немецкая биография»; о герое же Наварина — в основном воспоминания брата и племянников. Любопытный пример устной легенды — будто старший сын убежал в военную службу против воли отца. Строки о вымаливании прощения столь характерны, что вряд ли кем-то придуманы — по скорее всего относятся к какой-то иной ситуации: ведь Иван Ганибал, как и все сыновья Абраама Петровича, был еще в раннем детстве (в 1742 году, 9 лет) зачислен на военную службу, после чего обучался в Морской артиллерийской школе и Морском шляхетском корпусе; все это было бы, разумеется, невозможно без родительского согласия. Легенда об отцовском запрете запала в душу Пушкина, может быть, потому, что отчасти здесь «предвосхищалась» его собственная биография: лицеист просился в гусары, но родители возражали, опасаясь за его здоровье...

Иван Абрамович остался холост — но горячий темперамент его ощущается и в краткой записи внука племянника: после мнимого бегства и покаяния — военные подвиги! Наварин был мастерски взят 10 апреля 1770 года после атаки с моря (за что Иван Ганибал попал в число первых кавалеров Георгия III степени). Год спустя, под Чесмой, все было так, как описывает Пушкин, — и старший сын Арапа становится генералом в 36-летнем возрасте, на 10 лет раньше, чем отец.

Херсон. Здесь снова — устные версии. В 1821 году (тот сам, когда были начаты первые Записки) Пушкин беседовал с людьми 1770—1780-х годов; беседовал, скорее всего, в Кишиневе и Одессе, а не в Херсоне (где поэт был проездом в октябре 1820 года, а затем только в мае 1824 года, во время командировки «на саранчу»). Об Иване Ганибale могли рассказать, например, Инзов, Ланжерон; двоюродный дед, судя по «первой программе» пушкинских Записок, должен был еще появиться — уже в связи с домашними событиями, развернувшимися близ колы-

бели младенца Александра Сергеевича. Однако — не появился (см. XII, 303).

Рассказывая о предках, поэт, как видим, упоминает в своем повествовании множество исторических лиц — Александра Невского, Ивана Грозного, Самозванца, Петра Великого, Петра II, Меншикова, Долгоруких, Миниха, Елизавету, Петра III, Екатерину II, наконец — Суворова...

О Суворове Пушкин знал немало, как и все образованные современники; притом снова угадываем некоторые семейные рассказы (Петра Абрамовича и других)¹. К сожалению, Пушкин не получил сведений, которые позволили бы ему упомянуть о великом полководце еще раньше: ведь отец Суворова, генерал Василий Суворов, был, как позже установлено, приятелем Абрама Ганнибала, их семьи постоянно общались.

После Ивана Абрамовича наступает очередь деда, Осипа Абрамовича.

Дед мой, Осип Абрамович (настоящее имя его было Януарий, но пррабушка моя не согласилась звать его этим именем, трудным для ее немецкого произношения: Шорн шорт, говорила она, д е л а т мне шорни репят и дает им шертовск и мя) — дед мой служил во флоте и женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего (который доводится внучатым братом моей матери). И сей брак был несчастлив. Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представив фальшивое свидетельство о смерти первой. Бабушка принуждена была подать просьбу на имя императрицы, которая с живостию вмешалась в это дело. Новый брак деда моего объявлен был незаконным; бабушке моей возвращена трехлетняя ее дочь, а дедушка послан на службу в черноморский флот. Тридцать лет они жили розно. Дед мой умер в 1807 году, в своей псковской деревне, от следствий невоздержанной жизни. Одиннадцать лет после того бабушка скончалась в той же деревне. Смерть соединила их. Они покоятся друг подле друга в Святоогорском монастыре.

Поразительная по многообразию оттенков историческая проза, веселая, печальная, мудрая.

Пушкин не знал или не пожелал утяжелять излишними подробностями те истории, что слышал с детства, вы-

¹ Между прочим, Суворов завешивал зеркала, как бы не желая видеть своего отражения: один из сподвижников его, В. Х. Дерфельден, писал: «Сей мнимый враг зеркала, заметя в оном невидную свою паружность, начертил тогда же план той роли, которую теперь играет». (см.: Анекдоты князя итальянского гр. Суворова-Рымникского, изданные Е. Фуксом. СПб., 1827, с. VII).

растая на руках бабушки Марии Алексеевны: ведь после брака (1773 г.) дедушка стал делать такие долги, что Абрам Петрович начал сильно гневаться, но бабушка «испросила у отца мужа своего ему прощение и позволение к нему приехать»; в Суде Осип Ганнибал, по словам жены, «не долгое время жил в порядке», но вскоре, «следуя дурным своим склонностям, бежал из дома, оставя отцу свое- му письмо, что он на веки от него скрылся»¹.

Здесь Пушкин довольно точно передает события (порою в строках будто слышатся голоса его собеседников, например — Петра Абрамовича, который, очевидно, изображал свою покойную матушку — «Шоры шорт...» и т. д.). Верно передана также история дедушкиного двоеженства²: времена близкие, но опять не удержимся и позволим себе вообразить, как занял бы поэта особый дедовский стиль, который выявился, например, в его тяжбах (с женой, братьями); в частности, объясняя свой второй брак, дедушка ссыпался на то, что получил от брата первой жены извещение об ее смерти — «но к изумлению моему через месяц первая жена моя воскресла»³.

Императрица, которая «с живостию вмешалась...», очевидно, взята из рассказа бабушки Марии Алексеевны; заметим между прочим, что это как бы вывернутая наизнанку ситуация из «Капитанской дочки», где императрица «живо вмешалась», соединив разлученных...

Колоритнейшие подробности пасчет ближайших родственников по материнской линии могли бы еще обогатиться, если бы поэт отклонился от рассказа о прямых предках и коснулся бы не только славного Ивана Ганнибала, но и других двоюродных дедов. Тогда появился бы пушкинский знакомец и собеседник Петр Абрамович — тоже артиллерист, тоже с буйными страстями: он отличался необузданной склонностью к «напиткам», музыке, крепостному зверству⁴. Удивительно также, что в тот не

¹ См.: Модзальский Б. Л. Пушкин, с. 57—58; Летописи Гос. литературного музея, т. I, с. 249—251.

² Ошибка только в указании на возраст дочери (матери Пушкина): аналог событий был, когда Надежде Осиповне исполнилось не три, а девять лет. Осип Абрамович скончался не в 1807-м, а 12 октября 1806 года.

³ См.: Ганнибал А. С. Ганнибали. Новые данные для их биографии.—Пушкин и его современники, вып. 19—20. СПб., 1914. На суде О. А. Ганнибала подозревали в фальсификации письма от шурина.

⁴ «Когда бывали сердиты Ганнибали, все без исключения, то людей у них выносили на простынях» (свидетельство М. И. Калашникова; см.: А нучин Д. Н. А. С. Пушкин, с. 30).

располагавший к легким разводам век Петр Ганибал все же сумел разойтись с женой, как и отец, как младший брат¹. Другой двоюродный дед, совсем не являющийся в пушкинских записях, но незримо добавляющий красок в «Ганибалову палитуру», — это Исаак Абрамович Ганибал, попавший в тюрьму за долги, после чего жена и пятнадцать детей остались без средств к существованию².

Родственные истории, которые не попадают в Записки, но о которых поэт знал, должны быть учтены как их невидимый фон, «типические обстоятельства».

Таковы подробности, нравы, которые иного сентиментального автора вдохновили бы на целую страницу вздохов, волей, восклицаний. У Пушкина же — *удивительные заблуждения, ужасное легкомыслие*; оценки, конечно, сродни тем оборотам, что сопровождали недавно дедушку Льва Пушкина («пылкий и жестокий», «весъма феодально повесил»). Умное, печальное, ироничное, историческое понимание времени, века, страстей...

Последние свои мемуары поэт довел до тех лет, когда окончили поприще родители его матери.

Итак, неверные мужья, погубленные, заточенные жены, повешенные соперники, бешеные страсти, часто замешанные на «духе упрямства» политическом, когда Пушкины и Ганибала не уступают даже царям, все это остается позади...

Последняя фраза: «Они покоятся друг подле друга...» — имеет глубокий общий смысл: вот так оканчивается противоборство всех страстей...³

Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?

Наступает время отцов, годы юности самого автора.

На том самом месте, где обрываются Записки Александра Сергеевича, как раз могла бы «вступить в силу» та самая

¹ См.: Леед Георг. Указ. соч., т. 176. Любопытно, что бракоразводное дело И. А. Ганибала в конце XVIII века решал (и многократно увещевал мужа назначить жене приличное содержание) кабинет-секретарь Г. Р. Державин. См.: Пушкин и его современники, вып. 19—20, с. 271 и сл.

² См.: Леед Георг. Указ. соч., с. 180; по другим, семейным данным, у И. А. Ганибала было 22 ребенка.

³ «Марья Алексеевна кончила дни в Михайловском и погребена в Святогорском монастыре возле своего мужа, с которым при жизни была разлучена». (Воспоминания сестры поэта О. С. Павлищевой.— Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 52).

первая программа Записок, которую Пушкин набросал еще прежде:

«Семья моего отца — его воспитание — французы-учителя.— Mr. Вонт. секретарь Mr. Martin. Отец и дядя в гвардии. Их литературные знакомства.— Бабушка и ее мать — их бедность.— Иван Абрамович.— Свадьба отца.— Смерть Екатерины.— Рождение Ольги.— Отец выходит в отставку, едет в Москву.— Рождение мое».

Но это только «оглавление» будущих Записок: тот, кто мог и желал его раскрыть, зимой 1837 года уж покоялся в Святогорском монастыре, рядом с матерью, бабкой и дедом Ганнибалами.

* * *

Последние Записки сына вызовут три года спустя горячую отповедь отца, который найдет здесь «преувеличения, ошибки, лживые понятия...». Сергей Львович и многие его современники (даже его взглядов не разделяющие) не раз сравнят век нынешний и век минувший как «игру одних и тех же страстей». Пушкин же не станет мерить 1760-е годы меркою 1830-х или наоборот... Под увеличительное стекло его историзма легко попадут и родственники, предки: ведь для Александра Сергеевича история страны, рода, фамилии — неразделимы. Поэт, который издавна «числится по России», легко находит свое, «домашнее» в любом крупном повороте родной истории; для него *Мой (наш)* — Петр, Пугачев, Радищев. Так же, как родные деды, прадеды принадлежат всем (*мои и ваши...*).

Сергей Львович, человек образованный, для времени своей молодости вполне передовой, воспитывался в совершенно других исторических понятиях, и дело тут совсем не в разнице талантов обыкновенного отца и гениального сына: для всего поколения *отцов* история совсем не то, что для сыновей, которые вместе с Пушкиным или вслед за ним в 1830—1840-х годах обретают новый взгляд на вещи.

Для Сергея Львовича моральные критерии лишены историзма, и он совершенно не замечает особого тона, философской улыбки, которыми в Записках сына сопровождается появление Льва Александровича Пушкина, Осиана Абрамовича Ганнибала и других *пылких людей...* Сергею Львовичу кажется, что сын, как и он сам,— моралист и, стало быть (по единым для всех эпох законам), порочит предков.

Александр Сергеевич же замечает: «Я чрезвычайно до-

рожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них» (XIV, 443); он находит, что те «ужасные поступки», которые совершили деды,— в духе их времени и страшны именно своею естественностью. Их пороки, страсти так же органичны, как их стремление к ограничению своей личности, чести (пусть при этом совершаются и «несообразные» по понятиям XIX века поступки); вспомним пушкинский «выговор» пращуру Матвею Степановичу за то, что «подписал» уничтожение местничества, и «поклон» Льву Александровичу за верность Петру III: это не Александр Сергеевич навязывает предкам свой взгляд — как раз наоборот, он *понимает*, оценивает исторически их поступки, которые с позиций позднего времени, с позиций Сергея Львовича, абсолютно необъяснимы. Можно не сомневаться, что дела своей родни поэт постоянно видит в определенном историческом контексте — не извиняющем или оправдывающем, но объясняющем: прадед Александр Петрович убивает жену, но рядом Анна Иоанновна губит и высыпляет тысячи людей, забавляется «ледяным домом»... Бабушка, урожденная Чичерина, не смеет ни в чем перечить дедушке и рожает по дороге на бал «чуть ли не отца моего», — но вряд ли в ту же примерно пору хоть кто-либо мог перечить, скажем, Потемкину — разве что Иван Ганнибал, и то пришлось в отставку идти (а Пушкин собирает о своеолии «светлейшего» с десяток сочных анекдотов).

Хорошо зная, каков был прошлый век, Пушкин «проецирует» его на своих предков, но, опасаясь *перехватить*. нарушить естественный историзм сюжета, порою вольно или невольно сгущает краски. Впрочем, Александр Сергеевич, вероятно, даже удивился бы отцовскому восклицанию, что, мол, он «не пощадил праха благочестивого родителя»: это все равно что сказать, будто он не *пощадил* Петра или Пугачева, тогда как дело поэта-историка откровенно и достоверно обрисовать их время и век. «Не пощадить» — по А. С. Пушкину — значило изучить, запомнить, сохранить; стремление же С. Л. Пушкина — многое забыть. Подобный взгляд вел к потерям, часто невосполнимым; например, «забвение имен, фактов, связанных с Ганнибалами,— отмечает современный исследователь,— началось <...> в первые годы жизни Александра Сергеевича» (когда были проданы Суйда, Кобрино, Руново, еще прежде — Елица, Тайцы и другие «Ганнибаловы деревни» под Петербургом)¹.

¹ См.: Телетова Н. К. Указ. соч., с. 157.

Нисколько не отказываясь от традиции, от права гордиться предками, Пушкин только уточняет, что он вовсе не требует от людей XVI—XVIII веков обязательных добродетелей 1800-х годов; он преклоняется перед высокой доблестью *по понятиям* и 1600-х и 1700-х...

На этом можно было бы и остановиться, но напоследок еще раз коснемся одного обстоятельства, уже слегка затронутого выше.

Незадолго до начала дуэльной, смертной истории Пушкин, как видим, размышляет и о роковых судьбах рода. Вслед за фразой: «В семейственной жизни прадед мой Ганибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин» — поэт ведь фактически повторяет то же самое о дедах: Лев Александрович Пушкин столь же несчастен, как Осип Абрамович Ганибал (отсюда особая интонация фразы о «семейственной жизни» последнего: «И сей брак был несчастлив...»)... Отец, мать, дядя — до них в последней пушкинской автобиографии речь не доходит; однако мы знаем — и там кипели страсти, слегка замаскированные французским воспитанием (а у Василия Львовича все-таки прорывались наружу)!¹

Откуда эта преемственность семейных несчастий, буйства, ревности?

Если для южной, африканской ветви есть «климатическое» объяснение, то чем же раскалена северная, пушкинская?

Наследственность, голос крови и пр.— это Пушкин, конечно, имел в виду; но сверх того — «упрямства дух нам всем подгадил». Упрямство Пушкиных и Ганнибалов — понятие скорее социальное, чем генетическое: желание независимости, отказ быть в шутах у царей и даже у самого господа бога... Кто измерит, сколько домашних страстей созрело и прорвалось оттого, что очередной Пушкин или Ганибал был вынужден молчать, покоряться, страшиться — или молча упрямиться перед теми, с кем «не забалуешь»: перед Петром, Екатериной, Николаем...

И вот — две линии *пылкости* сходятся в одном человеке.

Мысли-предчувствия, как бы растворенные в историче-

¹ Подобные эпизоды, между прочим, подразумеваются в пушкинской «программе записок» — «отъезд матери в деревню... Мои неприятные воспоминания». См. также: Розанов И. И. Семейные безобразия былого времени (расторжение брака В. Л. Пушкина). — «Русский архив», 1894, № 12, с. 554—555.

ском рассказе, резко, обнаженно представлены в плане статьи «Опровержения на критики...» (где, как известно, уже заложены идеи и формулы будущих Записок): «Древние, нынешние обряды. Кто бы я ни был, не отрекусь, хотя я беден и ничтожен. Рача, Гаврила Пушкин. Пушкины при царях, при Романовых. Казненный Пушкин. При Екатерине II. Гонимы. Гоним и я» (XI, 388).

Начиная в последний раз свои Записки, Пушкин, «в родню свою неукротим», кажется, чувствует, предсказывает, предвидит... Предвидит, что ему не удержаться, не промолчать; что камер-юнкеру и мужу Натальи Николаевны не ужиться и не выжить...

Эти мотивы, предчувствия резко усиливаются у поэта с лета 1834 года, после столкновения с властью, вскрывавшей его письма к жене...

«Гонимы. Гоним и я».

Может быть, поэтому (как бы страшась дурных примет!) он откладывает последние Записки: только начал автобиографию, а уж докончил ее не чернилами — кровью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задачи этого труда были объявлены в начале книги: зачем Пушкину делаться историком? Какова особенность творческих методов историка Пушкина, чем отличаются они от нашей историко-литературной науки; не предвосхищает ли пушкинский подход будущие откровения?

К чему же пришло наше повествование?

Специалисты не раз спорили: к какому жанру отнести ту или иную пушкинскую статью, записку, исторический фрагмент? Писал ли поэт историю своего времени или только наблюдал через «увеличительное стекло» минувшего?

Не углубляясь в дискуссию, высажем мнение, что множество пушкинских стихов, поэм, произведений прозаических, драматических, публицистических, не говоря уже о чисто исторических, как бы сёбирается, объединяется в огромное целое, насквозь пронизанное историей, историзмом. «Евгений Онегин» — история, «Медный Всадник» — история, «19 октября», «Пиковая дама», Пугачев, Замечания на Тацита, камчатские конспекты, автобиографические записи — все история...

Такая была эпоха. Прежде, в XVII веке, у французской писательницы де Севинье вызывало «отвращение к истории то обстоятельство, что то, что мы сейчас видим, когда-нибудь станет историей»¹; отец Пушкина, воспитанный на XVIII веке, возмущается тем, что его сын своевольно раздвигает границы исторического, внося то, что не принято туда вносить. Однако молодой талантливый современник поэта восклицает в 1830 году: «История в наше время есть центр всех познаний, наук, естественное условие всякого развития; направление историческое обнимает все»².

Время историческое — но притом Пушкин негодует, что «Россия слишком мало известна русским» (XI, 316).

Это только один из многих стимулов, заставивших поэ-

¹ Эти строки Вяземский цитировал в письме к Пушкину. См. XIII, 180.

² Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, с. 59—60..

та также сделаться историком. Много других благоприятных причин тому способствовало, мы говорили о них: сама история, мировая и отечественная, была как бы необычайным, гениальным художественным произведением, с ярчайшими героями, коллизиями, сменами форм, столкновением поражающих противоречий. Такая история, особенно по контрасту с более тихой и медленной доисторией (термин М. И. Цветаевой), — такая история требовала достойных себя описателей...

То, что было понято лучшими учеными, прежде всего французской исторической школой (Тьеरри, Минье, Гизо, Тьеर), их новый подход, отказ от морализирующих оценок, интерес к роли масс — все это прекрасно усвоено и пе- сколькими прекрасными европейскими художниками XIX века: Вальтер Скотт, Мериме, Пушкин...

Итак, мировая история, лучшие историки-писатели, а также писатели-историки — вот что развивало пушкинский историзм; но есть еще одна причина его расцвета, может быть главнейшая: талант, гениальность поэта. По природе своей талант объективен, по существу своему не может не искать, например, в веселом печального, в трагедии комического, в высоком — снижающего, иронического. Этот поиск противодействия па всякое «действие», органическое неприятие одного топа, законченных, «исчерпывающих» оценок — вот прекрасные качества для историка; и в этом смысле, вероятно, всякий гений-художник является и потенциальным историком. У него (как у Пушкина, по словам Вяземского) — «верное понимание истории, свойство, которым одарены не все историки». От эпохи зависит, выйдет наружу и эта возможность мастера или останется в глубине.

Пушкинский историзм осуществился многообразно¹.

В 1825—1830 годах в черновых «Замечаниях на Анналы Тацита», в «Борисе Годунове», в стихах и записках о декабристах, в «Полтаве» и «Арапе Петра Великого» — везде Пушкин старается увидеть не отдельную черточку, достаточную для категорической оценки: «тиран», «благодетель», «добрый», «злой» и т. п. В разных его работах той поры повторяются родственные обороты — о «духе времени», «духе народа», «силе вещей», «необъятной силе вещей»: то, что мы сегодня назвали бы историческими, объективны-

¹ См.: Черепнин Л. В. Исторические взгляды классиков русской литературы, М., 1968, с. 21—33.

ми закономерностями. Если, например, самодержавие существует несколько столетий, то мало его просто осудить; надо увидеть, понять исторические корни, его природу, сплут в вещей... Но если притом смелый утопический порыв выявляет «дум высокое стремление», то и это не случайность, а признак нового, зарница будущего, пока еще переоценивающего свои силы и возможности. Это призыв к необходимым реформам, переменам — или предвестие грядущей гибели той власти, которая не поймет исторической задачи...

Сложный, высокий пушкинский историзм, как отмечалось в нескольких главах, был не принят или не понят разными противоборствующими общественными силами. Верхи подозревали поэта в сочувствии *надшим*, и справедливо; противники режима подозревали поэта в примирении с действительностью — и в этом тоже была известная правда: ведь по сравнению с резким делением событий и лиц на благих и преступных (то, что было свойственно нескольким образованным поколениям конца XVIII — начала XIX века) новый пушкинский историзм казался более оправдывающим, примиряющим...

Меж тем подобная критика «слева» была бы сильна, если бы пушкинский историзм застыл на тех принципах, которые он осваивал в 1820-х годах, если бы поэт-историк не шел дальше и глубже. Ведь идея о «разумной действительности», которой он отдал дань (разумеется, независимо от гегелевской формулы), — эта идея сразу вызывала вопрос: как же происходят исторические перемены, что ими движет, как новое, тоже «действительно-разумное», выходит из-под гнета «действительно-разумного» старого?

Прежнюю морализирующую двуцветную историю нельзя было преодолеть без резкого, даже чрезмерного крепа в другую сторону.

Впрочем, если в 1825—1826 гг. Пушкин несправедлив к Тациту (но притом резонно спорит скорее уж не с ним, а со своими современниками), то ведь эта «односторонность» гениально корректируется одновременным созданием «Бориса Годунова». В 1830-х же годах поэт, как известно, уже находит доводы за римского историка, его дух и стиль, его моральные оценки, значение которых умалялось в горячей полемике прежних лет. Тацитовская свобода, внутренне свободная личность снова притягивают поэта, но это совсем не означает, будто он отказался от своей критики и вернулся к временам юности, когда все декабристы и близкий к ним круг клялись именем римлянина и обраща-

ли его против тирании. Нет! Пушкин в последние годы не отдает завоеванного историзма. Он постоянно обращается к духу времени, силе вещей, однако его опыт, историко-художественная интуиция все больше выделяют в историческом механизме проблему личную, значение личной свободы. «Призыв к человечности,— пишет об этом процессе Ю. М. Лотман,— оказался связанным с возвратом к определенным сторонам идейного наследства XVIII в., в частности к сентиментализму. Этим объясняется неожиданный, казалось бы, возврат к чувствительности»¹.

Этого почти нет в «Полтаве», но пять лет спустя могучее государство и слабая, но стремящаяся к самостоянию личность сведены в «Медном Всаднике». В трудах о Пугачеве и Крашенинникове, в «Замечаниях о бунте» и биографических записках сплетена история *большая и малая*; события вспышне с «интраисторией» («жизнь парода в его глубинах, народа, который молчит, молится и платит»²). Пушкин рассматривает государство через историю своей фамилии, а историю семьи — сквозь историю политическую; он сопоставляет стихию власти, бунта — и судьбу внутренне свободного дворянского интеллигента.

Вольная, внутренне свободная личность, как Татьяна Ларина, Гринев, Наполеон, — это один из главных итогов культурно-исторического развития страны...

Такие гигантские задачи требовали от поэта совершенно новых методов и приемов. Карамзинские достижения в языке и пауке были взаимосвязаны: выработка нового языка для нового исторического повествования. Согласно Пушкину, «Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова» (XI, 249); теперь же происходит явление, которое только оценил приятель поэта историк М. П. Погодин в своем отзыве об «Истории Пугачева»: «В литературном отношении — это самое важное явление в русской словесности последнего времени, и большой шаг вперед в историческом искусстве <...> Пушкин, давший в «Борисе Годунове» язык нашей трагедии, «Пугачевским бунтом», нанес решительный удар ораторской истории, в коей Карамзин был у нас первым и последним мастером. И в этом деле — можно ли после Карамзина писать в его роде? Он поставил свои Гер-

¹ Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 307.

² Формула испанского писателя М. де Упамуно.

кулесовы столбы и сказал: Не далее. Пушкин пролагает теперь новую дорогу»¹.

Если Карамзин для Пушкина — «Коломб», то его время — эпоха великих исторических открытий России; время, когда любому историку или историку-писателю приходится заниматься «всем на свете», — и, например, Пушкин-историк читает летописи, хроники, заполняет свою огромную библиотеку более чем на треть историческими трудами и материалами, идет в архивы, записывает предания и рассказы очевидцев, странствует по книгам и рукописям в веках и тысячелетиях и вдобавок в «коляске, верхом, кибитке, карете, телеге, пешком» одолевает тысячи верст до Урала и обратно в погоне за недавним XVIII столетием.

Поэт очень бы изумился часто звучащим речам наших современников, что не дело литератора идти в архивы, «впадать в ученость», что нужно только «художественным талантам» осваивать находки «сухарей-ученых». Пушкин бы не согласился. В его время сильное разграничение исторического и литературного труда, узкая специализация были просто невозможны.

На наш сегодняшний взгляд, подобная ситуация как будто чревата «непрофессионализмом». Однако подобная угроза в начале XIX века компенсировалась достоинством, вскоре изрядно утраченным. Цельностью. Той самой «ренессансной» многосторонностью, без которой не было бы Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини... И Пушкина.

В январе 1830 года Пушкин написал и тогда же напечатал в «Литературной газете» следующие слова: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Свою критикой он принадлежит истории, простодушием и апогеями хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. <...> Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи».

Как видим, поэт ощущает грань времен: конец одной эры писания истории — и начало совсем иной. *Последний летописец* — эти слова означают, что карамзинская манера (особое сочетание современной науки и старинной «ищеческой простоты») более невозможна, уходит в прошлое.

Будущее за серьезной исторической критикой — Пушкин это ясно видит, но притом не скрывает сожаления об

¹ «Русский архив», 1865, стлб. 1256.

исчезновении «пензъяснимой прелести древней летописи». Поэт даже как будто завидует Карамзину, который мог еще *так* писать; и Пушкин бы хотел, но нельзя, поздно... И он работает над «Историей Пугачева» и над «Капитанской дочкой» отдельно, тогда как «по-карамзински» тут требовалось бы единое историко-художественное повествование (Ключевский же находил, что в «Капитанской дочке» «больше истории, чем в «Истории Пугачевского бунта»)¹.

Впрочем, сам Карамзин уже не только «летописец», по и «первый историк», а те, кто за ним (Пушкин в их числе), выходит,— вторые, третьи... Разделение труда между научно-историческим и художественным творчеством обозначилось и хотя еще недалеко зашло, но в близком будущем уже виднеются две тропы, по которым пойдут открыватели российской истории: Соловьев, Ключевский, их ученики — по одной, Лермонтов, Толстой — по другой. Начиная с Пушкина, историки, художники не раз вздохнут, сколь основательно разошлись в методе, языке, логике такие две формы познания прошлого, как наука и «художество». А. А. Формозов, недавно глубоко исследовавший это явление в своей книге «Пушкин и древности. Наблюдения археолога», берет в союзники великого физиолога Павлова: «Художники... захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие — мыслители — именно дробят ее и тем как бы умерщвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет, и затем только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются их таким образом оживить, что вполне им все-таки так и не удается»².

«...Все-таки так и не удается», а жаль, а хотелось бы... И мы все-таки мечтаем, чтобы художественное начало (там, где можно, где нужно!) скрестилось бы с наукой, а наука о человеке, история, осветилась бы художественным. Более того, наши мечты забегают так далеко, что позволяют вообразить «карамзинский синтез», об утрате которого уже Пушкин вздыхал, но который, вероятно, возродится на новом, высшем уровне науки, подкрепленный тем, что понято, открыто, завоевано историками ряда поколений. Мечтаем, а пока что опасаемся: расчленяя познание на отдельные участки, разделяя историческое поле между разными спе-

¹ Ключевский В. О. Очерки и речи. Второй сборник статей. М., 1913, с. 59.

² См.: Формозов А. А. Пушкин и древности. М., 1977, с. 100.

циалистами,— как бы не утратить ощущения целого, как бы, «раздробляя», не «умертвить» живую историю «холодным сомнением».

Та ренессансная цельность, о которой говорилось, умноженная поэтической гениальностью, позволяла Пушкину изучать прошлое одновременно двумя способами: стихом и ученым трактатом, вольным полетом воображения и строгим архивным поиском. Недостаток знаний — у самого Пушкина, у его эпохи — компенсируется, таким образом, особым, неповторимым единством восприятия. Мало того, именно это единство позволило смело и с основанием говорить о продленном прошлом, о предвиденном будущем: от *доистории* — к *поистории* (Цветаева)... «Ум человеческий,— пишет Пушкин,— по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия прорицания» (XI, 127).

Итак, Пушкин прокладывает исторические пути, которые сегодня заставляют нас задумываться о своей науке. И наоборот, прогресс исторической науки (как и многих других форм культуры) помогает понять, почувствовать глубину пушкинского подхода.

Пушкинское соединение научного и художественного, проникновение в «интраисторию», паконец, вопрос об историзме и «чувствительности» — все это сегодняшние и завтрашие проблемы для историков, и не только для них...

Но на том нельзя окончить книгу об историке Пушкине.

Он верил, что можно «воскресить век минувший во всей его истине» (XI, 181). Он даже когда писал «с натуры» — Петра, Бориса Годунова, Пугачева, Радищева,— то получалось, будто сами реальные факты — это черновик, первый вариант, под пушкинским пером обретающий высокое совершенство, вторую действительность.

Поэт, гениально ощущавший трагические сплетения истории,— натура светлая, оптимистическая. Печаль и мрак его личного и общественного бытия только делали этот свет, по контрасту, еще более заметным.

Давно сказано, что мир стал лучше после Пушкина; много, очень много говорится, пишется о том, за что мы любим Пушкина.

И может быть, лучше других — ответ, им самим предложенный.

За «правды чистый свет».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ЛБ — Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
- ЛН — Литературное наследство.
- ПБ — Отдел рукописей Гос. публичной библиотеки СССР имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.
- ПД — Пушкинский Дом (Институт русской литературы Академии наук СССР). Отдел рукописей.
- ЦГАДА — Центральный Гос. архив древних актов.
- ЦГВИА — Центральный Гос. военно-исторический архив.
- ЦГИА СССР — Центральный Гос. исторический архив СССР.

Ссылки на произведения А. С. Пушкина — по изданию: Пушкин. Полное собрание сочинений, т. I—XVII. М.—Л., изд. Академии наук СССР, 1937—1959; даются в тексте с указанием тома и страницы.

О ГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава I. «В РОДНЮ СВОЮ НЕУКРÖТИМ...»	6
Глава II. «ЧÉМУ, ЧЕМУ СВИДЕТЕЛИ...»	19
Глава III. СЕМНАДЦАТЬ ВЕКОВ	50
Глава IV. ВЗГЛЯДОМ ШЕКСПИРА	93
Глава V. «ЗАМЕЧАНИЯ О БУНТЕ»	136
Глава VI. «СЕМЕЙСТВО НЕСЧАСТНОГО...»	156
Глава VII. «В ПЕТЕРБУРГ, А НЕ В ГАТЧИНУ..»	181
Глава VIII. ВОЙНЫЧ	224
Глава IX. «КАМЧАТСКИЕ ДЕЛА»	259
Глава X. ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСКИ	298
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	360

Патан Яковлевич Эйдельман

ПУШКИН

История и современность
в художественном сознании поэта

М , «Советский писатель», 1984, 368 стр.
План выпуска 1984 г. № 451

Редактор *В. С. Непомнящий*

Худож. редактор *А. В. Еремин*

Техн. редактор *Е. П. Румянцева*

Корректоры

Л. Н. Морозова и Ф. А. Рыскина

ИБ № 4376

Сдано в набор 29.02.84. Подписано к печати 06.08.84. А 02510. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл.-печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 21,80. Тираж 50 000 экз. Зак. № 119. Цена 1 р. 70 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109